



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**

**А. П. ЧЕХОВ**




**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

*в двенадцати  
томах*

Под общей редакцией  
*В. В. ЕРМИЛОВА, К. Д. МУРАТОВОЙ,  
З. С. ПАПЕРНОГО, А. И. РЕВЯКИНА*

*Государственное издательство*  
**ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
*МОСКВА 1962*

**А. П. ЧЕХОВ**



**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

*Том шестой*

**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ**

1888—1891

*Государственное издательство*  
**ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
*МОСКВА 1962*

Примечания  
*К. Д. Муратовой*

*Оформление художника*  
Н. ШИШЛОВСКОГО



А. П. ЧЕХОВ

1888



## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

В V веке, как и теперь, каждое утро вставало солнце и каждый вечер оно ложилось спать. Утром, когда с росой целовались первые лучи, земля оживала, воздух наполнялся звуками радости, восторга и надежды, а вечером та же земля затихала и тонула в суровых потемках. День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча и сердито гремел гром, или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братии, что недалеко от монастыря он видел тигра — и только, а потом опять день походил на день, ночь на ночь.

Монахи работали и молились богу, а их настоятель старик играл на органе, сочинял латинские стихи и писал ноты. Этот чудный старик обладал необычайным даром. Он играл на органе с таким искусством, что даже самые старые монахи, у которых к концу жизни притупился слух, не могли удержать слез, когда из его кельи доносились звуки органа. Когда он говорил о чем-нибудь, даже самом обыкновенном, например, о деревьях, зверях или о море, его нельзя было слушать без улыбки или без слез, и казалось, что в душе его звучали такие же струны, как и в органе. Если же он гневался, или предавался сильной радости, или начинал говорить о чем-нибудь ужасном и великом, то страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали,



как его вдохновение сковывало их души; в такие великолепные, чудные минуты власть его бывала безгранична, и если бы он приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю.

Его музыка, голос и стихи, в которых он славил бога, небо и землю, были для монахов источником постоянной радости. Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц, но таланты старика настоятеля, подобно хлебу, нужны были каждый день.

Проходили десятки лет, и все день походил на день, ночь на ночь. Кроме диких птиц и зверей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Ближайшее человеческое жилье находилось далеко и, чтобы добраться к нему от монастыря или от него в монастырь, нужно было пройти верст сто пустыней. Проходить пустыню решались только люди, которые презирали жизнь, отрекались от нее и шли в монастырь, как в могилу.

Каково же поэтому было удивление монахов, когда однажды ночью в их ворота постучался человек, который оказался горожанином и самым обыкновенным грешником, любящим жизнь. Прежде чем попросить у настоятеля благословения и помолиться, этот человек потребовал вина и есть. На вопрос, как он попал из города в пустыню, он отвечал длинной охотничьей историей: пошел на охоту, выпил лишнее и заблудился. На предложение поступить в монахи и спасти свою душу он ответил улыбкой и словами: «Я вам не товарищ».

Наевшись и напившись, он оглядел монахов, которые прислуживали ему, покачал укоризненно головой и сказал:

— Ничего вы не делаете, монахи. Только и знаете, что едите да пьете. Разве так спасают душу? Подумайте: в то время как вы сидите тут в покое, едите, пьете и мечтаете о блаженстве, ваши ближние погибают и идут в ад. Поглядите-ка, что делается в городе! Одни умирают с голоду, другие, не зная, куда

девать свое золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнувшие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды! Чье же дело спасать их? Чье дело проповедовать? Не мне ли, который от утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру бог дал вам на то, чтобы вы сидели здесь в четырех стенах и ничего не делали?

Пьяные слова горожанина были дерзки и неприличны, но странным образом подействовали на пастыря. Старик переглянулся со своими монахами, побледнел и сказал:

— Братья, а ведь он правду говорит! В самом деле, бедные люди по неразумию и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?

Слова горожанина увлекли старика; на другой же день он взял свою трость, простился с братией и отправился в город. И монахи остались без музыки, без его речей и стихов.

Проскучали они месяц, другой, а старик не возвращался. Наконец после третьего месяца послышался знакомый стук его трости. Монахи бросились к нему навстречу и осыпали его вопросами, но он, вместо того чтобы обрадоваться им, горько заплакал и не сказал ни одного слова. Монахи заметили: он сильно состарился и похудел; лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь, а когда он заплакал, то имел вид человека, которого оскорбили.

Монахи тоже заплакали и с участием стали спрашивать, зачем он плачет, отчего лицо его так угрюмо, но он не сказал ни слова и заперся в своей келье. Семь дней сидел он у себя, ничего не ел, не пил, не играл на органе и плакал. На стук в его дверь и на просьбы монахов выйти и поделиться с ними своею печалью он отвечал глубоким молчанием.

Наконец он вышел. Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние три месяца. Голос его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь от

монастыря до города. На пути, говорил он, ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие, молодые надежды волновали его душу; он шел и чувствовал себя солдатом, который идет на бой и уверен в победе; мечтая, он шел и слагал стихи и гимны и не заметил, как кончился путь.

Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о городе и людях. Никогда в жизни он не видел, даже не дерзал вообразить себе то, что он встретил, войдя в город. Только тут, первый раз в жизни, на старости лет, он увидел и понял, как могуч дьявол, как прекрасно зло и как слабы, малодушны и ничтожны люди. По несчастной случайности, первое жилище, в которое он вошел, был дом разврата. С полсотни человек, имеющих много денег, ели и без меры пили вино. Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога; безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели, и шли туда, куда гнала их похоть. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости.

Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать то, что он видел. На столе, среди пировавших, говорил он, стояла полунагая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!» Шелк и парча красивыми складками спускались с ее плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а, как молодая зелень из весенней почвы, жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина

пила вино, пела песни и отдавалась всякому, кто только хотел.

Далее старик, гневно потрясая руками, описал конские ристалища, бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и лепят из глины нагих женщин. Говорил он вдохновенно, красиво и звучно, точно играл на невидимых струнах, а монахи, оцепеневшие, жадно внимали его речам и задыхались от восторга... Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, старик проклял дьявола, повернул назад и скрылся за своею дверью...

Когда он на другое утро вышел из кельи, в монастыре не оставалось ни одного монаха. Все они бежали в город.

## СПАТЬ ХОЧЕТСЯ

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:

Баю-баюшки-баю,  
А я песенку спою...

Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.

— Баю-баюшки-баю,— мурлычет она,— тебе кашки наварю...

В пещке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывает хозяин и подмастерье Афанасий... Колыбель жалобно скрипит, сама Варька

мурлычет — и все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.

Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тенями падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» — спрашивает Варька. «Спать, спать!» — отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою... — мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе.

На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, «разыгралась грыжа». Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь:

— Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу-бу-бу». Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью.

— Засветите огонь, — говорит он.

— Бу-бу-бу...— отвечает Ефим.

Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку.

— Сейчас, батюшка, сейчас,— говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком.

Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избу и доктора.

— Ну, что? Что ты это вздумал? — говорит доктор, нагибаясь к нему.— Эге! Давно ли это у тебя?

— Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время... Не быть мне в живых...

— Полно вздор говорить... Вылечим!

— Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем... Коли смерть пришла, что уж тут.

Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом поднимается и говорит:

— Я ничего не могу поделывать... Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай... Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь?

— Батюшка, да на чем же он поедет? — говорит Пелагея.— У нас нет лошади.

— Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.

Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет...

Но вот наступает хорошее, ясное утро. Пелагея нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет:

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет:

— Ночью вправили ему, а к утру богу душу отдал... Царство небесное, вечный покой... Сказывают, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стучается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая? — говорит он. — Дитё плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкой грязью. Люди с котомками на спинах и теги разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься.

— Подайте милостынки Христа ради! — просит мать у встречающих. — Явите божескую милость, господа милосердные!

— Поддай сюда ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос. — Поддай сюда ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. — Спишь, подлая?

Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречающих, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синееет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.

— Возьми! — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. — Плачет. Должно, сглазили.

Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени малопомалу исчезают, и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются, и голова тяжела.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голос хозяина.



Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.

— Варька, поставь самовар! — кричит хозяйка.

Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их п сунуть в самовар, как слышится новый приказ:

— Варька, почишь хозяйину калоши!

Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко... И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.

— Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!

Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.

Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.

День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.

— Варька, ставь самовар! — кричит хозяйка.

Самовар у хозяев маленький, и, прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.

— Варька, сбегай купи три бутылки пива!

Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.

— Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!

Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка! — раздается последний приказ.

В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.

— Баю-баюшки-баю,— мурлычет она,— а я песенку спою...

А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг — ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...

## СТЕПЬ

*История одной поездки*

### I

Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, — и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иванович Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой — отец Христофор Сирийский, настоятель N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок, в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имело озябший вид.

Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили... Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неумоимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир — мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской божией матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арстанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, обнесенное

оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит...

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, принал лицом к локтю Дениски и горько заплакал...

— Ну, не отревелся еще, рёва! — сказал Кузьмичов. — Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

— Ничего, ничего, брат Егор, ничего... — забормотал скороговоркой о. Христофор. — Ничего, брат... Призывай бога... Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье — тьма... Истинно так.

— Хочешь вернуться? — спросил Кузьмичов.

— Хо... хочу... — ответил Егорушка, всхлипывая.

— И вернулся бы. Все равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

— Ничего, ничего, брат... — продолжал о. Христофор. — Бога призывай... Ломоносов так же вот с рыба-рями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, даст

плоды, богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу... Так-то.

— Польза разная бывает...— сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару.— Иной двадцать лет обучается, а пикакого толку.

— Это бывает.

— Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра — женщина непонимающая, поровит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

— А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широ-

кая степь сбросила с себя утреннюю полутьму, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — все, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росой и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затаили в траве свою скрипучую монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски...

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелой несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница...

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и — опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи...

Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная

зном, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

— На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска.— Ишь рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится... А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один... За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят... Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «Вжжи, вжжи!» По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей поправился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.

Отец Христофор и Кузьмичов молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не



плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал: «Пора бы отдохнуть!» С лица дяди мало-помалу сошло благодущие, и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодущная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары...

— А что, Дениска, догоним нынче обозы? — спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

— К ночи, бог даст, догоним.

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

— Стой! — закричал Кузьмичов. — Держи! Тпрр...

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

— Поди сюда! — крикнул Кузьмичов чебану. — Уйми собак, будь они прокляты!

Старик чебан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке — совсем ветхозаветная фигура — унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

— Чья это отара? — спросил Кузьмичов.

— Варламовская! — громко ответил старик.

— Варламовская! — повторил чебан, стоявший на другом краю отары.

— Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?

— Никак нет... Приказчик ихний проезжали, это точно...

— Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз.

— Славный ветряк поставил сыну Болтва! — заметил Дениска.

— А что-то хутора его не видать.

— Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!

## II

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувст-

вовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неизвестным благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползлась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу; но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такую же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдохнуть и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того как он налил воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

— Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста бог вложил в меня смысл и понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «*Puer bone, quam appellaris?*»<sup>1</sup> А я отвечаю: «*Christophorus sum*»<sup>2</sup>. А он: «*Ergo connoinati summus*»,

---

<sup>1</sup> Милый мальчик, как тебя зовут? (лат.)

<sup>2</sup> Христофор (лат.).

то есть мы, значит, тезки... Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже не мало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математку, гражданскую историю и все науки. Память мне бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты,— говорил отец,— весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы!

— Должно быть, вы уж все науки забыли! — заметил Кузьмичов.

— Как не забыть? Слава богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

— Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению.

Он покрутил головой и засмеялся от умиления.

— Духовная пища! — сказал он. — Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!

— Науки науками,— вздохнул Кузьмичов,— а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

— Человек — не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их пiske слышались тревога и досада, что их согнали с

ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо кричал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.

— Дениска, где ты там! Поди ешь! — сказал Кузьмичов, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков» (выбрать помельче и посвежее он посоветился), взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

— Бери, бери! — поторопил его Кузьмичов.

Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску.

Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

— Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусиновые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

— Поглядывай, чтоб кто коней не увел! — сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь, после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе да не было мельницы, которая осталась далеко назад. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брочки. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади... Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная... Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к брочке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки

с шерстью, подводы, цены, Варламов... Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя... И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадая, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичову.

В то время как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; гни бы было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее... Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осеке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь

было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся стружкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил:

— Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

— Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень, отсюда он, птясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.



Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову... Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять пронеслась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет... Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурю траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убежавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза...

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговесрил:

— Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

— Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

— Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

— А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! — сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около двадцати лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать

едогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, искренний пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустил на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

— Есть! — прохрипел он торжествуяще и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечнику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечнику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало, челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варлаамове.

— Отец Христофор, вставайте, пора! — заговорил он встревоженно.— Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!

Отец Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.

— Отец Христофор! — сказал укоризненно Кузьмичов.— Пора ехать, уж лошади готовы, а вы, ей-богу...

— Сейчас, сейчас...— забормотал о. Христофор.— Кафизмы почитать надо... Не читал еще нынче.

— Можно и после с кафизмами.

— Иван Иваныч, на каждый день у меня положение... Нельзя.

— Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофор после каждой «славы» втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

— Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

— Finis!<sup>1</sup>

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали

---

<sup>1</sup> Кончил! (лат.)

над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью — я, мол, готово — и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекасти-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекасти-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков... Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание...

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу...

Затем скоро наступил вечер.

### III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоянным двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса — один мужской, другой женский — завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоянного двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навывпуск и бар-

хатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и просто-напросто. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

— Ах, боже мой, боже мой! — заговорил он тонким, певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички.— И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу... милости просим! Давайте мне все ваши вещи... Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто топул и звал на помощь:

— Соломон! Соломон!

— Соломон, Соломон! — повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких, кудрявых волос; одет он был в короткий очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

— Иван Иваныч и отец Христофор приехали! — сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит.— Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Его-

рушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком все тот же силач), и, казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человек». К чему человек были равнодушны,— понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать — все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

— Когда проехали тут наши подводы? — спросил его Кузьмичов.

— Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

— А... Проезжал тут Варламов или нет?

— Нет, Иван Иваныч. Вчтра утречком просзжал

его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

— Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

— Да бог с вами, Иван Иваныч! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

— Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

— Четверть часика! — взвизгнул Мойсей Мойсеич. — Да побойтесь вы бога, Иван Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

— Некогда нам с чаями да с сахарáми, — сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

— Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

— Что ж, чайку можно попить, — сочувственно вздохнул о. Христофор. — Это не задержит.

— Ну, ладно! — согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич восторженно радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

— Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампы можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобла-



дающим в ней было одно — явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покалечиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые, выпученные глаза, казалось, были напряжены от желаний расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

— Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его пичья, ошипанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

— Приятного аппетита! Чай да сахар! — начал он занимать гостей.— Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

— Это сынок сестры Ольги Ивановны,— ответил Кузьмичов.

— А куда же он едет?

— Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

— О, это хорошо! — сказал он, грозя самовару пальцем.— Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой

господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

— Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

— Да, вздумал вот на старости лет...— сказал о. Христофор и засмеялся.— Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице... Суета!

— Зато грошей будет много!

— Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

— Отчего же он сам не поехал?

— А оттого... Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать — ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и — «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал.хлопоты с ними!

— Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! — вздохнул Мойсей Мойсеич.— У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

— М-да...— согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан.— Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому... Дочек за хороших людей определил, сынов в

люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьею потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было, и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть и все слава богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

— Стало быть, верно.

— Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се... одышка и всякое там... Болею, плоть немощна, ну, да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

— Потеха! — сказал о. Христофор и махнул рукой. — Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах... Хорошо-с... Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се... Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки... живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

Отец Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

— А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. — Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

— Бог с ним, с этим сжатым воздухом! — повторил о. Христофор хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя ногами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

— О боже мой...— стонал он среди смеха.— Дайте вздохнуть... Так насмешили, что... ох!..— смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно поглядывал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ошипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

— Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем,— сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

— В рублевых пачках по сколько? — начал о. Христофор.

— По пятьдесят... В трехрублевых по девяносто... Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очнь много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки,

Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

— Ах, деньги, деньги! — вздыхал о. Христофор, улыбаясь. — Горе с вами! Теперь мой Михайло небось спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

— Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, — говорил вполголоса Кузьмичов, — не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения...

— Нет, Иван Иванович, — вздыхал о. Христофор. — Благодарим вас за внимание... Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой...

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

— А пойдем-ка, паничок, — сказал он вполголоса, — какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комодe горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными во-

лосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

— Кушай, детка, кушай! — сказала она. — Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

— Ты куда едешь, детка? — спросила еврейка.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— А сколько вас у маменьке?

— Я один. Больше нету никого.

— А-ох! — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. — Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в учење своего Наума! Ох!

— Ах, Наум, Наум! — вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. — А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту...». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.

— Гал-гал-гал-гал...— говорил Мойсей Мойсеич.

— Ту-ту-ту-ту...— отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.

— Возьми, детка,— сказала она, подавая Егорушке пряник.— У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попытался к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в ирзный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

Отец Христофор беседовал с Соломоном.

— Ну что, Соломон премудрый? — спрашивал он, зевая и крестя рот.— Как дела?

— Это вы про какие дела говорите? — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

— Вообще... Что поделываешь?

— Что я поделываю? — переспросил Соломон и пожал плечами.— То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаку, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы гакого дурака, как Мойсей перед вами.

Отец Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым,— ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников.— Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон, голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

— Постой!...— перебил его о. Христофор.— Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

— Вы ничего не понимаете! — грубо оборвал его Соломон.— Я вам говорю одно, а вы другое...

— Вот и видно сейчас, что ты глупый человек,— вздохнул о. Христофор.— Я тебя наставляю, как умею, а ты сердисься. Я тебя по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право...

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекла всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этою тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Его-



рушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, вероятно на нечистого духа.

— Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, бог с ним! — сказал с улыбкой о. Христофор. — Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли... На человека не похож...

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

— Соломон, выйди отсюда! — строго сказал он. — Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

— А что такое? — испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

— Забывается, — ответил Кузьмичов. — Грубитель и много о себе понимает.

— Так и знал! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Ах, боже мой! Боже мой! — забормотал он вполголоса. — Уж вы будьте добрые, извините и не сердчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, по, кроме горя, я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

— Не в своем уме... пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене... А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич все еще бормотал вполголоса и вздыхал:

— Ночью он не спит и все думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и мсня не любит...

И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоянный двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза... Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана, О. Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон как ни в чем не бывало стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

— Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! — стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться.— Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

— Проезжал здесь сегодня Варламов? — спросил женский голос.

— Нет, ваше сиятельство! — ответил Мойсей Мойсеич.

— Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, боль-

щие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

— Какой хорошенький мальчик! — сказала дама. — Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый...

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торспливые шаги: кто-то входил и выходил.

— Егорушка! Егорушка! — раздался густой шепот двух голосов. — Вставай, ехать!

Кто-то, кажется Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружески кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брүнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

— Тпрр! — донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

— Графиня Драницкая, — прошептал о. Христофор, полезая в бричку.

— Да, графиня Драницкая, — повторил Кузьмичов тоже шепотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоянного двора виден уж был один только тусклый огонек.

Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное (например, зимою, на рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь...

«А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал: — Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

— От ляха иного и ждать нельзя,— сказал о. Христофор.

— А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варлаамове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами — стоит только хорошенько встряхнуть головой — исчезают бесследно; да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты — все мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит:

«Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы... Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.

Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках... Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и темной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаше и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утратить хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой... Попадаете на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная

бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

— Тпрр! Здорово, Пантелей! Все благополучно?

— Слава богу, Иван Иваныч!

— Не видали, ребята, Варламова?

— Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади — маленькими и коротконогими.

— Так мы, значит, теперь к молокану поедем! — громко говорил Кузьмичов. — Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С богом!

— Прощайте, Иван Иваныч! — ответило несколько голосов.

— Вот что, ребята, — живо сказал Кузьмичов, — вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк, и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Те-

перь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

— Эй, возьми свою пальтишку! — крикнул где-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

«Спать, спать, спать...» — думал он.

— Вы же, черти, его не забижайте! — слышался снизу голос Дениски.

— Прощайте, братцы! С богом! — крикнул Кузьмичов. — Я на вас надеюсь!

— Будьте покойны, Иван Иваныч!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

— Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий... Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка крепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели...

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно паялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее... Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы си-



дели дома, пекли и варили — это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой, прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажень. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати, и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу

строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз небось приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:

— А, проснулся, молодчик! Сыном Ивану Ивановичу-то доводишься?

— Нет, племянник...

— Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее... Слободнее, молодчик... То есть без сапогов-то... Значит, племянник? А он хороший человек, ничего... Дай бог здоровья... Ничего... Я про Ивана Иваныча-то... К молокану поехал... О господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросающаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя

длинную, прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары на выпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

— Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— Учиться? Ага... Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это верно... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помираться-то... А помрем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

— Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший... Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье... В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету... А город ничего, хороший... Школа обыкновенная, для простого звания есть, а

чтоб насчет большого ученья, таких нету... Нету, это верно. Тебя как звать?

— Егорушка.

— Стало быть, Егорий... Святого великомученика Егоргия Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мое святое имя Пантелей... Пантелей Захаров Холодов... Мы Холодовы будем... Сам я уроженный, может слышал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мешане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик... Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда... домой то есть. И в деревне был и в городе... В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю... Может, кто и помер... А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре-великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно... Потому ей бог в небесах такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

— Да, повез парнишку... Повез, это верно...

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русский, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил

что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навывпуск. Этот разразился басистым, кашляющим смехом и закричал:

— Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливым: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русский Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

— Это не змея, а уж,— крикнул кто-то.

Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

— Каторжный! — закричал он глухим, плачущим голосом.— За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь ужика убил! А ежели бы тебя так?

— Ужа нельзя убивать, это верно... — покойно забормотал Пантелей.— Нельзя... Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная... Человека любит... Уж-то...

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

— Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, болезненное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

— Дед, ну за что убил? — повторил он, шагая рядом с Пантелеем.

— Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил,— ответил старик.— А ужа бить нельзя... Это верно... Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступить бы надо,

а он — ха-ха-ха да хо-хо-хо... А ты, Вася, не сердчай... Зачем сердчать? Убили, ну и бог с ними... Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума... Ничего... Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо... Никогда, это верно... Потому человек образованный, а они глупые... Емельян-то... Он не тронет.

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.

— О чем разговор? — спросил он сиплым, придуроченным голосом.

— Да вот Вася сердчает, — сказал Пантелей. — Я ему разные слова, чтобы он не сердчал, значит... Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка господня!

— Это от ходьбы, — заметил Вася.

— Не, паря, не... Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь — смерть моя. Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крикнул.

— Нету у меня голосу! — сказал он. — Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке... так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

— Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу все равно, что работнику без руки.

— Это верно, — согласился Пантелей.

— Об себе я так понимаю, что я пропащий человек, и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

— И паничек с нами едет! — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. — Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями и, если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом повернулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И, как нарочно, Дымов в это время увидел

Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

— Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки... А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

— Дед, зачем ты пьешь из лампадки? — удивился Егорушка.

— Кто пьет из ведра, а кто из лампадки, — ответил уклончиво старик. — Каждый по-своему... Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье...

— Голубушка моя, матушка-красавица, — заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. — Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

— Кому это ты? — спросил Кирюха.



— Лисичка-матушка... легла на спину и играет, словно собачка...

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только взглянуться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Не мудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву — это видел всякий проезжавший степью, но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

## У

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навывпуск, болтавшихся при ходьбе, как флаги, быстро разделся, сбегал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом по-

плыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

— Ге-ге-ге! — кричал он. — Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно вверх. Он вынырнул и, фыря, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его вверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую — как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш

вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск — то Степка и Кирюха «драли» раков.

— Рак! Гляди, братцы: рак! — закричал торжественно Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

— Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

— Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов как ни в чем не бывало уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:

— Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

— А что ж? — согласился Кирюха. — Должно, тут много рыбы...

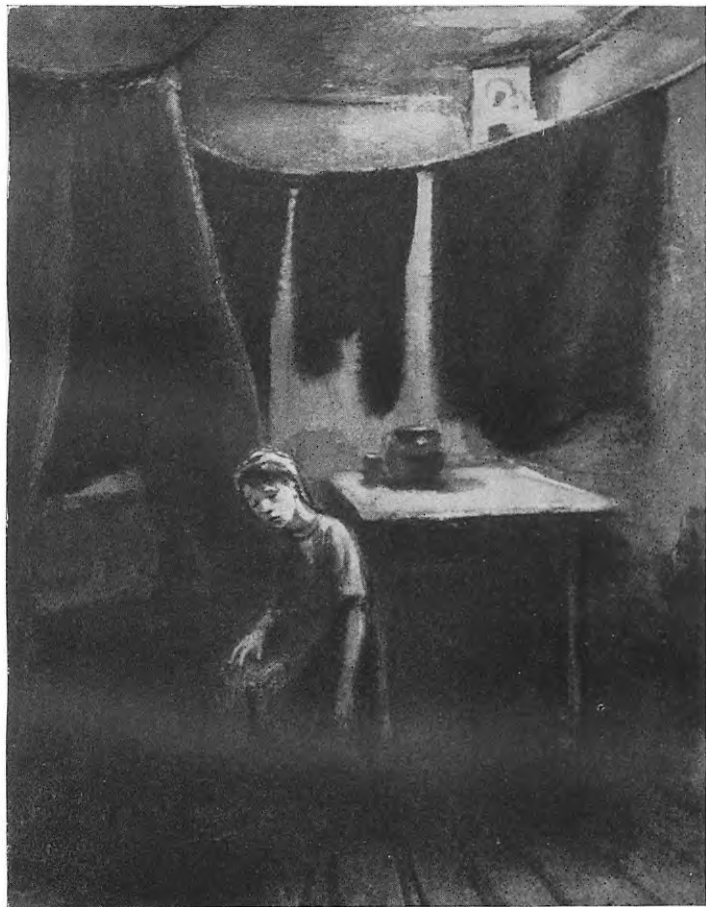
— Степка, побегии на деревню, попроси у мужиков бредня!

— Не дадут!

— Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они вместо Христа ради, потому мы все равно — странники.

— Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другую гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с



К рассказу «Спать хочется».

*Художники Кукрыниксы. 1941.*



шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбрать ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

— А ты отчего не купаешься? — спросил Егорушка у Васи.

— А так... Не люблю... — ответил Вася.

— Отчего это у тебя подбородок распух?

— Болит... Я, паничек, на спичечной фабрике работал... Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов, и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натываясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.

— Глыбоко, — хрипел Кирюха. — Ничего не поймашь!

— Не дергай, черт! — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. — Держи руками!

— Тут вы не поймаете! — кричал им с берега Пантелей. — Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельче!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

— Эх! — крикнул Пантелей и притопнул ногами. — Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в

бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем — не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

— Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали...

— Что там? — кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

— Уже полное! — кричал он, тяжело дыша. — Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

— Братцы, — удивился Степка, — Васька пескаря живьем ест! Тьфу!

— Это не пескарь, а бобырик, — покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик

во рту и ласковость, с какою он жевал пескаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокро от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

— А я здесь! — сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелицеприятно. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

— Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежeweглаженную чечунчовую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и поле-



теть вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю...» Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

— Раздавали уж просфору? — спросил он.

— Нету, нету... — угрюмо забормотал сторож. — Нечего тут...

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он не мало деревень, площадей и мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что весь он был покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкуску и после каждого глотка выпускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»

— Дай мне на копейку подсолнухов! — обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и сыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Его-

рушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящички с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:

— Почему эти пряники?

— Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

— А такие пряники у тебя почему?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

— Такие? — спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

— Три копейки пара...

Наступило молчание.

— Вы чьи? — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

— Племянник Ивана Иваныча.

— Иваны Иванычи разные бывают, — вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: — Чайку не желаете ли?

— Пожалуй... — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахара. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, оставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пялился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

— Хиба це овес? — сказал печально покупатель. — Це не овес, а полова, курам на смих... Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой

мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем...» Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду.

— Класть сала? — спросил Степка, снимая ложкой пену.

— Зачем? Рыба свой сок пустит, — ответил Кирюха.

Перед тем как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крикнул — это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

— Вы! Дайте парнишке ложку! — строго заметил Пантелей. — Чай, небось тоже есть хочет!

— Наша еда мужицкая!.. — вздохнул Кирюха.

— И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыба чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша всё-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

— Дед, а ты чего не ешь? — спросил его Емельян.

— Не ем я раков... Ну их! — сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, не-

смотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадьми и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля, работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

— Ты, нехристь, сними шапку! — сказал он грубо. — Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелось к возам и повалились в тень.

— Дед, скоро мы поедем? — спросил Егорушка у Пантелея.

— Когда бог даст, тогда и поедем... Сейчас не поедешь, жарко... Ох, господи твоя воля, владычица... Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.

## VI

Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе... Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку... Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет...

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел вниз и делал переключку своим мыслям.

— Ничего... хорошие господа...— бормотал он.— Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слышать про то... В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить... Нету, это верно... А парнишка хороший, ничего... Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено... Чти отца твоего и мать твою... У меня у самого были детки, да погорели... И жена сгорела и детки... Это верно, под крещение ночью загорелась изба... Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками... Да... На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницае-

мо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначались возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый, покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало... Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое... Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней... И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглой...

— Дед, зачем это крест стоит? — спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

— Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

— Оно самое...

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от креста.

— Да, убили...— сказал нехотя Дымов.— Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалеко в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай бог... Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услышали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.

— О господи... владычица! — вздохнул Пантелей.

— На другой день, чуть свет,— продолжал Дымов,— купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое...» Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку...

Дымов стал на колени и потянулся.

— Да,— продолжал он, зевая.— Все ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить... Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончили свое дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть... Цел ли — не знаю... Отсюда не видать.

— Цел,— сказал Кирюха.

— Сказывают, денег потом нашли мало.

— Мало,— подтвердил Пантелей.— Рублей сто нашли.

— Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косою порезал... Кровью сошли. Од-



ному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели — в нем души нет, помер...

— По кровавому следу его нашли...— сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно из балочки, донесся грустный крик птицы: «Сплю! сплю! сплю!..»

— Злых людей много на свете,— сказал Емельян.

— Много, много! — подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко.— Много,— продолжал он вполголоса.— Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо... Злых-то людей... Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть... Спаси и помилуй, царица небесная... Помню, раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах... купец-то... Хороший человек, ничего... Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко, вот как до возов примерно, и вижу — огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и, акромья меня с купцом, других постояльцев не было... Откуда огню быть? Взяло меня сумнение... Подошел я поближе... к огню-то... Господи, помилуй и спаси, царица небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой... в доме-то... Лег я на землю и поглядел; как поглядел; так по всему моему телу и пошел мороз...

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук

бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал:

— Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный... На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат... Эгэ! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам... Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо... Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много... Насчет души, говорит, моей волен господь бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить...» Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти... Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. «Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись богу. Может, господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что...» Ладно... Помолился я богу, и наставил меня бог на ум... Взлез я на свой тарантас и тихонько... тихонько, чтоб никто не слышал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то... Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти... Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше... Благодарить бога, вижу — стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. «Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить...» Побудил всех... Собрались мужики и пошли со мной... Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами... Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал... А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей чело-вечьих нашли видимо-невидимо. Костей-то... Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не

было... Ну, потом их в Моршанске через палачей называли.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

— Сало-то готово?—спросил его шепотом Кирюха.

— Погоди маленько... Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, псбежал к возам; скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

— Ехал я в другой раз тоже с купцом...— продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами.— Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек... купец-то... Остановились мы таким же манером на постоялом дворе... Он в комнатке, я при лошадях... Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чует мое сердце! Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадетя. Высовываю голову, гляжу — стоит баба в одной рубахе, босая... «Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нет... «Вставай, говорит, добрый человек! Беда... Хозяева лихо задумали... Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались...» Ну, недаром сердце болело! «Кто же ты сама?» — спрашиваю. «А я, говорит, ихняя стряпуха...» Ладно... Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто... Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобра-здорову подальше от греха...» Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте... гляжу — мать-царица! — входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника... Значит, и работников подговорили...

Денег у купца много, так вот, мол, поделим... У всех у пятерых в руках по ножуку длинному... По ножуку-то... Запер хозяин на замок двери и говорит: «Моли-тесь, проезжие, богу... А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью...» Где уж тут кричать? У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут... Купец заплакал и говорит: «Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много уж нашего брата купца на постоянных дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит! А хозяин ему: «Ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ... Молитесь богу, вот и все тут, а разговаривать нечего!» Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел... Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет... А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молитесь бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а бог-то нас и услышал. Сжалился, значит... В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились... Постучал кто-то по окошку да как закричит: «Петр Григорьич, кричит, ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяева, что за купцом приехали, испужались и давай бог ноги... А мы скорей на двор, запрягли и — только нас и видели...

— Кто же это в окошко стучал? — спросил Дымов.

— В окошко-то? Должно, угодник божий или ангел. Потому акромя некому... Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было... Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль «длинные ножики» и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра,— все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

— Зачем это дед особо сидит?

— Он старой веры,— ответили шепотом Степка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно,

Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, наострил уши.

— Что такое? — спросил его Дымов.

— Человек какой-то идет, — ответил Вася.

— Где ты его видишь?

— Во-он он! Чуть-чуть белеется...

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

— По шляху он идет? — спросил Дымов.

— Не, полем... Сюда идет.

Прошла минута в молчании.

— А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен, — сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

— Зачем ему гулять? — сказал Пантелей. — Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего... Купцы мученический венец приняли...

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

— Что-то несет, — сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул, или оттого, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще все у него казалось длинным, и только одна шея

была как коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

— Хлеб да соль, братцы!

— Милости просим! — отвечал за всех Пантелей.

Незнакомец положил около костра то, что держал в руках — это была убитая дрохва, — и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

— Важная птица! Чем это ты ее? — спросил Дымов.

— Картечью... Дробью не достанешь, не подпустит... Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

— А на что она нам? Она жареная годится, а вареная небось жесткая — не укусишь...

— Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снести, те бы полтинник дали, да далече — пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, шурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

— Ты кто сам? — спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

— Я тебя спрашиваю: ты кто? — повторил Дымов.

— Я-то? — встрепенулся неизвестный. — Константин Звоньк, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не

такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

— Мы пасеку держим и свиной кормим.

— При отце живешь али сам?

— Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!..

Нынче восемнадцатый день, как обзаконился.

— Хорошее дело! — сказал Пантелей. — Жена ничего... Это бог благословил...

— Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, — засмеялся Кирюха. — Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул...

— Да господи, нету ее дома! — сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. — Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый...

Константин махнул рукой и покрутил головою; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

— Поехала в Демидово к матери! — сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье. — Завтра вернется... Сказала, что к обеду назад будет.

— А тебе скучно? — спросил Дымов.

— Да господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала... А? У, да бедовая, накажи меня бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.

— Любишь, значит... — сказал Пантелей.

— Там такая хорошая да славная, — повторил Константин, не слушая, — такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей



губернии не сыскать. Уехала... А ведь скучает, я знаю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется... А ведь какая история! — почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу, — теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

— Да ты ешь! — сказал Кирюха.

— Не хотела за меня выходить! — продолжал Константин, не слушая. — Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай... Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хóчу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда — не хóчу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень, борода окладистая — гвоздем, лицо чистое — все в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только, что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел... Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове... И что ж вы думаете? Накажи меня бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики... Значит, не судьба! На святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть...

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

— Гляжу, она с парубкáми около речки, — продолжал он. — Взяло меня зло... Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова... Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!..

— А какие слова? — спросил Дымов.

— Слова? И не помню... Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из желоба, без передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного слова не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от избытка приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он наконец уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра и, по походке, по движению его лопаток, видно было, что он тосмился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, а красное пятно сузилось, потускнело... И чем скорее догорал гонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался другой крест...

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли... Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

— Братцы,— сказал он умоляюще.— Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

— Братцы! — повторил он, прижимая руку к сердцу.— Давайте споем что-нибудь божественное!

— Я не умею,— сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот,

но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание...

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать...

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек — тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

— «Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!» — запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость.

— Время ехать! — сказал Пантелей. — Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.

— Прощайте, братцы! — крикнул он, когда обоз тронулся. — Спасибо вам за хлеб, за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казацьем жеребчике, у самого переднего воза разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

— Дед, какая это деревня? — спросил Егорушка.

— Это, молодчик, армянские хутора, — отвечал Пантелей. — Тут армяшки живут. Народ ничего... армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

— Экие дела, подумаешь! — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. — Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет... Степку послать бы!

— Дед, а кто это? — спросил Егорушка.

— Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

— Ничего, хороший человек... — говорил Пантелей, глядя на хутора. — Дай бог здоровья, славный господин... Варламов-то, Семен Александрыч... На таких людях, брат, земля держится. Это верно... Петухи еще не поют, а он уж на ногах... Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по

степу... Кружится... Этот уж не упустит дела... Не-ет! Это молодчина...

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— Семен Александрыч,— крикнул Пантелей, снимая шляпу,— дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот наконец от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

— Это, должно, его объездчик,— сказал Пантелей.— У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

— А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно оправдываясь и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

— Пошел вон! — крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловую сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависи-

мым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавя:

— Здраствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

— Крутой старик...— бормотал Пантелей.— Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек... Не обидит задаром... Ничего...

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

## VI

И в следующую за тем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное... Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.

— Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. — Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает — барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

— Да ты что пристал? — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

— А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

— Дурак, вот и все, — просипел Емельян.

Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

— Певчий... — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. — Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

— Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

— Да что ты ко мне пристал, мазепа? — вспыхнул Емельян. — Я тебя трогаю?

— Как ты меня обозвал? — спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. — Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вско-

чили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, сучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

— Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

— На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!

— Тоже, скажи пожалуйста! — усмехнулся Дымов. — Свиненок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

— Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал:

— Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, — все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опроретью, без оглядки побежать назад по



дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его... И только когда он шептал: «Мама! мама!» — ему становилось как будто легче...

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него... Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо:

— Как его звать?

— Егорий... — ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера! — сказал он тихо. — На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

— Ничего, бей! — повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

— Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

— Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емелья, — сказал он, проходя мимо Емельяна. — Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.

— Егорий, возьми! — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

— Что это? — спросил Егорушка.

— Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

— Дед, гроза будет? — спросил Егорушка.

— Ах, ножки мои больные, стуженые! — говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

— А он обложной! — крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

— Скушно мне! — донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться.— Скушно!

Вдруг рванул ветер, и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травой такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под

самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залепившую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

— Пантелле-ей! — крикнул кто-то впереди. — А... а...ва!

— Не слыхаты! — ответил громко и нараспев Пантелей.

— А...а...ва! Аря...а!

Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

— Свят, свят, свят, господь Саваоф, — прошептал Егорушка, крестясь, — исполнь небо и земля славы твоея...

Чернота на небе раскрыла рот и дыхла белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похужее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

— Пантелей! — позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот наконец ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Понесся ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям,

по тюку. Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях, или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится.

— Свят, свят, свят... — шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно-едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

«Тррах! тах! тах! тах!» — явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым — «трра!..».

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

«Трах! тах! тах!» — понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось — «ррра!».

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность; за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

— Пантелей! Дед!

«Трах! тах! тах!» — ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

— Дед, великаны! — крикнул ему Егорушка, плача.

Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога...

Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверснности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг послышались голоса.

— Егоргий, да ты спишь, что ли? — крикнул внизу Пантелей. — Слезай! Оглох, дурачок!..

— Вот так гроза! — сказал какой-то незнакомый бас и крикнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда взгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светило окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светило окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала все небо.

— Гроза хорошая, ничего... — бормотал Пантелей. — Слава богу... Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего... Слез, Егоргий? Ну, иди в избу... Ничего...

— Свят, свят, свят... — просипел Емельян. — Бесприменно где-нибудь ударило... Вы тутошние? — спросил он великанов.

— Не, из Глинова... Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

— Молотите, что ли?

— Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было...

Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, шурилась и протяжно вздыхала.

— Грозу-то какую бог послал! — говорила она. — А наши в степу ночуют, то-то натерпятся, сердешные! Раздевайся, батюшка, раздевайся...

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло...

— Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? — сказала старуха.— Иди садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

— Кушай, батюшка! Больше угощать нечем...— сказала она зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный, острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоянных дворах разбойники режут купцов.— Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа, как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

— Наши в степу ночуют...— вздыхала старуха, пока он ел.— Страсти господни... Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай...

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

— Должно, часа два теперь,— сказала она.— Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют... Небось вымокли все...

— Бабушка,— сказал Егорушка,— я спать хочу.

— Ложись, батюшка, ложись...— вздохнула старуха, зевая.— Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал... Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

— Гроза-то не унимается,— бормотала она.— Как бы, неровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют... Ложись, батюшка, спи... Христос с тобой,

внучек... Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

— Парнишка лег? — слышался через минуту шепот Пантелея.

— Лег! — ответила шепотом старуха.— Страсти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слышать...

— Сейчас пройдет...— прошипел Пантелей, садясь.— Потихе стало... Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались... Ребята-то... Нельзя... Уведут лошадей... Вот посижу маленько и пойду на смену... Нельзя, уведут...

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали... Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильнее и сильнее.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шепот ли стариков, или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

— Дед, мне холодно! — сказал он и не узнал своего голоса.

— Спи, внучек, спи...— вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. Отец Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, кропил ее святой водой,



и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

— Дед! — позвал он. — Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пряник! Как он, бедный, размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальней, рядом с мамашиними платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто — оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с ключьями шерсти на морде, похожими на папильотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

— Это варламовские! — крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с

грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал: «Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

— Дед, мне холодно! — сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

— Ничего, скоро до места доедем, — зевнул Пантелей. — Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками, или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз — это было уже перед вечером — он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквями; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив...

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крикнул и покачал головой.

— Захворал наш парнишка! — сказал он. — Должно, живот застудил..., парнишка-то... На чужой стороне... Плохо дело!

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:

— А мы еще вчера вечером приехали... Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка взгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

— Дяденька и отец Христофор теперь в номере,— продолжал Дениска,— чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иванович и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

— А-а, Егор Никола-аич! — пропел о. Христофор.— Господин Ломоносов!

— А, господа дворяне! — сказал Кузьмичов.— Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

— Ну, как доехал, риег бопе?<sup>1</sup> — засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь.— Небось надоело? И не дай бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца-краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть Черепяхину и так, как дай бог всякому... Хорошо попользовались.

<sup>1</sup> милый мальчик (лат.).

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что, собственно, пожаловаться. Но голос о Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

— Вот те на! — удивился о Христофор.— А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

— Вот те на! — повторил о Христофор, поднимаясь и идя к дивану.— Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

— Я... я болен! — проговорил Егорушка.

— Болен? — смутился о Христофор.— Вот это уж и не хорошо, брат... Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат... а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

— Да, голова горячая... Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал... Ты бога призывай.

— Хинины ему дать...— сказал смущенно Иван Иваныч.

— Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать... Георгий, хочешь супчику? А?

— Не... не хочу...— ответил Егорушка.

— Тебя знобит, что ли?

— Прежде знобило, а теперь... теперь жар. У меня все тело болит...

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крикнул и вернулся к столу.

— Вот что, ты раздевайся и ложись спать,— сказал о Христофор,— тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около

костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

— Бейте его! Бейте его! — крикнул Егорушка.

— Бредит... — проговорил вполголоса о. Христофор.

— Хлопоты! — вздохнул Иван Иванович.

— Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иванович уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михайле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.

— Эх, кабы знать, что Черепяхин даст такую цену, — говорил он вполголоса, — то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик — понимаю, мол, — вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иванович постлал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолится и лег.

— А завтра я в собор думаю... — сказал о. Христофор. — Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да, говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

— Говорят, не принимает, — продолжал о. Христофор, разоблачаясь. — Так и уеду, не повидавшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюде, подошел к Егорушке и зашептал:

— Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

— Во имя отца и сына и святого духа...— шептал он.— Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай... Как огонь, горячий! Небось в грозу в дороге были?

— В дороге.

— Еще бы не захворать! Во имя отца и сына и святого духа... Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, как еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но, когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Иваныча не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему

казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил парход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачовую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал:

— Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

— Теперь хорошо,— ответил Егорушка, целуя ему руку.

— Слава богу... А я из обедни... Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

— Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил,— сказал о. Христофор.— В будень не из чего бы роскошествовать, да подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая...

Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой.

— Кушай,— сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке.— Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Мо-

гилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учишься, чтобы все понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки... географию, конечно, историю, богословие, философию, математику... А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учишься да благодати набирайся, а уж бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли...

Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

— Апостол Павел говорит: на учения странна и различна не прилагаетесь. Конечно, если чернокнижие, буюсловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что бог благословил. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всех языках — и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию — и ты учи, святой Нестор писал историю — и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся...

Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.

— Хорошо! — сказал он. — Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно... Или вот тоже, когда приезжает окружный суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю... И им приятно. Так-то вот, брат... Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится... Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь...

Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом:

— Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оста-



вит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

— Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

Отец Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

— Горе! Горе!

Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.

— Ну, со всеми делами справился,— сказал он.— Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

— «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме». Надо будет сейчас пойти поискать ее. Хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иванович и Егорушка уж выходили из подворья.

— Хлопоты! — бормотал дядя.— Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к богу! Вам ученые да благородство, а мне одна мука с вами...

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

«Прощай, бричка!» — подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь; тут Иван Иванович справился у городского, где Малая Нижняя улица.

— Эва! — усмехнулся городской. — Она далече, туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчицы пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

— Скажите, пожалуйста, — обратился Иван Иваныч к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, — где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

— Никакой тут Тоскуновой нет, — ответил старик, подумав. — Может, Тимошенко?

— Нет, Тоскунова...

— Извините, Тоскуновой нету...

Иван Иваныч пожал плечами и поплелся дальше.

— Да не ищите! — крикнул ему сзади старик. — Говорю — нету, значит нету!

— Послушай, тетенька, — обратился Иван Иваныч к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, — где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

— Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? — спросила она. — Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

— А где она теперь живет? — спросил Иван Иваныч.

— Господи! — удивилась старуха, всплескивая руками. — Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иваныч тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!!» — но тот очень покойно спросил:

— Где ж ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

— Идите все прямо, прямо, прямо... Вот как пройдете красненький домичек, так на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа...

Иван Иваныч и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбрали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иваныч отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от воров стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и торговка:

— Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

— Кого вам? — крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

— Здравствуйте! — тоже крикнул ей Иван Иваныч, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. — Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

— Здесь! А на что вам?

Иван Иваныч и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:

— На что она вам?

— Да, может, вы сами Настасья Петровна?

— Ну, я!

— Очень приятно... Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева, Вот это ее сынок, А я, может помните, ее родной брат,

Иван Иваныч... Вы ведь наша N-ская... Вы у нас и родились и замуж выходили...

Наступило молчание. Полная женщина устала бессмысленно на Ивана Иваныча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

— Ольга Ивановна! — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения.— Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький...

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

— Господи! — сказала она, ломая руки.— Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

— У меня не прибрано! — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками.— Ах, мать божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иваныч пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она не мигая глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

— Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила:

— Атька...

Это значило: Катька.

— Он у вас будет жить,— шептал в зале Иван Иваныч,— ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем

по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий...

— Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иваныч! — плаксиво вздыхала Настасья Петровна. — Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболит или что...

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иваныч уже стоял со шляпой в руках и прощался.

— Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас, — говорил он. — Прощайте! Оставайся, Егор! — сказал он, обращаясь к племяннику. — Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну... Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные вопросы и ел жирные, горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей... В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иваныч и о. Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иваныч, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

— Некогда нам с чаями да с сахарами! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту.

Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

— Ну,— начал Иван Иванович, поднимаясь,— значит, ты остаешься...

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал:

— Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку.

— Во имя отца и сына и святого духа... Учись,— сказал он.— Трудись, брат... Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек...

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

— Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение,— сказал Иван Иванович таким голосом, как будто в зале был покойник.— Седьмого августа вы его на экзамен сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь с богом. Прощай, Егор!

— Да вы бы хоть чайку покушали! — простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иванович и о. Христофор, помахивая — первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито; он опустил в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него...

Какова-то будет эта жизнь?

## НЕПРИЯТНОСТЬ

Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет тридцати пяти, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячею привязанностью к так называемым «бытовым вопросам», как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек, с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с серьгой в ухе.

Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась в складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстукке кое-где белел пух... Очевидно, фельдшер спал всю ночь не раздеваясь, и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежда стесняла его.

Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное — напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался

и был пьян, пьян тяжело, со вчерашнего... Он переживал мучительное состояние «перегара», страдал и, по видимому, был очень недоволен собой.

Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда:

— Давали Герасиму молока?

— Давали-с...— ответил Михаил Захарыч тоже мягко.

Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь:

— Отчего температура не записана?

— Нет, записана-с! — сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: — Не знаю-с, это, должно быть, Надежда Осиповна...

— И вчерашняя вечерняя не записана! — продолжал доктор.— Только пьянствуете, черт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?

Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сделано и что все так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но он сделал над собою усилие и продолжал обход.

За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой.

«Это вчера они гуляли на именинах...— думал он,



медленно снимая повязку.— Погодите, я покажу вам именины! Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу».

Он нащупал на вспухшей, багровой руке гнойник и сказал:

— Скальпель!

Михаил Захарыч, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель.

— Не этот! Дайте из новых,— сказал доктор.

Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха.

— Скоро же? — спросил он.— Вы, должно быть, их внизу забыли...

Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберется и дыхнул в его сторону.

— Это не те! — сказал раздраженно доктор.— Я говорю вам русским языком, дайте из новых. Впрочем, ступайте и проспитеесь, от вас несет, как из кабака! Вы невменяемы!

— Каких же вам еще ножей нужно? — спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.

Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные и сиделки, и, чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:

— Каких же вам еще ножей нужно?

Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом:

— Ступайте проспитеесь! Я не желаю говорить пьяным...

— Вы можете только за дело с меня взыскивать,— продолжал фельдшер,— а ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу? Что ж вам еще! Ведь служу?

Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил

фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты.

Во дворе встретила ему шедшая в больницу Надежда Осиповна, девица лет двадцати семи, с бледно-желтым лицом и с распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и от этого шаги ее были очень мелки и часты. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое.

«Ага, русалка!» — подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой, и ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху.

— Где это вы пропадаете? — крикнул он, поравнявшись с ней. — Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян, вы спите до двенадцати часов!.. Извольте искать себе другое место! Здесь вы больше не служите!

Придя на квартиру, доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан, со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету.

— Боже, что за люди, что за люди! — проговорил он. — Это не помощники, а враги дела! Нет сил служить больше! Не могу! Я уйду!

Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать, и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. Прежде всего гадко то, думал доктор, что фельдшер поступил в больницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы (противно бывает глядеть на эту влиятельную тетуш-

ку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице, как дома, и претендует на то, чтобы ее принимали не в очередь). Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало и совсем не понимает того, что знает. Он нетрезв, дерзок, нечистоплотен, берет с больных взятки и тайком продает земские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых мещан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много, но это шарлатан убежденный и втайне протестующий. Тайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь, на операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом — этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом.

Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю управы: «Уважаемый Лев Трофимович! Если, по получении этого письма, ваша управа не уволит фельдшера Смирновского и не предоставит мне права самому выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным (не без сожаления, конечно) просить вас не считать уже меня более врачом N-ской больницы и озаботиться приисканием мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу. Уважающий Г. Овчинников». Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу (так дразнили младшего сына председателя) в деловом, официальном письме было более чем неуместно.

«Какой тут к черту Юс?» — подумал доктор, изорвал письмо и стал придумывать другое. «Милостивый государь...» — думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду; один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк; другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился... Далеко около забора в кружевной тени, какую

бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей... Слышались голоса... Кучер Зот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануйло в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись.

«Это они о том, что я фельдшера ударил...— думал доктор.— Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале... Итак: «Милостивый государь! Если ваша управа не уволит...»

Доктор отлично знал, что управа ни в каком случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас же по получении письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет: «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое, Христос с вами? Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтоб завтра же его, подлеца, здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит; выспавшись, напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице и доктор не подаст в отставку.

Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, невзирая на его восьмилетнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету «Врач», как товарищи поднесут ему сочувственный адрес...

На дороге показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьем, она подошла к окну и спросила:

— Григорий Иваныч, сами будете принимать больных или без вас прикажете?

А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился, и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого».

— Хорошо, я сейчас,— сказал доктор.

Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу.

«Нехорошо, что я убежал, когда ударил его...— думал он дорогой.— Вышло, как будто я сконфузился или испугался... Гимназиста разыграл... Очень нехорошо!»

Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него и ему самому станет совестно, но, когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не пострафил, ты его маненько поучил... Без этого, батюшка, нельзя».

Доктор вскрыл на багровой руке два гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу, и все время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось и все обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные, зеленые платья, за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое, бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают: испугаться или нет? И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез...

Сквозь тяжелый запах иодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня... Хорошо дышать!

— Анна Спиридонова! — вызвал доктор.

В приемную вошла молодая баба в красном платье и помолилась на образ.

— Что болит? — спросил доктор.

Баба недоверчиво покосилась на дверь, в которую вошла, и на дверцу, ведущую в аптеку, подошла поближе к доктору и шепнула:

— Детей нету!

— Кто еще не записывался? — крикнула в аптеке русалка.— Подходите записываться!

«Он уже тем скотина,— думал доктор, исследуя бабу,— что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался».

Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью, потом баба с тремя ребятишками в чесотке, и работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке, шурша платьем и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дело она входила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты, и все с таким видом, как будто все было благополучно.

«Она рада, что я ударил фельдшера,— думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки.— Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажется, рады... Как это противно!»

В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушное и веселое выражение. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито:

— Эй вы, там! Затворяйте дверь, а то сквозит!

А ему уж было стыдно и тяжело. Принявши сорок пять больных, он не спеша вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире и надеть на плечи ярко-пунцовый платок, с папироской в зубах и с цветком в распущенных волосах, спешила ку-

да-то со двора, вероятно, на практику или в гости. На пороге больницы сидели больные и молча грелись на солнышке. Скворцы по-прежнему шумели и гонялись за жуками. Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепиано, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. Положение его мучительно. Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал: как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван, лицом к спинке, и стал думать таким образом:

«Он человек нехороший, вредный для дела; за три года, пока он служит, у меня накопело в душе, но тем не менее мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный, виноват и к тому же пьян, а я его начальник, прав и трезв... Значит, я сильнее. Во-вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом, и таким образом я подал им отвратительный пример...»

Доктора позвали обедать... Он съел несколько ложек щей и, вставши из-за стола, опять лег на диван.

«Что же теперь делать? — продолжал он думать. — Надо возможно скорее дать ему удовлетворение... Но каким образом? Дуэли он, как практический человек, считает глупостью или не понимает их. Если в той самой палате, при сиделках и больных, попросить у него извинения, то это извинение удовлетворит только меня, а не его; он, человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь, что он пожалуется на меня начальству. К тому же это мое извинение вконец расшатает больничную дисциплину. Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп. Если теперь, положим, обратиться за разрешением вопроса к на-

шему прямому начальству, то есть к управе... Она могла бы объявить мне выговор или уволить меня... Но этого она не сделает. Да и не совсем удобно вмешивать в интимные дела больницы управу, которая кстати же не имеет на это никакого права...»

Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал:

«А не поступить ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах? То есть пусть он подаст на меня в суд. Я безусловно виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту. Таким образом оскорбленный будет удовлетворен, и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был неправ».

Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть.

«Что ж, превосходно! — думал он, полезая в воду и глядя, как от него убежали стаи мелких, золотистых карасиков.— Пусть подает.. Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны и одному из нас после этого скандала все равно уж нельзя оставаться в больнице...»

Вечером доктор приказал заложить шарабан, чтобы ехать к воинскому начальнику играть в винт. Когда он, в шляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась, и кто-то бесшумно вошел в переднюю.

— Кто там? — спросил доктор.

— Это я-с... — глухо ответил вошедший.

У доктора вдруг застучало сердце, и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч (это был он) тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим, виноватым голосом:

— Простите меня, Григорий Иванович!

Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбителя, а просто из расчета: «Сделаю над собой уси-



лие, попрошу прощения, и авось меня не прогонят и не лишат куска хлеба...» Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?

— Простите...— повторил фельдшер.

— Послушайте...— заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и все еще не зная, что сказать.— Послушайте... Я вас оскорбил и... и должен понести наказание, то есть удовлетворить вас... Дуэлей вы не признаете... Впрочем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил, и вы... вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание... А оставаться нам тут вдвоем нельзя... Кто-нибудь из нас, я или вы, должен выйти! («Боже мой! Я не то ему говорю! — ужаснулся доктор.— Как глупо, как глупо!») Одним словом, подавайте прошение! А служить вместе мы уже не можем!.. Я или вы... Завтра же подавайте!

Фельдшер поглядел исподлобья на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах...

— И подам,— сказал он угрюмо и злобно.

— Да, и подавайте!

— А что ж вы думаете? Не подам? И подам... Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный...

В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом:

— Убирайтесь вон!

Фельдшер нехотя тронулся с места (ему как будто хотелось еще что-то сказать), пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И, что-то надумав, он решительно вышел...

— Как глупо, как глупо! — бормотал доктор по уходе его.— Как все это глупо и пошло!

Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером, как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его.

«Как глупо! — думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт.— Неужели я

так мало образован и так мало знаю жизнь, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну, что делать?»

На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал: «Это она к тетушке. Пусть!»

Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно,— для порядочного человека почти невозможно.

Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участки неисправно и проч. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак!» — и ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости; чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее.

Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.

«Это уж совсем глупо...— думал он, расписываясь в получении.— Глупее и придумать ничего нельзя».

И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства ..

«Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к черту! — злился он.— Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!»

Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетель-

ниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!» — но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломёнковом пиджаке с оттопыренными карманами — это был письмоводитель, и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся; фельдшер сконфузился и тоже поднялся.

— Александр Архипович еще не приходил? — спросил доктор конфузясь.

— Нет еще. Они дома... — ответил письмоводитель.

Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю; увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил:

— Вам с сахаром или без сахара?

Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии: теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные, полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным, генеральским «мнээ...», поводил плечами и играл глазами; здороваясь или давая закурить, шаркал по-

дошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал:

— Н-да-с... Может быть, желаете мнээ... водки выпить и закусить? Мнэ-э?

— Нет, спасибо, я сыт.

Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой:

— Послушайте, отчего вы его не прогоните?

Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку; ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его, наконец, лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал:

— Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу... Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю все, что хочу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, ни в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Черт их подери, я не желаю служить, вот и все! Не желаю!

— Ну, ну, ну... Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать...

— Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш

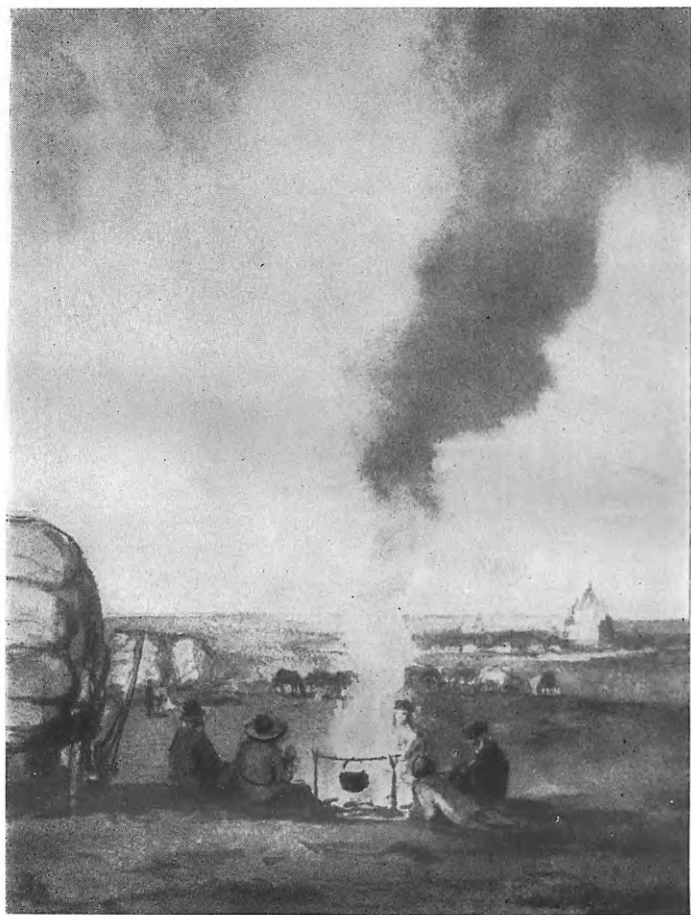
юродивый Семен Алексеич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба! Да черт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны! Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба! Покорнейше вас благодарю! И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать! Этот ваш член управы Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много иодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина! Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?

— Но... но ведь он хам, душа моя, холуй... На него нельзя обращать внимание...

— Хам, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос! Вы вот улыбаетесь! По-вашему, все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора! Я больше не могу! Сил нет, Александр Архипыч! Еще немного, и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы...

Глаза доктора налились слезами, и голос дрогнул; он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.

— Н-да-с, почтеннейший...— пробормотал мировой в раздумье.— С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то... (мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку)... то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете... Все мерзавцы (мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу). С этим злом надо



К повести «Степь».

*Художники Кукрыниксы. 1941.*



мириться. Я должен вам сказать, что-о в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей — и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-с в юстиции со времен царя Гороха и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о-о-о-о принципах, так сказать...

«Зачем он это говорит? — подумал доктор. — Не то мы с ним говорим, что нужно».

— Вот не дальше, как в прошлую пятницу, — продолжал мировой, — мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Черт с тобой, пей, но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь, судите сами, выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее — минутное дело! И что ж вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что... Ну, что ж вы поделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с... А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?

— Да и как его прогонишь? — сказал доктор. — Прогнать человека легко только на словах... Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?

«Черт знает что, не то я говорю!» — подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной, опре-



деленной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. «Это оттого, что я неглубок и не умею мыслить», — подумал он.

— Средний человек, как вы назвали, не надежен, — продолжал он. — Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только двадцать пять рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же двадцать пять рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности; читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуться своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где туг взяться принципам!

«Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, — подумал он. — И как нескладно, господи! Да и к чему все это?»

Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома.

— Сам приехал, — сказал мировой, поглядев в окно. — Ну, будет вам на орехи!

— А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее... — попросил доктор. — Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда.

— Хорошо, хорошо... Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича.

Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.

— Мое почтение... — сказал он, задыхаясь. — Уф,

батюшки! Вели-ка, судья, подать мне квасу! Смерть моя...

Он опустил в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором:

— Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иваныч! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь, не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?

Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал:

— Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески: «Голубушка, Лев Трофимыч, так и так, мол... Такого сорта история и прочее...» Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала... Тот дурак, словно белены объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили того дурака подать в суд! Срам, чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я председатель и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет! Очень, очень вам благодарен, Григорий Иваныч!

Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь, потом подошел к окну и крикнул:

— Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтоб сию минуту сюда шел! Нехорошо-с! — сказал он, отходя от окна.— Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам. Уж очень вы, господа, умствуете! Все норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно: тень наводите...

— Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит? — спросил доктор.

— Что у нас выходит? А то выходит, что если бы

я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили и нас... Счастье ваше, что я приехал!

Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:

— Прости сейчас у доктора прощения!

Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.

— Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений! — продолжал председатель. — Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?

— Даю... — угрюмо пробасил фельдшер.

— Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место! Если что случится, не проси милости... Ну, ступай домой...

Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.

— Вот и все! — сказал председатель. — И суда никакого не нужно.

Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:

— Блажени миротворцы... Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить... Ну, и водочки...

— Господа, это невозможно! — сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. — Это... это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!

— Что же вам нужно? — огрызнулся на него председатель. — Прогнать? Извольте, я прогоню...

— Нст, не прогнать... Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни... ах, боже мой! Это мучительно!

Доктор нервно засуетился и стал искать своей шляпы и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.

— Гадко! — повторил он.

— Душа моя,— зашептал мировой,— отчасти я вас не понимаю, так сказать... Ведь вы виноваты в этом инциденте! Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века — это, некоторым образом, как хотите, не того... Он мерзавец, но-о-о согласитесь, и вы поступили неосторожно...

— Конечно! — согласился председатель.

Подали водку и закуску. На прощанье доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро.

«Неужели,— думал он,— в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло! Как глупо! Как глупо!»

Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум... Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы... И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось:

«Глупо, глупо, глупо...»

За дверью тревожно залаяла собака. Инженер Ананьев, его помощник студент фон Штенберг и я вышли из барака посмотреть, на кого она лает. Я был гостем в бараке и мог бы не выходить, но, признаться, от выпитого вина у меня немножко кружилась голова, и я рад был подышать свежим воздухом.

— Никого нет...— сказал Ананьев, когда мы вышли.— Что ж ты врешь, Азорка? Дурак!

Кругом не было видно ни души. Дурак Азорка, черный дворовый пес, желая, вероятно, извиниться перед нами за свой напрасный лай, несмело подошел к нам и завилял хвостом. Инженер нагнул и потрогал его между ушей.

— Что ж ты, тварь, понапрасну лаешь? — сказал он тоном, каким добродушные люди разговаривают с детьми и с собаками.— Нехороший сон увидел, что ли? Вот, доктор, рекомендую вашему вниманию,— сказал он, обращаясь ко мне,— удивительно нервный субъект! Можете себе представить, не выносит одиночества, видит всегда страшные сны и страдает кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то с ним делается что-то вроде истерики.

— Да, деликатный пес...— подтвердил студент.

Азорка, должно быть, понял, что разговор идет о нем; он поднял морду и жалобно заскулил, как будто хотел сказать: «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините!»

Ночь была августовская, звездная, но темная. Оттого что раньше я никогда в жизни не находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие,— весь этот ерлаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во всем, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; те и другие портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню.

Мы взобрались на насыпь и с ее высоты взглянули на землю. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались сплошную с ночною мглой, мигал тусклый огонек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отступя шагов сто, светились рядом два красных глаза — вероятно, окна какого-нибудь барака,— и длинный ряд таких огней, становясь все гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизонта, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой мгле. Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки...

— Экая благодать, господи! — вздохнул Ананьев. — Столько простора и красоты, что хоть отбавляй! А какова насыпь-то! Это, батенька, не насыпь, а целый Монблан! Миллионы стоит...

Восхищаясь огнями и насыпью, которая стоит миллионы, охмелевший от вина и сентиментально на-

строенный инженер похлопал по плечу студента фон Штенберга и продолжал в шутовском тоне:

— Что, Михайло Михайлыч, призадумались? Небось приятно поглядеть на дела рук своих? В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человеческим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как все это хорошо, ей-богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрику, школ, больниц и — закипит машина! А?

Студент стоял неподвижно, засунув руки в карманы, и не отрывал глаз от огня. Он не слушал инженера, о чем-то думал и, по-видимому, переживал то настроение, когда не хочется ни говорить, ни слушать. После долгого молчания он обернулся ко мне и сказал тихо:

— Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом. Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые.

— Пожалуй...— согласился инженер.

И, как нарочно, по линии пробежал ветер и донес звук, похожий на бряцание оружия. Наступило молчание. Не знаю, о чем думали теперь инженер и студент, но мне уж казалось, что я вижу перед собой действительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, говорящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисовать палатки, странных людей, их одежду, доспехи...

— Да,— пробормотал студент в раздумье.— Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих лю-

дей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности это ужасно!

— А вы эти мысли бросьте...— сказал инженер серьезно и наставительно.

— Почему?

— А потому... Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишком молоды для них.

— Почему же? — повторил студент.

— Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потемках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастье! Несчастье! — повторил Ананьев и махнул рукой.— По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как еще с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям!

— Господи, да почему же они анафемские? — спросил, улыбаясь, студент, и по его голосу и по лицу было заметно, что он отвечает только из простой вежливости и что спор, затеваемый инженером, нисколько не интересуется его.

Глаза мои слипались. Я мечтал, что тотчас же после прогулки мы пожелаем друг другу покойной ночи и ляжем спать, но мечта моя сбылась не скоро. Когда мы вернулись в барак, инженер убрал пустые бутылки под кровать, достал из большого плетеного ящика две полные и, раскупорив их, сел за свой рабочий стол с очевидным намерением продолжать пить, говорить и работать. Отхлебывая понемножку из стакана, он делал карандашом пометки на каких-то чертежах и продолжал доказывать студенту, что тот мыслит неподобающим образом. Студент сидел рядом с ним, проверял какие-то счета и молчал. Ему, как и мне,



не хотелось ни говорить, ни слушать. Я, чтобы не мешать людям работать и ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в стороне от стола на походной, кривоногой кровати инженера и суччал. Был первый час ночи.

От нечего делать я наблюдал своих новых знакомых. Ни Ананьева, ни студента я никогда не видел раньше и познакомился с ними только в описываемую ночь. Поздно вечером я возвращался верхом с ярмарки к помещику, у которого гостил, попал в потемках не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линии и видя, как густеет темная ночь, я вспомнил о «босоногой чугунке», подстерегающей пешего и конного, струсил и постучался в первый попавшийся барак. Тут меня радушно встретили Ананьев и студент. Как это бывает с людьми, чужими друг другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаем, потом за вином уже чувствовали себя так, как будто были знакомы целые годы. Через какой-нибудь час я уже знал, кто они и как судьба занесла их из столицы в далекую степь, а они знали, кто я, чем занимаюсь и как мыслю.

Инженер Ананьев, Николай Анастасьевич, был плотен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, как Отелло, «опускаться в долину преклонных лет» и излишне полнеть. Он находился в той самой поре, которую свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то покойное, невозмутимое добродушие, какое приобретает порядочными людьми, когда они переваливают в штаб-офицерские чины и начинают полнеть. Его голове и бороде далеко еще было до седых волос, но он уж как-то невольно, сам того не замечая, снисходительно величал молодых людей «душа моя» и чувствовал себя как бы вправе добродушно журить их за образ мыслей. Движения его и голос были покойны, плавны, уверенны, как у человека, который отлично знает, что он уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть

определенное дело, определенный кусок хлеба, определенный взгляд на вещи... Его загорелое, толстоносое лицо и мускулистая шея как бы говорили: «Я сыт, здоров, доволен собой, а придет время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой...» Одет он был в ситцевую рубашу с косым воротом и в широкие полотняные панталоны, засунутые в большие сапоги. По некоторым мелочам, как, например, по цветному гарусному пояску, вышитому вороту и латочке на локте, я мог догадаться, что он был женат и, по всей вероятности, нежно любим своей женой.

Барон фон Штенберг, Михаил Михайлович, студент института путей сообщения, был молод, лет двадцати трех — двадцати четырех. Только одни русые волосы и жидкая борода, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица напоминали о его происхождении от остзейских баронов, все же остальное — имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские. Одетый так же, как и Ананьев, в ситцевую рубашу навыпуск и в большие сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорелый, он походил не на студента, не на барона, а на обыкновенного российского подмастерья. Говорил и двигался он мало, вино пил нехотя, без аппетита, счета проверял машинально и все время, казалось, о чем-то думал. Движения и голос его также были покойны и плавны, но его покой был совсем иного рода, чем у инженера. Загорелое, слегка насмешливое, задумчивое лицо, его глядевшие немножко исподлобья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лень... Он глядел так, как будто бы для него было решительно все равно, горит ли перед ним огонь, или нет, вкусно ли вино, или противно, верны ли счета, которые он проверял, или нет... И на его умном, покойном лице я читал: «Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Все это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда... Какой из всего этого выйдет

толк, я не знаю, да и никто не знает... Стало быть, и толковать нечего...»

Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расходившегося добряка-дядьку. Казалось, что все сказанное инженером было для него не ново и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Ананьев же между тем не унимался. Он уж оставил добродушно-шутливый тон и говорил серьезно, даже с увлечением, которое совсем не шло к его выражению покая. По-видимому, он был неравнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык. И эта непривычка так сильно сказывалась в его речи, что я не сразу понял, чего он хочет.

— Всею душой ненавижу эти мысли! — говорил он. — Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам, — может быть, оттого, что я глуп и что эти мысли были для меня не по коню корм, — они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно! Мысли о бессцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени и — стоп машина! Дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастье в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые пониже.

— Чем же это худо? — спросил студент.

— Да поймите же, что это ненормально! — крикнул Ананьев, поглядев на него почти со злобой. — Если мы нашли способ взбираться на верхнюю ступень без помощи нижних, то уж вся длинная лестница, то есть вся жизнь с ее красками, звуками и мыслями,

теряет для нас всякий смысл. Что в ваши годы такое мышление составляет зло и абсурд, вы можете понять из каждого шага вашей разумной, самостоятельной жизни. Положим, что сию вот минуту вы садитесь читать какого-нибудь Дарвина или Шекспира. Едва прочли вы одну страницу, как отравы начинает уж сказываться: и ваша длинная жизнь, и Шекспир, и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью, потому что вы знаете, что вы умрете, что Шекспир и Дарвин тоже умерли, что их мысли не спасли ни их самих, ни земли, ни вас, и что если таким образом жизнь лишена смысла, то все эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздною игрушкой взрослых детей. И вы прекращаете чтение на второй же странице. Теперь, положим, к вам, как к умному человеку, приходят люди и спрашивают вашего мнения, например, хоть о войне: желательна, нравственна она или нет? В ответ на этот страшный вопрос вы только пожмете плечами и ограничитесь каким-нибудь общим местом, потому что для вас, при вашей манере мыслить, решительно все равно, умрут ли сотни тысяч людей насильственной, или же своей смертью: в том и в другом случае результаты одни и те же — прах и забвение. Строим мы с вами железную дорогу. К чему, спрашивается, нам ломать головы, изобретать, возвышаться над шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы знаем, что эта дорога через две тысячи лет обратится в пыль? И так далее и так далее... Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление. Нам кажется, что мы умнее толпы и Шекспира, в сущности же наша мыслительская работа сводится на ничто, так как спускаться на нижние ступени у нас нет охоты, а выше идти некуда, так и стоит наш мозг на точке замерзания — ни тпру ни ну... Я находился под гнетом этих мыслей около шести лет, и, клянусь вам богом, за все это время я не прочел ни одной путевой книги, не стал умнее ни на грош и ни на одну букву не обогатил своего нравственного кодекса. Разве это не несчастье? Засим, мало того что

мы сами отравлены, но мы еще вносим отраву в жизнь окружающих нас. Добро бы мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили бы в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы, покорные общему закону, живем, чувствуем, любим женщин, воспитываем детей, строим дороги!

— От наших мыслей никому ни тепло ни холодно...— сказал студент нехотя.

— Нет, уж это вы — ах, оставьте! Вы еще не нюхали как следует жизни, а вот как поживете с мое, батенька, так и узнаете кузькину мать! Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В практической жизни, в столкновениях с людьми оно ведет только к ужасам и глупостям. Мне приходилось переживать такие положения, каких я злему татарину не пожелаю.

— Например? — спросил я.

— Например? — переспросил инженер; он подумал, улыбнулся и сказал: — Например, взять хоть такой случай. Вернее, это не случай, а целый роман с завязкой и развязкой. Прекраснейший урок! Ах, какой урок!

Он налил вина нам и себе, выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал, обращаясь больше ко мне, чем к студенту:

— Это было летом тысяча восемьсот семьдесят... года, вскоре после войны и по окончании мною курса. Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе N. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что N. казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухломе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил... Все с грустью...

Между прочим, в один из вечеров поехал я в так называемый Карантин. Это небольшая, плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в

самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города четыре версты по хорошей мягкой дороге. Едешь и видишь: налево голубое море, направо бесконечную, хмурую степь; дышится легко, и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая, тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее отлично было видно море.

Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как семь лет до этого, когда я, кончив курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу; вдали темнела полоска дыма — это шел пароход, и, кроме этой едва видимой и неподвижной полоски да мартышек, которые мелькали над водой, ничто не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега...

Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в неизвестности, и он рефлексивно хватается за карандаш и спешит записать на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел: «О. П. (то есть оставил память) Иван Корольков 16 мая 1876 года». Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечта-

тель и еще добавил: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то Кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, все это дела не касается... Простите, я не умею рассказывать коротко...

Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу навели меня на то самое мышление, о котором мы только что говорили. Тогда, в конце семидесятых годов, оно начинало входить в моду у публики и потом, в начале восьмидесятых, стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше двадцати шести лет, но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что все обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что все вздор и чепуха и что ну его все к черту! Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить: на, мол, смотри, сила, ставлю жизнь ни в грош, а живу! Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел готовить сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца и что мысль моя широка, как море. Ну-с, насколько я могу судить по себе, мышление, о котором идет речь, содержит в своей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посладоураганивать мыслями о бесцель-

ной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде:

«К чему, спрашивается, рождаются и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут...»

И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие, бесцветные жизни и знают, для чего живут... Помню, далеко в конце аллеи показались три женских фигуры. Какие-то барышни — одна в розовом платье, две в белом — шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал:

«Хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной!»

Я кстати вспомнил, что у своей петербургской барыни в последний раз я был три недели тому назад, и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней:

«Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!»

Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Вуколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, на-



сколько я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли, тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я, сын благородных родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, Blutgeld<sup>1</sup>, или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами... Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление в принципе ничего не имеет против этих прав, хороши ли они, или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись — все равно умрешь и сгниешь... Во-вторых, судари мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преобладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновение — все заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность, а холодные люди — нечего греха таить — не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня решительно все равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей Blutgeld, а завтра уж и не помнишь о ней.

Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы (но не с головы до ног, как огля-

---

<sup>1</sup> вознаграждение за бесчестье (нем.).

дывают мужчин) и нашел, что она молода, не старше двадцати пяти лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности, уже не барышня и принадлежит к разряду порядочных. Одета она была по-домашнему, но модно и со вкусом, как вообще одеваются в N. все интеллигентные барыни.

«Вот с этой бы сойтись...— подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки.— Ничего себе... Должно быть, супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии...»

Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было нелегко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо. Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже надоели ей и утомили ее зрение; она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянуто равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины.

Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумалась, и я по ее взгляду понял, что ей не до меня и что я со своею столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил:

— Сударыня, позвольте вас спросить, в котором часу уходят отсюда в город линейки?

— Кажется, в десять или в одиннадцать...

Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз-другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление... Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу: клюет! Она, точно ее что-то больно укусило, вдруг поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко:

— Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?

— Да, я Ананьев...— ответил я.

— А меня вы не узнаете? Нет?

Я немножко смутился, пристально поглядел на нее и, можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой, усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в которую я был по уши влюблен семь-восемь лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой пятнадцати — шестнадцати лет, когда она изображала из себя нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви: Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая, — кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса — лицо кроткое, недоумевающее, ручки маленькие, волосы длинные до пояса, мягкие, талия тонкая, как у осы, — в общем, нечто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свет, одним словом, с точки зрения гимназиста, красота неописанная... Я влюблен был в нее — во как! Ночей не спал, стихи писал... Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговейно созерцали... В ответ на все наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась от вечерней сырости, жмурилась да кротко улыбалась, и в это время ужасно походила на маленького, хорошенького котеночка; когда мы созерцали ее, всякому из нас приходило желание приласкать ее и погладить, как кошку, — отсюда прозвище Кисочка.

За семь-восемь лет, пока мы не виделись, Кисочка сильно изменилась. Она стала мужественнее, полнее и совсем утратила сходство с мягким, пушистым котенком. Черты ее не то чтобы постарели или поблекли, а как будто потускнели и стали строже, волоса казались короче, рост выше, плечи почти вдвое шире, а, главное, на лице было уже выражение материнства и покорности, какое бывает у порядочных женщин в ее годы и какого я раньше, конечно, не видел у нее... Одним словом, от прежнего гимназического и платонического уцелела одна только кроткая улыбка и больше ничего...

Мы разговорились. Узнавши, что я уже инженер, Кисочка ужасно обрадовалась.

— Как это хорошо! — сказала она, радостно заглядывая мне в глаза. — Ах, как хорошо! И какие вы все молодцы! Из всего вашего выпуска нет ни одного неудачника, из всех люди вышли. Один инженер, другой доктор, третий учитель, четвертый, говорят, теперь знаменитый певец в Петербурге... Все, все вы молодцы! Ах, как это хорошо!

В глазах Кисочки светились искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мной, как старшая сестра или бывшая учительница. А я глядел на ее милое лицо и думал: «Хорошо бы сегодня сойтись с ней!»

— Помните, Наталья Степановна, — спросил я, — как я однажды в саду поднес вам букет с записочкой? Вы прочли мою записочку, и по вашему лицу разлилось такое недоумение...

— Нет, этого не помню, — сказала она, засмеявшись. — А вот помню, как вы из-за меня хотели вызвать Флоренса на дуэль...

— Ну, а я этого, представьте, не помню...

— Да, что было, то прошло... — вздохнула Кисочка. — Когда-то я у вас была божком, а теперь наступила моя очередь глядеть на всех вас снизу вверх...

Из дальнейшего разговора я узнал, что Кисочка года через два после окончания курса в гимназии вышла замуж за одного местного обывателя, полугрека-полурусского, служащего не то в банке, не то в страховом обществе и в то же время занимающегося пшеничной торговлей. Фамилия у него была какая-то мудреная, что-то вроде Популаки или Скарандопуло... Черт его знает, забыл... Вообще о себе Кисочка говорила мало и неохотно. Разговор шел только обо мне. Она расспрашивала меня об институте, о моих товарищах, о Петербурге, о моих планах, и все, что я говорил, возбуждало в ней живую радость и восклицание: «Ах, как это хорошо!»

Мы спустились вниз к морю, погуляли по песку, потом, когда с моря повеяло вечерней сыростью, вернулись наверх. Все время разговор шел обо мне и о

прошлом. Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения вечерней зари.

— Пойдемте ко мне чай пить,— предложила мне Кисочка.— Должно быть, самовар давно уже на столе.. Я дома одна,— сказала она, когда сквозь зелень акаций показалась ее дача.— Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день, и у меня, признаться, такая скука, что просто смерть.

Я шел за ней, любовался ее спиной и плечами. Мне было приятно, что она замужем. Для мимолетных романов замужние представляют более подходящий материал, чем барышни. Приятно также было мне, что ее мужа нет дома... Но в то же время я чувствовал, что роману не быть...

Мы вошли в дом. Комнаты у Кисочки были небольшие, с низкими потолками, мебель дачная (а на дачах русский человек любит мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко и девать некуда), но по некоторым мелочам все-таки можно было заметить, что Кисочка с супругом жила не бедно и проживала тысяч пять-шесть в год. Помню, посреди комнаты, которую Кисочка назвала столовой, стоял круглый стол почему-то на шести ножках, на нем самовар и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка. Я заглянул в книжку и узнал в ней арифметический задачник Малинина и Буренина. Раскрыта она была, как теперь помню, на «правилах товарищества».

— Это вы с кем занимаетесь? — спросил я Кисочку.

— Ни с кем...— ответила она.— Это я так... От скуки и от нечего делать, старину вспоминаю, задачи решаю.

— У вас есть дети?

— Был один мальчик, но прожил неделю и умер.

Стали пить чай. Любуясь мной, Кисочка опять заговорила о том, как хорошо, что я инженер, и как она рада моим успехам. И чем больше она говорила и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее не солоно хлебавши. Я тогда уже был специалистом по части романов и

умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех. Вы смело можете рассчитывать на успех, если охотитесь на дуру, или на такую же искательницу приключений и ощущений, как вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встречаете женщину, неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренно радуется вашему присутствию, а главное — уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут, чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем один день.

А Кисочка при вечернем освещении казалась еще интереснее, чем днем. Она мне нравилась все больше и больше, я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. Да и обстановка была самая подходящая для романа: мужа нет дома, прислуги не видно, кругом тишина... Как ни мало я верил в успех, но все-таки порешил на всякий случай начать атаку. Прежде всего нужно было перейти на фамильярный тон и лирически-серьезное настроение Кисочки сменить на более легкое...

— Давайте, Наталья Степановна, переменим разговор,— начал я.— Поговоримте о чем-нибудь веселом... Прежде всего позвольте мне по старой памяти величать вас Кисочкой.

Она позволила.

— Скажите, пожалуйста, Кисочка,— продолжал я,— какая это муха укусила весь здешний прекрасный пол? Что с ним поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь, помируйте, про кого ни спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно... Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста, третья, барыня, уехала от мужа с актером, четвертая от мужа ушла к офицеру и так далее и так далее... Целая эпидемия! Этак, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены!

Я говорил пошлым, заигрывающим тоном. Если бы в ответ мне Кисочка засмеялась, то я продолжал бы в таком роде: «О, смотрите, Кисочка, как бы вас

здесь не похитил какой-нибудь офицер или актер!» Она опустила бы глазки и сказала: «Кому придет охота похищать меня такую? Есть помоложе и красивее...» А я бы ей: «Полноте, Кисочка, да я бы первый с наслаждением похитил вас!» И так далее в таком роде, и в конце концов дело мое было бы в шляпе. Но в ответ мне Кисочка не засмеялась, а, напротив, сделала серьезное лицо и вздохнула.

— Все это, что рассказывают, правда...— сказала она.— С актером уехала от мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо... Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено, но я не осуждаю их и не виню... Обстоятельства бывают иногда сильнее человека!

— Это так, Кисочка, но какие же обстоятельства могли породить целую эпидемию?

— Очень просто и понятно...— сказала Кисочка, поднимая брови.— У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы, вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякая может. Надо выходить замуж... А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах, а девочки остаются!.. За кого же им прикажете выходить? Ну, за неимением порядочных, развитых людей, и выходят бог знает за кого, за разных маклеров да пиндосов, которые только и умеют, что пить да в клубе скандальничать... Выходят девушки так, зря... Какая ж после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живет с глупым, тяжелым человеком; встретится ей какой-нибудь интеллигентный человек, офицер, актер или доктор, ну полюбит, станет ей невыносима жизнь, она и бежит от мужа. И осуждать нельзя!

— Если так, Кисочка, то зачем же замуж идти?— спросил я.

— Конечно,— вздохнула Кисочка,— но ведь каждой девушке кажется, что лучше хоть какой-нибудь муж, чем ничего... Вообще, Николай Анастасьевич, не-

хорошо здесь живет, очень нехорошо! И в девушках душно и замужем душно... Вот смеются над Соней за то, что она бежала, да еще с актером, а если бы заглянули ей в душу, то не смеялись бы...

За дверью опять залаял Азорка. Он злобно огрызнулся на кого-то, потом завыл с тоской и всем телом шарахнулся о стену барака... Лицо Ананьева поморщилось от жалости; он прервал свой рассказ и вышел. Минуты две слышно было, как он утешал за дверью собаку: «Хороший пес! Бедный пес!»

— Наш Николай Анастасьич любит поговорить, — сказал фон Штенберг, усмехаясь. — Хороший человек! — добавил он после некоторого молчания.

Вернувшись в барак, инженер подлил вина в наши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжал:

— Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать, я оставил нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнул рукой. Мало того, под влиянием Кисочкиного голоса, вечернего воздуха и тишины, я сам мало-помалу впал в тихое, лирическое настроение. Помню, сидел я в кресле у настезь открытого окна и глядел на деревья и темневшее небо. Силуэты акаций и лип были все те же, что и восемь лет тому назад; так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко брнчало плохое фортепяно, все та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно. А когда на свои расспросы о знакомых я раз пять получил от Кисочки в ответ: «умер», моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая брнчанье фортепяно, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какою жадностью одно поколение спешит сменить другое и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-восемь лет!



Кисочка поставила на стол бутылку сантуринского. Я выпил, раскис и стал длинно рассказывать о чем-то. Кисочка слушала и по-прежнему любовалась мной и моим умом. А время шло. Небо уже потемнело так, что силуэты акаций и лип слились вместе, публика уже не гуляла по аллеям, фортепьяно затихло, и только слышался ровный шум моря.

Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приголубьте вы молодого человека, угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядется, забудет о том, что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить... У хозяев слипаются глаза, им пора уже спать, а он все сидит и говорит. Так и я. Раз нечаянно взглянул я на часы: было половина одиннадцатого. Я стал прощаться.

— Выпейте на дорожку,— сказала Кисочка.

Я выпил на дорожку, опять заговорил длинно, забыл, что пора уходить, и сел. Но вот послышались мужские голоса, шаги и звяканье шпор. Какие-то люди прошли под окнами и остановились около двери.

— Кажется, муж вернулся...— сказала Кисочка, прислушиваясь.

Дверь щелкнула, голоса раздалась уже в передней, и я видел, как мимо двери, ведущей в столовую, прошли два человека: один — полный, солидный брюнет с горбатым носом и в соломенной шляпе и другой — молодой офицер в белом кителе. Проходя мимо двери, оба они равнодушно и мельком взглянули на меня и Кисочку, и мне показалось, что оба они были пьяны.

— Она, значит, тебе наврала, а ты поверил! — раздался через минуту громкий голос с сильным носовым прононсом.— Во-первых, это было не в большом клубе, а в малом.

— Ты, Юпитер, сердисься, стало быть, ты неправ...— сказал другой, смеющийся и кашляющий, очевидно, офицерский голос.— Послушай, мне можно остаться у тебя ночевать? Ты по совести: я тебя не стесню?

— Что за вопрос?! Не только можно, но даже должно. Ты чего хочешь, пива или вина?

Оба сидели через две комнаты от нас, громко говорили и, видимо, не интересовались ни Кисочкой, ни ее гостем. С Кисочкой же, когда вернулся муж, произошла заметная перемена. Она сначала покраснела, потом лицо ее приняло робкое, виноватое выражение; ею овладело какое-то беспокойство, и мне стало казаться, что ей совестно показывать мне своего мужа, и хочется, чтобы я ушел.

Я начал прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ее кроткую, грустную улыбку и ласковые, покорные глаза, когда она мне пожала руку и сказала:

— Вероятно, мы уж больше никогда не увидимся... Ну, дай бог вам всего хорошего. Спасибо вам!

Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала в руках свечу; светлые пятна прыгали по ее лицу и шее, точно гоняясь за ее грустной улыбкой; я вообразил себе прежнюю Кисочку, которую, бывало, хотелось погладить, как кошку, пристально поглядел на теперешнюю, припомнились мне почему-то ее слова: «Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено»,— и у меня на душе стало нехорошо. Мое чутье угадало, и моя совесть шепнула мне, счастливому и равнодушному, что передо мной стоит хороший, доброжелательный, любящий, но замученный человек...

Я раскланялся и пошел к воротам. Было уже темно. В июле на юге вечера наступают рано и воздух темнеет быстро. К десяти часам бывает уж так темно, что хоть глаз выколи. Пока я почти ошупью добрался до ворот, то сжег десятка два спичек.

— Извозчик! — крикнул я, выйдя за ворота; в ответ мне ни гласа, ни воздыхания...— Извозчик! — повторил я.— Эй! линейки!

Но нет ни извозчиков, ни линеек. Гробовая тишина. Я только слышу, как шумит сонное море и как бьется от сантуринского мое сердце. Поднимаю глаза к небу — там ни одной звезды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-тожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще раз, уж не так решительно, зову извозчика.

— Ощ! — отвечает мне эхо.

Пройти пешком четыре версты полев, да еще в потемках — перспектива неприятная. Прежде чем решиться идти пешком, я долго размышляю и зову извозчика, потом пожимаю плечами и без всякой определенной цели лениво возвращаюсь назад в рошу. В роше темно ужасно. Кое-где между деревьями тускло краснеют окна дачников. Ворона, разбуженная моими шагами и испугавшись спичек, которыми я освещаю свой путь к беседке, перелетает с дерева на дерево и шуршит в листве. Мне и досадно и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит — кррра! Досадно мне, что придется идти пешком, и стыдно, что у Кисочки я разболтался, как мальчик.

Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел. Далеко внизу, за густыми потемками тихо и сердито ворчало море. Помню, я, как слепой, не видел ни моря, ни неба, ни даже беседки, в которой сидел, и мне представлялось уже, что весь этот свет состоит только из мыслей, которые бродят в моей охмелевшей от вина голове, и из невидимой силы, монотонно шумящей где-то внизу. А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одного только меня. И, сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про Кисочку, и отдался ощущению, которое я так любил. Это — ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса, снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению... А рядом с этим ощущением мысли о бесцельной жизни, о смерти, загробных потемках... мысли не стоят гроша медного, но выражение лица, должно быть, прекрасно...

Пока я сидел и дремал, не решаясь подняться —

мне было тепло и покойно,— вдруг среди ровного, однообразного шума моря, как на канве, стали обозначаться звуки, отвлекшие мое внимание от самого себя... Кто-то торопливо шел по аллее. Подойдя к беседке, этот кто-то остановился, всхлипнул, как девочка, и спросил голосом плачущей девочки:

— Боже мой, когда же, наконец, все это кончится? Господи!

Судя по голосу и по плачу, это была девочка лет десяти — двенадцати. Она нерешительно вошла в беседку, села и стала вслух не то молиться, не то жаловаться...

— Господи! — говорила она протяжно и плача.— Ведь это же невыносимо! Этого не выдержит никакое терпение! Я терплю, молчу, но ведь, пойми же, и мне жить хочется... Ах, боже мой, боже мой!

И все в таком роде... Мне захотелось взглянуть на девочку и поговорить с ней. Чтобы не испугать ее, я сначала громко вздохнул и кашлянул, потом осторожно чиркнул спичкой... Яркий свет блеснул в потемках и осветил того, кто плакал. Это была Кисочка...

— Чудеса в решете! — вздохнул фон Штенберг.— Черная ночь, шум моря, страдающая *она*, *он* с ощущением вселенского одиночества... черт знает что! Недостает только черкесов с кинжалами.

— Я рассказываю вам не сказку, а быль.

— Ну, хоть бы и быль... Это все ни к чему и давно уже известно...

— Погодите презирать, дайте кончить! — сказал Ананьев, досадливо махнув рукой.— Не мешайте, пожалуйста! Я не вам рассказываю, а доктору... Ну-с,— продолжал он, обращаясь ко мне и искоса поглядывая на студента, который нагнулся к своим счетам и, казалось, был очень доволен тем, что поддразнил инженера.— Ну-с, увидев меня, Кисочка не удивилась и не испугалась, как будто раньше знала, что увидит меня в беседке. Она прерывисто дышала и дрожала всем телом, как в лихорадке, а лицо ее, мокрое от слез, насколько я мог разглядеть, зажигая спичку за спичкой, было уж не прежнее умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сих пор никак не могу

понять. Оно не выражало ни боли, ни беспокойства, ни тоски, ничего такого, что выражали ее слова и слезы... Признаюсь, оттого, вероятно, что я не понимал его, оно казалось мне бессмысленным и пьяным.

— Я не могу больше...— забормотала Кисочка голосом плачущей девочки.— Нет моих сил, Николай Анастасьич! Простите, Николай Анастасьич... Я не в состоянии жить так... Уйду в город к матери... Проводите меня... Ради бога, проводите!

В присутствии плачущих я не умел ни говорить, ни молчать. Я растерялся и в утешение забормотал какой-то вздор.

— Нет, нет, я поеду к матери! — сказала решительно Кисочка, поднимаясь и судорожно хватая меня за руку (руки и рукава у нее были мокры от слез).— Простите, Николай Анастасьич, поеду... Больше не могу...

— Кисочка, но ведь ни одного извозчика нет! — сказал я.— На чем вы поедете?

— Ничего, я пешком пойду... Тут недалеко. А я больше не в состоянии...

Я был смущен, но не растроган. Для меня в слезах Кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого, дешевого горя заливается пудом слез. Я не понимал ее и знал, что не понимаю, мне бы следовало молчать, но почему-то, вероятно, чтобы молчание мое не было понято как глупость, я считал нужным уговаривать ее не ехать к матери и сидеть дома. Плачущие не любят, когда кто видит их слезы. А я зажигал спичку за спичкой и чиркал до тех пор, пока не опустела коробка. К чему мне понадобилась эта невеликодушная иллюминация, до сих пор никак не могу понять. Вообще холодные люди часто бывают неловки и даже глупы.

В конце концов Кисочка взяла меня под руку, и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной дороге. Было темно; когда же глаза мои мало-помалу привыкли

к темноте, я стал различать силуэты старых, но тощих дубов и лип, которые росли по сторонам дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровного, обрывистого берега, пересеченная кое-где небольшими, глубокими оврагами и промоинами. Около оврагов ютились невысокие кусты, похожие на сидящих людей. Становилось жутко. Я подозрительно косился на берег, и уж шум моря и тишина поля неприятно пугали мое воображение. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полуверсты, уж ослабела от ходьбы и задыхалась. Я тоже молчал.

В версте от Карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. Оттого что оно заброшено и что в нем никто не живет, и оттого что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным. И вот представьте меня в темную ночь под руку с женщиной, которая бежит от мужа, около длинной и высокой громадины, повторяющей каждый мой шаг и неподвижно глядящей на меня сотнею своих черных окон. Нормальный молодой человек при такой обстановке ударился бы в романтизм, я же глядел на темные окна и думал: «Все это внушительно, но придет время, когда и от этого здания, и от Кисочки с ее горем, и от меня с моими мыслями не останется и пыли... Все вздор и суета...»

Когда мы поравнялись с мукомольней, Кисочка вдруг остановилась, освободила свою руку и заговорила, но уж голосом не девочки, а своим собственным:

— Николай Анастасьич, я знаю, вам все это кажется странным. Но я страшно несчастна! И представить даже вы себе не можете, как я несчастна! Невозможно представить! Я вам не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя... Такая жизнь, такая жизнь...

Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала так, как будто старалась изо всех сил не крикнуть от боли.

— Такая жизнь! — повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным, немножко хохлацким акцентом, который, особенно у женщин, придает возбужденной речи характер песни.— Такая жизнь! А, боже мой, боже мой, что же это такое? А, боже мой, боже мой!

Точно желая разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну знаменитую хохлацкую актрису.

— Господи, да я же как в яме! — продолжала она, ломая руки.— Хоть бы одну минуточку пожить в радости, как люди живут! А, боже мой, боже мой! Дожила до такого срама, что при чужом человеке ухожу ночью от мужа, как какая-нибудь беспутная. Чего же еще хорошего можно ждать после этого?

Любуясь ее движениями и голосом, я вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что она не в ладах живет с мужем. «Хорошо бы сойтись с ней!» — мелькнуло у меня в мыслях, и эта безжалостная мысль остановилась в моем мозгу, не покидала меня во всю дорогу и улыбалась мне все шире и шире...

Пройдя версты полторы от мукомольни, нужно поворачивать к городу влево мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоит каменная ветряная мельница, а возле нее небольшая хатка, в которой живет мельник. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влево и дошли до ворот кладбища. Тут Кисочка остановилась и сказала:

— Я вернусь, Николай Анастасьич! Вы идите себе с богом, а я сама вернусь. Мне не страшно.

— Ну вот еще! — испугался я.— Коли идти, так идти...

— Я напрасно погорячилась... Все ведь из-за пустяка вышло. Вы своими разговорами напомнили мне прошлое, навели меня на разные мысли... Я была грустна и хотела плакать, а муж при офицере сказал мне дерзость, ну я и не выдержала... И зачем мне идти в город к матери? Разве от этого я стану счастливее? Надо вернуться... А впрочем... пойдемте! — сказала Кисочка и засмеялась.— Все равно!

Я помнил, что на кладбищенских воротах есть надпись: «Грядет час, в онъ же вси сущие во гробех услышат глас сына божия», отлично знал, что рано или поздно настанет время, когда и я, и Кисочка, и ее муж, и офицер в белом кителе будем лежать за оградой под темными деревьями, знал, что рядом со мной идет несчастный, оскорбленный человек,— все это я сознавал ясно, но в то же время меня волновал тяжелый, неприятный страх, что Кисочка вернется и что я не сумею сказать ей то, что нужно. Никогда в другое время в моей голове мысли высшего порядка не переплетались так тесно с самой низкой, животной прозой, как в эту ночь... Ужасно!

Недалеко от кладбища мы нашли извозчика. Доехав до Большой улицы, где жила Кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка все время молчала, а я глядел на нее и злился на себя: «Что же ты не начинаешь? Пора!» В двадцати шагах от гостиницы, где я жил, Кисочка остановилась около фонаря и заплакала.

— Николай Анастасьич! — сказала она, плача, смеясь и глядя мне в лицо мокрыми, блестящими глазами.— Я вашего участия никогда не забуду... Какой вы хороший! И все вы такие молодцы! Честные, великодушные, сердечные, умные... Ах, как это хорошо!

Она видела во мне интеллигентного и передового во всех отношениях человека, и на ее мокрым, смеющимся лице, рядом с умилением и восторгом, которые возбуждала в ней моя особа, была написана скорбь, что она редко видит таких людей и что бог не дал ей счастья быть женою одного из них. Она бормотала: «Ах, как это хорошо!» Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно накинутый на голову, при свете фонаря напомнили мне прежнюю Кисочку, которую хотелось погладить, как кошку...

Я не выдержал и стал гладить ее волосы, плечи, руки...

— Кисочка, ну что ты хочешь? — забормотал я.—



Хочешь, чтобы я с тобой на край света? Я увезу тебя из этой ямы и дам тебе счастье. Я тебя люблю... Поедем, моя прелесть? Да? Хорошо?

По лицу Кисочки разлилось недоумение. Она отступила от фонаря и, ошеломленная, поглядела на меня большими глазами. Я крепко схватил ее за руку, стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, плечи и продолжал клясться и давать обещания. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь. Ошеломленная Кисочка все пятилась назад и глядела на меня большими глазами...

— Не нужно! Не нужно! — забормотала она, отстраняя меня руками.

Я крепко обнял ее. Она вдруг истерично заплакала, и лицо ее приняло такое же бессмысленное, тупое выражение, какое я видел у нее в беседке, когда зажигал спички... Не спрашивая ее согласия, мешая ей говорить, я насильно потащил ее к себе в гостиницу... Она была как в столбняке и не шла, но я взял ее под руку и почти понес... Помню, когда мы поднимались вверх по лестнице, какая-то фигура с красным околышем удивленно поглядела на меня и поклонилась Кисочке...

Ананьев покраснел и умолк. Он молча прошелся около стола, досадливо почесал себе затылок и несколько раз судорожно пожал плечами и лопатками от холода, который пробежал по его большой спине. Ему уж было стыдно и тяжело вспоминать, и он боролся с собой...

— Нехорошо! — сказал он, выпивая стакан вина и встряхивая головой.— Говорят, что всякий раз во вступительной лекции по женским болезням советуют студентам-медикам, прежде чем раздевать и ощупывать больную женщину, вспоминать, что у каждого из них есть мать, сестра, невеста... Этот совет годился бы не для одних только медиков, но для всех, кому приходится так или иначе сталкиваться в жизни с женщинами. Теперь, когда у меня есть жена и доч-

ка, ах, как я понимаю этот совет! Как понимаю, боже мой! Однако слушайте, что дальше... Ставши моей любовницей, Кисочка взглянула на дело иначе, чем я. Прежде всего она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экспромт, для нее было целым переворотом в жизни. Помню, мне казалось, что она сошла с ума. Счастливая первый раз в жизни, помолодевшая лет на пять, с вдохновенным, восторженным лицом, не зная, куда деваться от счастья, она то смеялась, то плакала и не переставала мечтать вслух о том, как завтра мы поедем на Кавказ, оттуда осенью в Петербург, как будем потом жить...

— А насчет мужа ты не беспокойся! — успокаивала она меня. — Он обязан дать мне развод. Всему городу известно, что он живет со старшей Костович. Мы получим развод и повенчаемся.

Женщины, когда любят, климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки. Побыла Кисочка у меня в номере часа полтора, а уж чувствовала себя в нем, как дома, и распоряжалась моим добром, как своим собственным. Она укладывала в чемодан мои вещи, журила меня за то, что я не вешаю на гвоздь свое новое дорогое пальто, а бросаю его на стул, как тряпку, и проч.

Я глядел на нее, слушал и чувствовал усталость и досаду. Меня немножко коробило от мысли, что порядочная, честная и страдающая женщина так легко, в какие-нибудь три-четыре часа, сделалась любовницей первого встречного. Это уж мне, как порядочному человеку, видите ли, не нравилось. Потом, на меня еще неприятно действовало то, что женщины вроде Кисочки неглубоки и несерьезны, слишком любят жизнь и даже такой, в сущности, пустяк, как любовь к мужчине, возводят на степень счастья, страдания, жизненного переворота... К тому же теперь, когда я был сыт, мне было досадно на себя, что я сглупил и связался с женщиной, которую поневоле придется обмануть... А я, надо заметить, несмотря на свою беспорядочность, терпеть не мог лгать.

Помню, Кисочка села у моих ног, положила голову мне на колени и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила:

— Коля, ты меня любишь? Очень? Очень?

И засмеялась от счастья... Это показалось мне сентиментально, приторно и неумно, а между тем я находился уже в таком настроении, когда во всем искал прежде всего «глубины мысли».

— Кисочка, ты бы ушла домой,— сказал я,— а твои родные, чего доброго, хватятся тебя и будут искать по городу. Да и неловко, что ты к матери придешь под утро...

Кисочка согласилась со мной. На прощанье мы условились, что завтра в полдень я увижусь с нею в городском саду, а послезавтра мы вместе поедem в Пятигорск. Я вышел провожать ее на улицу и, помню, чежно и искренно ласкал ее дорогой. Была минута, когда мне вдруг стало невыносимо жаль, что она так беззаветно верит мне, и я порешил было взять ее с собой в Пятигорск, но, вспомнив, что у меня в чемодане только шестьсот рублей и что осенью развязаться с нею будет гораздо трудней, чем теперь, я поспешил заглушить свою жалость.

Мы пришли к дому, где жила Кисочкина мать. Я дернул за звонок. Когда послышались за дверью шаги, Кисочка вдруг сделала серьезное лицо, взглянула на небо и несколько раз торопливо перекрестила меня, как ребенка, потом схватила мою руку и прижала к своим губам.

— До завтра! — проговорила она и исчезла за дверью.

Я перешел на противоположный тротуар и отсюда поглядел на дом. Сначала за окнами было темно, потом в одном из окон мелькнул слабый синеватый огонек только что зажженной свечки; огонек вырос, пустил от себя лучи, и я увидел, как вместе с ним по комнатам задвигались какие-то тени.

«Не ждали!» — подумал я.

Вернувшись к себе в номер, я разделся, выпил сантуринского, закусил свежей зернистой икрой, кото-

рую купил днем на базаре, не спеша лег в постель и уснул крепким, безмятежным сном туриста.

Утром проснулся я с головною болью и в дурном расположении духа. Что-то беспокоило меня.

«В чем дело? — спрашивал я себя, желая объяснить свое беспокойство. — Что тревожит меня?»

И свое беспокойство я объяснил боязнию, что сейчас, пожалуй, придет ко мне Кисочка, помешает мне уехать и я должен буду лгать и ломаться перед ней. Я быстро оделся, уложил свои вещи и вышел из гостиницы, приказав швейцару доставить мой багаж на вокзал к семи часам вечера. Весь день пробыл я у одного приятеля-доктора, а вечером уж выехал из города. Как видите, мое мышление не помешало мне удариться в подлое, изменническое бегство...

Все время, пока я сидел у приятеля и ехал потом на вокзал, меня мучило беспокойство. Мне казалось, что я боюсь встречи с Кисочкой и скандала. На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему вагону, меня давило такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен краденными вещами. С каким нетерпением и страхом я ждал третьего звонка!

Но вот раздался спасительный третий звонок, поезд тронулся; миновали мы тюрьму, казармы, выехали в поле, а беспокойство, к великому моему удивлению, все еще не оставляло меня, и все еще я чувствовал себя вором, которому страстно хочется бежать. Что за странность? Чтобы рассеяться и успокоить себя, я стал глядеть в окно. Поезд шел по берегу. Море было гладко, и в него весело и спокойно гляделось бирюзовое небо, почти наполовину выкрашенное в нежный, золотисто-багряный цвет заката. Кое-где на нем чернели рыбацкие лодочки и плоты. Город чистенький и красивый, как игрушка, стоял на высоком берегу и уж подергивался вечерним туманом. Золотые главы его церквей, окна и зелень отражали в себе заходившее солнце, горели и таяли, как золото, которое плавится... Запах поля мешался с нежною сыростью, веявшей с моря.

Поезд летел быстро. Слышался смех пассажиров

и кондукторов. Всем было весело и легко, а мое непонятное беспокойство все росло и росло... Я глядел на легкий туман, покрывавший город, и мне представлялось, как в этом тумане около церквей и домов с бессмысленным, тупым лицом мечется женщина, ищет меня и голосом девочки или нараспев, как хохлацкая актриса, стонет: «А, боже мой, боже мой!» Я вспоминал ее серьезное лицо и большие озабоченные глаза, когда она вчера крестила меня, как родного, и машинально оглядывал свою руку, которую она вчера целовала.

«Влюблен я, что ли?» — спрашивал я себя, почесывая руку.

Только с наступлением ночи, когда пассажиры спали и я один на один остался со своею совестью, мне стало понятно то, чего я никак не мог понять раньше. В вагонных сумерках стоял передо мной образ Кисочки, не отходил от меня, и я уже ясно сознавал, что мною совершено зло, равносильное убийству. Меня мучила совесть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я уверял себя, что все вздор и суета, что я и Кисочка умрем и сгнием, что ее горе ничто в сравнении со смертью, и так далее и так далее... Что в конце концов свободной воли нет и что я, стало быть, не виноват; но все эти доводы только раздражали меня и как-то особенно быстро стусhevывались среди других мыслей. В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски... Я то ложился, то вставал, пил на станциях водку, насильно ел бутерброды, опять принимался уверять себя, что жизнь не имеет смысла, но ничто не помогало. В моей голове кипела странная и, если хотите, смешная работа. Самые разнообразные мысли в беспорядке громоздились одна на другую, путались, мешали друг другу, а я, мыслитель, уставясь в землю лбом, ничего не понимал и никак не мог ориентироваться в этой куче нужных и ненужных мыслей. Оказалось, что я, мыслитель, не усвоил себе еще даже техники мышления и что распорядиться своей собственной головой я так же не умел, как починять часы. Первый раз в жизни я мыслил усердно и напряженно, и это казалось мне

такой диковиной, что я думал: «Я схожу с ума!» Чей мозг работает не всегда, а только в тяжелые минуты, тому часто приходит мысль о сумасшествии.

Промаялся я таким образом ночь, день, потом еще ночь, и, убедившись, как мало помогает мне мое мышление, я прозрел и понял, наконец, что я за птица. Я понял, что мысли мои не стоят гроша медного и что до встречи с Кисочкой я еще не начинал мыслить и даже понятия не имел о том, что значит серьезная мысль; теперь, настрадавшись, я понял, что у меня не было ни убеждений, ни определенного нравственного кодекса, ни сердца, ни рассудка; все умственное и нравственное богатство мое состояло из специальных знаний, обрывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей — и только, а психические движения мои были несложны, просты и азбучны, как у якута... Если я не любил говорить ложь, не крал, не убивал и вообще не делал очевидно грубых ошибок, то это не в силу своих убеждений, — их у меня не было, — а просто только потому, что я по рукам и ногам был связан нянюшкиными сказками и прописной моралью, которые вошли мне в плоть и кровь и которые незаметно для меня руководили мною в жизни, хотя я и считал их нелепостью...

Я понял, что я не мыслитель, не философ, а просто виртуоз. Бог дал мне здоровый, сильный русский мозг с задатками таланта. И вот представьте себе этот мозг на двадцать шестом году жизни, не дрессированный, совершенно свободный от постоа, не обремененный никакою кладью, а только слегка запылившийся кое-какими знаниями по инженерной части; он молод и физиологически алчет работы, ищет ее, и вдруг совершенно случайным путем западает в него извне красивая, сочная мысль о бесцельной жизни и загробных потемках. Он жадно втягивает ее в себя, дает в ее распоряжение весь свой простор и начинает играть с нею на всякие лады, как кошка с мышкой. У мозга ни эрудиции, ни системы, но это не беда. Он собственными, природными силами на манер самоучки справляется с широкой мыслью, и не проходит месяца, как уж обладатель мозга из одного картофеля

готовит сотню вкусных блюд и мнит себя мыслителем...

Эту виртуозность, игру в серьезную мысль, наше поколение внесло в науку, в литературу, в политику и всюду, куда только оно не ленилось идти, а с виртуозностью вносило оно свой холод, скуку, односторонность и, как мне кажется, уже успело воспитать в массе новое, до сих пор небывалое отношение к серьезной мысли.

Свою ненормальность и круглое невежество я понял и оценил благодаря несчастью. Нормальное же мое мышление, как мне теперь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку, то есть когда совесть погнала меня назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся перед Кисочкой, вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал вместе с ней...

Ананьев вкратце описал свое последнее свидание с Кисочкой и умолк.

— Так-с...— процедил сквозь зубы студент, когда инженер кончил...— Такие-то дела на этом свете!

Лицо его по-прежнему выражало мозговую лень, и, по-видимому, рассказ Ананьева не тронул его ни-сколько. Только когда инженер, отдохнувши минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано им вначале, студент раздраженно поморщился, встал из-за стола и отошел к своей кровати. Он постлал постель и стал раздеваться.

— У вас теперь такой вид, как будто вы в самом деле кого-нибудь убедили! — сказал он раздраженно.

— Я кого-нибудь убедил? — спросил инженер.— Душа моя, да разве я претендую на это? Бог с вами! Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий!..

— И потом, удивительная логика! — проворчал студент, надевая ночную сорочку.— Мысли, которых вы так не любите, для молодых губельны, для стариков же, как вы говорите, составляют норму. Точно речь идет о сединах... Откуда эта старческая приви-

легия? На чем она основана? Уж коли эти мысли — яд, так яд для всех одинаково.

— Э, нет, душа моя, не говорите! — сказал инженер и хитро подмигнул глазом.— Не говорите! Старички, во-первых, не виртуозы. Их пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов, настрадаются, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт и прочное философское развитие. Во-вторых, у стариков мыслителей пессимизм составляет не шалтай-болтай, как у нас с вами, а мировую боль, страдание; он у них имеет христианскую подкладку, потому что вытекает из любви к человеку и из мыслей о человеке, и совсем лишен того эгоизма, какой замечается у виртуозов. Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех, и бонется за всех людей. Например, тут недалеко живет казенный лесничий Иван Александрыч. Хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то, черт его знает кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел. Читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке... А там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как неспециалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работали действительно ловко и быстро; особенно один подлец необыкновенно ловко попадал молотком в головку гвоздя и вбивал его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень и каждый гвоздь в фут длиною. Иван Александрыч долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой пессимизм я понимаю...



— Все это ничего не доказывает и не объясняет,— сказал студент, укрываясь простыней,— и все это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего не знает и ничего нельзя доказать словами.

Он выглянул из-под простыни, приподнял голову и, раздраженно морщась, проговорил быстро:

— Надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике. Словами можно доказать и опровергнуть все что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два — семь. Я люблю слушать и читать, но верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу. Я поверю одному только богу, а вам, хоть бы вы говорили мне до второго пришествия и обольстили еще пятьсот Кисочек, я поверю, разве только когда сойду с ума... Спокойной ночи!

Студент спрятал голову под простыню и отвернулся лицом к стенке, желая этим движением дать понять, что он уж не желает ни слушать, ни говорить. На этом и кончился спор.

Прежде чем лечь спать, я и инженер вышли из барака, и я еще раз видел огни.

— Мы утомили вас своей болтовней! — сказал Ананьев, зевая и глядя на небо.— Ну, да что ж, батенька! Только и удовольствия в этой скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь... Экая насыпь, господи! — умилился он, когда мы подошли к насыпи.— Это не насыпь, а Арарат-гора.

Он помолчал немного и сказал:

— Барону эги огни напоминают амалекитян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли... Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то — далеко за старостью... Однако довольно философствовать! Пора бай-бай...

Когда мы вернулись в барак, инженер стал упрашивать меня, чтобы я лег непременно на его кровать.

— Ну, пожалуйста! — говорил он умоляюще, прижимая обе руки к сердцу.— Прошу вас! А насчет меня не беспокойтесь. Я могу спать, где угодно, да и еще нескоро лягу... Сделайте такое одолжение!

Я согласился, разделся и лег, а он сел за стол и принялся за чертежи.

— Нашему брату, батенька, некогда спать,— говорил он вполголоса, когда я лег и закрыл глаза.— У кого жена да пара ребят, тому не до спанья. Теперь корми и одевай да на будущее припасай. А у меня их двое: сынишка и дочка... У мальчишки-подлеца хорошая рожа... Шести лет еще нет, а способности, доложу вам, необыкновенные... Тут у меня где-то их карточки были... Эх, деточки мои, деточки!

Он пошарил в бумагах, нашел карточки и стал глядеть на них. Я уснул.

Разбудили меня лай Азорки и громкие голоса. Фон Штенберг, в одном нижнем белье, босой и с включенными волосами стоял на пороге двери и с кем-то громко разговаривал. Светало... Хмурый, синий рассвет гляделся в дверь, в окна и в щели барака и слабо освещал мою кровать, стол с бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на бурке, выпатив свою мясистую волосатую грудь и с кожаной подушкой под головой, инженер спал и храпел так громко, что я от души пожалел студента, которому приходится спать с ним каждую ночь.

— С какой же стати мы будем принимать? — кричал фон Штенберг.— Это нас не касается! Поезжай к инженеру Чалисову! От кого это котлы?

— От Никитина...— отвечал угрюмо чей-то бас.

— Ну, так вот и поезжай к Чалисову... Это не по нашей части. Какого ж черта стоишь? Поезжай!

— Ваше благородие, мы уж были у господина Чалисова! — сказал бас еще угрюмее.— Вчера цельный день их искали по линии, и в ихнем бараке нам так сказали, что они на Дымковский участок уехали. Примите, сделайте милость! До каких же пор нам возить их? Возим-возим по линии, и конца не видать...

— Что там? — прохрипел Ананьев, просыпаясь и быстро поднимая голову.

— От Никитина котлы привезли, — сказал студент, — и просят, чтобы мы их приняли. А какое нам дело принимать?

— Гоните их в шею!

— Сделайте милость, ваше благородие, доведите до порядка! Лошади два дня не евши и хозяин, чай, серчает. Назад нам везть, что ли? Железная дорога коглы заказывала, стало быть, она и принять должна...

— Да пойми же, дубина, что это не наше дело! Поезжай к Чалисову!

— Что такое? Кто там? — прохрипел опять Ананьев. — А черт их возьми совсем! — выбранился он, поднимаясь и идя к двери. — Что такое?

Я оделся и минуты через две вышел из барака. Ананьев и студент, оба в нижнем белье и босые, что-то горячо и нетерпеливо объясняли мужику, который стоял перед ними без шапки и с кнутом в руке и, по видимому, не понимал их. На лицах обоих была написана самая будничная забота.

— На что мне сдались твои котлы? — кричал Ананьев. — На голову я себе их надену, что ли? Если ты не застал Чалисова, то поищи его помощника, а нас оставь в покое!

Увидев меня, студент, вероятно, вспомнил разговор, который был ночью, и на сонном лице его исчезла забота и показалось выражение мозговой лени. Он махнул рукой на мужика и, о чем-то думая, отошел в сторону.

Утро было пасмурное. По линии, где ночью светились огни, копошились только что проснувшиеся рабочие. Слышались голоса и скрип тачек. Начинался рабочий день. Одна лошаденка в веревочной сбруе уже плелась на насыпь и, изо всех сил вытягивая шею, тащила за собою телегу с песком...

Я стал прощаться... Многое было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса, и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ Кисочки. Севши на лошадь, я в последний раз взглянул

на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными глазами, на рабочих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал: «Ничего не разберешь на этом свете!»

А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда немного погодя я видел перед собою только бесконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»

Стало восходить солнце...

## БРАСАВНЦЫ

### I

Помню, будучи еще гимназистом V или VI класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой, Донской области, в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно-скучный. От жара и сухого, горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту; не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать, и, когда дремавший возница, хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни звука и только, очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни? Кормить лошадей остановились мы в большом армянском селе Бахчи-Салах у знакомого дедушке богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого армянина. Представьте себе маленькую, стриженую головку с густыми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и с широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук; головка эта неумело приклеена к тощему, горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм: в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары; ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, говорила, не вынимая изо рта чубука, а держала себя с чисто армянским достоинством: не улыбалась, пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания.

В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи

и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель и наохренные полы издавали запах сухого дерева, прижженного солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи... Дедушка и армянин вполголоса говорили о попасе, о толоке, об овцах... Я знал, что самовар будут ставить целый час, что дедушка будет пить чай не менее часа и потом ляжет спать часа на два, на три, что у меня четверть дня уйдет на ожидание, после которого опять жара, пыль, тряские дроги. Я слушал бормотанье двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкаф с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давно-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем, и мною овладевала ненависть к степи, к солнцу, к мухам...

Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин не спеша вышел в сени и крикнул:

— Машя! Ступай наливай чай! Где ты? Машя!

Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной, и я заметил только, что она была тонка в талии, боса и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами.

Хозяин пригласил меня пить чай. Сядясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию.

Я готов клясться, что Маша, или, как звал отец, Машя, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный,

оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зареве охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток... И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа — все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота.

Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, восьмидесятилетний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил:

— Это ваша дочка, Авет Назарыч?

— Дочка. Это дочка... — ответил хозяин.

— Хорошая барышня, — похвалил дедушка.

Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный, гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному, белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но, чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама.

Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит все время вниз; какой-то особый воздух, казалось мне,

счастливым и гордым, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов.

«Это оттого,— думал я,— что я весь в пыли, загорел, и оттого, что я еще мальчик».

Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уж не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжанья мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка.

Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и бабушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уж не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу.

После чаю дедушка лег спать, а я вышел из дому и сел на крыльчке. Дом, как и все дома в Бахчи-Салах, стоял на припеке; не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молотьба. Вокруг столба, вбитого в самую серединку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали двенадцать лошадей. Возле ходил хохол в длинной жилетке и в широких шароварах, хлопал бичом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошадей и похвастать своею властью над ними:

— А-а-а, окаянные! А-а-а... нету на вас холеры! Бойтесь?

Лошади, гнедые, белые и пегие, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно помахивая хвостами. Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой пыли и уно-



сил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирд копошились бабы с граблями и двигались арбы, а за скирдами, в другом дворе, бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей и такой же хохол хлопал бичом и насмеялся над лошадьми.

Ступени, на которых я сидел, были горячи; на жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей; под ступеньками и под ставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и в голову, и в грудь, и в спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали по дощатому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и, как птица, полетела к небольшой, закопченной пристройке, должно быть кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери, и вместо ее на пороге показалась старая, сторбленная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бранила. Скоро на пороге показалась Маша, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече; красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор к гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой пыли, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб, потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен:

— А, чтоб вам пропасть, нечистая сила!

И все время потом слышал я не переставая шаги ее босых ног и видел, как она с серьезным, озабоченным лицом носилась по двору. Пробежала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумно, то за ворота, и я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить за нею.

И чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и хохла, грустно прово-

жавшего ее взглядом всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к арбам. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моею и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как все на земле, не долговечна, или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, бог знает!

Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее «наза-ад!» Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга.

Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал:

— А славная у армяшки девка!

И хлестнул по лошади.

## II

В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе.

На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень; вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, вышедшего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось.

Проходя живаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой-нибудь

знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим находился и мой спутник, артиллерийский офицер, малый умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и ненадолго.

— Что вы тут смотрите? — спросил я.

Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет семнадцати — восемнадцати, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно брошенной на одно плечо, не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне.

Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее.

Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, все же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать, или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт, мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть.

Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изобра-

жала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях.

Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду, смех, веселье и которое не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль.

— Тэк-с... — пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону.

А что значило это «тэк-с», не берусь судить.

Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим, скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал:

— Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться — выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастье, какая насмешка быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания! Или еще хуже: представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам... Пытка!

Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба.

Пробил третий звонок, раздались свистки, и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски-лукавой улыбкой...

Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошла по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уж не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне.

Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.

## ИМЕННЫ

### I

После именинного обеда, с его восемью блюдами и бесконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звон посуды, бестолковость прислуги, длинные обеденные антракты и корсет, который она надела, чтобы скрыть от гостей свою беременность, утомили ее до изнеможения. Ей хотелось уйти подальше от дома, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который должен был родиться у нее месяца через два. Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку; тут в густой тени слив и вишен сухие ветки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а в мыслях вырастал образ маленького человечка неопределенного пола, с неясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочет лицо и шею, а этот человек; когда же в конце тропинки показывался жидкий плетень, а за ним пузатые ульи с черепяными крышками, когда в неподвижном, застоявшемся воздухе начинало пахнуть и сеном и медом и слышалось кроткое жужжанье пчел, маленький человечек совсем овладевал Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечке около шалаша, сплетенного из лозы, и принималась думать.

И на этот раз она дошла до скамеечки, села и стала думать; но в ее восбражении вместо маленького чело-

вечка вставали большие люди, от которых она только что ушла. Ее сильно беспокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспомнила она, как за обедом ее муж Петр Дмитрич и ее дядя Николай Николаич спорили о суде присяжных, о печати и о женском образовании; муж, по обыкновению, спорил для того, чтобы щегольнуть перед гостями своим консерватизмом, а главное — чтобы не соглашаться с дядей, которого он не любил; дядя же противоречил ему и придирался к каждому его слову для того, чтобы показать обедающим, что он, дядя, несмотря на свои пятьдесят девять лет, сохранил еще в себе юношескую свежесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы, — не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Гости утомил этот спор, но все они нашли нужным вмешаться и говорили много, хотя всем им не было никакого дела ни до суда присяжных, ни до женского образования...

Ольга Михайловна сидела по сю сторону плетня, около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух хмурились, как перед дождем, но, несмотря на это, было жарко и душно. Сено, скошенное под деревьями накануне Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый, приторный запах. Было тихо. За плетнем монотонно жужжали пчелы...

Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шел по тропинке к пасеке.

— Душно! — сказал женский голос. — Как по-вашему, будет дождь или нет?

— Будет, моя прелесть, но не раньше ночи, — ответил томно очень знакомый мужской голос. — Хороший дождь будет.

Ольга Михайловна рассудила, что если она поспешит спрятаться в шалаш, то ее не заметят и пройдут мимо, и ей не нужно будет говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла в шалаш. Тотчас же лицо, шею и руки ее обдало го-

рячим и душным, как пар, воздухом. Если бы не духота и не спертый запах ржаного хлеба, укропа и лозы, от которого захватывало дыхание, то тут, под соломенную крышей и в сумерках, отлично можно было бы прятаться от гостей и думать о маленьком человечке. Уютно и тихо.

— Какое здесь хорошенькое местечко! — сказал женский голос — Посидимте здесь, Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна стала глядеть в щель между двумя хворостинами. Она увидела своего мужа Петра Дмитрича и гостью Любочку Шеллер, семнадцатилетнюю девочку, недавно кончившую в институте. Петр Дмитрич, со шляпой на затылке, томный и ленивый оттого, что много пил за обедом, вразвалку ходил около плетня и ногой сгребал в кучу сено; Любочка, розовая от жары и, как всегда, хорошенькая, стояла, заложив руки назад, и следила за ленивыми движениями его большого красивого тела.

Ольга Михайловна знала, что ее муж нравится женщинам, и — не любила видеть его с ними. Ничего особенного не было в том, что Петр Дмитрич лениво сгребал сено, чтобы посидеть на нем с Любочкой и поболтать о пустяках; ничего не было особенного и в том, что хорошенькая Любочка кротко глядела на него, но все же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страх и удовольствие оттого, что ей можно сейчас подслушать.

— Садитесь, очаровательница, — сказал Петр Дмитрич, опускаясь на сено и потягиваясь. — Вот так. Ну, расскажите мне что-нибудь.

— Вот еще! Я стану рассказывать, а вы уснете.

— Я усну? Аллах керим! Могу ли я уснуть, когда на меня глядят такие глазки?

В словах мужа и в том, что он в присутствии гостьи сидел развалясь и со шляпой на затылке, не было тоже ничего особенного. Он был избалован женщинами, знал, что нравится им, и в обращении с ними усвоил себе особый тон, который, как все говорили, был ему к лицу. С Любочкой он держал себя так же, как со всеми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала.



— Скажите, пожалуйста,— начала Любочка после некоторого молчания,— правду ли говорят, что вы попали под суд?

— Я? Да, попал... К злодеям сопричтен, моя прелесть.

— Но за что?

— Ни за что, а так... все больше из-за политики,— зевнул Петр Дмитрич.— Борьба левой и правой. Я, обскурант и рутинер, осмелился употребить в официальной бумаге выражения, оскорбительные для таких непогрешимых Гладстонов, как наш участковый мировой судья Кузьма Григорьевич Востряков и Владимир Павлович Владимиров.

Петр Дмитрич еще раз зевнул и продолжал:

— А у нас такой порядок, что вы можете неодобрительно отзываться о солнце, о луне, о чем угодно, но храни вас бог трогать либералов! Боже вас сохрани! Либерал — это тот самый поганый сухой гриб, который, если вы нечаянно дотронетесь до него пальцем, обдаст вас облаком пыли.

— Что у вас произошло?

— Ничего особенного. Весь сыр-бор загорелся из-за чистейшего пустяка. Какой-то учитель, плюгавенькая личность колокольного происхождения, подает Вострякову прошение на трактирщика, обвиняя его в оскорблении словами и действием в публичном месте. Из всего видно, что и учитель и трактирщик оба были пьяны, как сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбление, то во всяком случае взаимное. Вострякову следовало бы оштрафовать обоих за нарушение тишины и прогнать их из камеры — вот и все. Но у нас как? У нас на первом плане стоит всегда не лицо, не факт, а фирма и ярлык. Учитель, какой бы он негодяй ни был, всегда прав, потому что он учитель; трактирщик же всегда виноват, потому что он трактирщик и кулак. Востряков приговорил трактирщика к аресту, тот перенес дело в съезд. Съезд торжественно утвердил приговор Вострякова. Ну, я остался при особом мнении... Немножко погорячился... Вот и все.

Петр Дмитрич говорил покойно, с небрежною иро-

нией. На самом же деле предстоящий суд сильно беспокоил его. Ольга Михайловна помнила, как он, вернувшись с злополучного съезда, всеми силами старался скрыть от домашних, что ему тяжело и что он недоволен собой. Как умный человек, он не мог не чувствовать, что в своем особом мнении он зашел слишком далеко, и сколько лжи понадобилось ему, чтобы скрывать от себя и от людей это чувство! Сколько было ненужных разговоров, сколько брюзжания и неискреннего смеха над тем, что не смешно! Узнав же, что его привлекают к суду, он вдруг утомился и пал духом, стал плохо спать, чаще, чем обыкновенно, стоял у окна и барабанил пальцами по стеклам. И он стыдился сознаться перед женою, что ему тяжело, а ей было досадно...

— Говорят, вы были в Полтавской губернии? — спросила Любочка.

— Да, был, — ответил Петр Дмитрич. — Третьего дня вернулся оттуда.

— Небось хорошо там?

— Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вам сказать, попал туда как раз на сенокос, а на Украине сенокос самое поэтическое время. Тут у нас большой дом, большой сад, много людей и суеты, так что вы не видите, как косят; тут все проходит незаметно. Там же у меня на хуторе пятнадцать десятин луга как на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косят, в саду косят, гостей нет, суеты тоже, так что вы поневоле видите, слышите и чувствуете один только сенокос. На дворе и в комнатах пахнет сеном, от зари до зари звенят косы. Вообще Хохландия милая страна. Верите ли, когда я пил у колодцев с журавлями воду, а в жидовских корчмах — поганую водку, когда в тихие вечера доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль — засесть у себя на хуторе и жить в нем, пока живется, подалее от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин, длинных обедов...

Петр Дмитрич не лгал. Ему было тяжело и в самом деле хотелось отдохнуть. И в Полтавскую губер-

нию ездил он только затем, чтобы не видеть своего кабинета, прислуги, знакомых и всего, что могло бы напоминать ему об его раненом самолюбии и ошибках.

Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками.

— Ах, пчела, пчела! — взвизгнула она. — Укусит!

— Полноте, не укусит! — сказал Петр Дмитрич. — Какая вы трусиха!

— Нет, нет, нет! — крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назад.

Петр Дмитрич уходил за нею и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Должно быть, глядя на нее, он думал о своем хуторе, об одиночестве и — кто знает? — быть может, даже думал о том, как бы тепло и уютно жилось ему на хуторе, если бы женой его была эта девочка — молодая, чистая, свежая, не испорченная курсами, не беременная...

Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла из шалаша и направилась к дому. Ей хотелось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петр Дмитрич утомился, был недоволен собой и стыдился, а когда стыдятся, то прячутся прежде всего от близких и откровенничают с чужими; ей было также понятно, что Любочка не опасна, как и все те женщины, которые пили теперь в доме кофе. Но в общем все было непонятно, страшно, и Ольге Михайловне уже казалось, что Петр Дмитрич не принадлежит ей наполовину...

— Он не имеет права! — бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа. — Он не имеет никакого права. Я ему сейчас все выскажу!

Она решила сейчас же найти мужа и высказать ему все: гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манна небесной; несправедливо и нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело его лганье: он постоянно ри-

суется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что он есть и кем ему быть должно. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Если он лжет, то оскорбляет и себя и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели ему не понятно, что, если он кокетничает и ломается за судейским столом или, сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде, неужели ему не понятно, что этим самым он ставит ни в грош и суд, и себя, и всех, кто его слушает и видит?

Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто уходила сейчас по хозяйственным надобностям. На террасе мужчины пили ликер и закусывали ягодами; один из них, судебный следователь, толстый пожилой человек, балагур и остряк, должно быть, рассказывал какой-нибудь нецензурный анекдот, потому что, увидев хозяйку, он вдруг схватил себя за жирные губы, выпучил глаза и присел. Ольга Михайловна не любила уездных чиновников. Ей не нравились их неуклюжие церемонные жены, сплетни, частые поездки в гости, лесть перед ее мужем, которого все они ненавидели. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уезжать, она чувствовала, что их присутствие утомительно до тоски, но, чтобы не показаться нелюбезной, она приветливо улыбнулась судебному следователю и погрозила ему пальцем. Через залу и гостиную она прошла улыбаясь и с таким видом, как будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай бог, если кто остановит!» — думала она, но сама заставила себя остановиться в гостиной, чтобы из приличия послушать молодого человека, который сидел за пианино и играл; постояв минутку, она крикнула: «Браво, браво, monsieur Жорж!» — и, хлопнув два раза в ладоши, пошла дальше.

Мужа нашла она в кабинете. Он сидел у стола и о чем-то думал. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это уж был не тот Петр Дмитрич, который спорил за обедом и которого знают гости, а другой — утомленный, виноватый и недовольный собой, которого

знает одна только жена. В кабинет пришел он, должно быть, для того, чтобы взять папирос. Перед ним лежал открытый портсигар, набитый папиросами, и одна рука была опущена в ящик стола. Как брал папиросы, так и застыл.

Ольге Михайловне стало жаль его. Было ясно, как день, что человек томился и не находил места, быть может, боролся с собой. Ольга Михайловна молча подошла к столу; желая показать, что она не помнит обеденного спора и уже не сердится, она закрыла портсигар и положила его мужу в боковой карман.

«Что сказать ему? — думала она. — Я скажу, что ложь тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашел слишком далеко; ты оскорбил людей, которые были к тебе привязаны и не сделали тебе никакого зла. Поди же извинись перед ними, посмейся над самим собой, и тебе станет легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе».

Встретясь глазами с женой, Петр Дмитрич вдруг придал своему лицу выражение, какое у него было за обедом и в саду, — равнодушное и слегка насмешливое, зевнул и поднялся с места.

— Теперь шестой час, — сказал он, взглянув на часы. — Если гости смилостивятся и уедут в одиннадцать, то и тогда нам остается ждать еще шесть часов. Весело, нечего сказать!

И, что-то насвистывая, он медленно, своею обыкновенною солидною походкой, вышел из кабинета. Слышно было, как он, солидно ступая, прошел через залу, потом через гостиную, чему-то солидно засмеялся и сказал игравшему молодому человеку: «Бра-о! бра-о!» Скоро шаги его затихли: должно быть, вышел в сад. И уж не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, неискреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной. Она подошла к окну и поглядела в сад. Петр Дмитрич шел уже по аллее. Заложив одну руку в карман и щелкая пальцами другой, слегка откинув назад голову, он шел солидно, взрвалку и с таким видом, как будто был очень до-

волен и собой, и обедом, и пищеварением, и природой...

На аллее показались два маленьких гимназиста, дети помещицы Чижевской, только что приехавшие, а с ними студент-гувернер в белом кителе и в очень узких брюках. Поравнявшись с Петром Дмитричем, дети и студент остановились и, вероятно, поздравили его с ангелом. Красиво поводя плечами, он потрепал детей за щеки и подал студенту руку небрежно, не глядя на него. Должно быть, студент похвалил погоду и сравнил ее с петербургской, потому что Петр Дмитрич сказал громко и таким тоном, как будто говорил не с гостем, а с судебным приставом или со свидетелем:

— Что-с? У вас в Петербурге холодно? А у нас тут, батенька мой, благорастворение воздуху и изобилие плодов земных. А? Что?

И, заложив в карман одну руку и щелкнув пальцами другой, он зашагал дальше. Пока он не скрылся за кустами орешника, Ольга Михайловна все время смотрела ему в затылок и недоумевала. Откуда у тридцатичетырехлетнего человека эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в голосе, откуда все эти «что-с», «н-да-с» и «батенька»?

Ольга Михайловна вспомнила, как она, чтобы не скучать одной дома, в первые месяцы замужества ездила в город на съезд, где иногда вместо ее крестного отца, графа Алексея Петровича, председательствовал Петр Дмитрич. На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди, он совершенно менялся. Величественные жесты, громовый голос, «что-с», «н-да-с», небрежный тон... Все обыкновенное человеческое, свое собственное, что привыкла видеть в нем Ольга Михайловна дома, исчезало в величии, и на кресле сидел не Петр Дмитрич, а какой-то другой человек, которого все звали господином председателем. Сознание, что он — власть, мешало ему покойно сидеть на месте, и он искал случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть... Откуда брались близорукость и глухота, когда он вдруг начинал

плохо видеть и слышать и, величественно морщась, требовал, чтобы говорили громче и поближе подходили к столу. С высоты величия он плохо различал лица и звуки, так что если бы, кажется, в эти минуты подошла к нему сама Ольга Михайловна, то он и ей бы крикнул: «Как ваша фамилия?» Свидетелям-крестьянам он говорил «ты», на публику кричал так, что его голос был слышен даже на улице, а с адвокатами держал себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному поверенному, то Петр Дмитрич сидел к нему несколько боком и щурил глаза в потолок, желая этим показать, что присяжный поверенный тут вовсе не нужен и что он его не признает и не слушает; если же говорил серо одетый частный поверенный, то Петр Дмитрич весь превращался в слух и измерял поверенного насмешливым, уничтожающим взглядом: вот, мол, какие теперь адвокаты! «Что же вы хотите этим сказать?» — перебивал он. Если витиеватый поверенный употреблял какое-нибудь иностранное слово и, например, вместо «фиктивный» произносил «фактивный», то Петр Дмитрич вдруг оживлялся и спрашивал: «Что-с? Как? Фактивный? А что это значит?» — и потом наставительно замечал: «Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете». И поверенный, кончив свою речь, отходил от стола красный и весь в поту, а Петр Дмитрич, самодовольно улыбаясь, торжествуя победу, откидывался на спинку кресла. В своем обращении с адвокатами он несколько подражал графу Алексею Петровичу, но у графа, когда тот, например, говорил: «Защита, помолчите немножко!» — это выходило старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.

## II

Послышались аплодисменты. Это молодой человек кончил играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась в гостиную.

— Я вас заслушалась, — сказала она, подходя к пианино. — Я вас заслушалась. У вас удивительные

способности! Но не находите ли вы, что наш пианино расстроен?

В это время в гостиную входили два гимназиста и с ними студент.

— Боже мой, Митя и Коля? — сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя к ним навстречу. — Какие большие стали! Даже не узнаешь вас! А где же ваша мама?

— Поздравляю вас с именинником, — начал развязно студент, — и желаю всего лучшего. Екатерина Андреевна поздравляет и просит извинения. Она не совсем здорова.

— Какая же она не добрая! Я ее весь день ждала. А вы давно из Петербурга? — спросила Ольга Михайловна студента. — Какая теперь там погода? — и, не дожидаясь ответа, она ласково взглянула на гимназистов и повторила: — Какие большие выросли! Давно ли они приезжали сюда с няней, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растет... Вы обедали?

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал студент.

— Ведь вы не обедали?

— Ради бога, не беспокойтесь!

— Но ведь вы хотите есть? — спросила Ольга Михайловна грубым и жестким голосом, нетерпеливо и с досадой — это вышло у нее нечаянно, но тотчас же она закашлялась, улыбнулась, покраснела. — Какие большие выросли! — сказала она мягко.

— Не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал еще раз студент.

Студент просил не беспокоиться, дети молчали; очевидно, все трое хотели есть. Ольга Михайловна повела их в столовую и приказала Василию накрыть на стол.

— Не добрая ваша мама! — говорила она, усаживая их. — Совсем меня забыла. Не добрая, не добрая, не добрая... Так и скажите ей. А вы на каком факультете? — спросила она у студента.

— На медицинском.

— Ну, а у меня слабость к докторам, представьте.



Я очень жалею, что мой муж не доктор. Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла от страха. Вы, конечно, выпьете водки?

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— С дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьют малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какие они, право, молодцы! Женить даже можно.

Ольга Михайловна говорила без умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнее говорить, чем слушать. Когда говоришь, нет надобности напрягать внимание, придумывать ответы на вопросы и менять выражение лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопрос, студент стал говорить длинно, и ей поневоле пришлось слушать. Студент знал, что она когда-то была на курсах, а потому, обращаясь к ней, старался казаться серьезным.

— Вы на каком факультете? — спросила она, забыв, что однажды уже задавала этот вопрос.

— На медицинском.

Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была с дамами.

— Да? Значит, вы доктором будете? — сказала она, поднимаясь. — Это хорошо. Я жалею, что сама не пошла на медицинские курсы. Так вы тут пообедайте, господа, и выходите в сад. Я вас познакомлю с барышнями.

Она вышла и взглянула на часы: было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Какие фразы говорить? Как держать себя с мужем?

В гостиной и на террасе не было ни души. Все гости разбрелись по саду.

«Нужно будет предложить им до чая прогулку в березняк или катанье на лодках, — думала Ольга Михайловна, торопясь к крокету, откуда слышались голоса и смех. — А стариков усадить играть в винт...»

От крокета навстречу ей шел лакей Григорий с пустыми бутылками.

— Где же барыни? — спросила она.

— В малиннике. Там и барин.

— А, господи боже мой! — с ожесточением крикнул кто-то на крокете. — Да я же тысячу раз же говорил вам то же самое! Чтобы знать болгар, надо их видеть! Нельзя судить по газетам!

От этого ли крика, или от чего другого, Ольга Михайловна вдруг почувствовала сильную слабость во всем теле, особенно в ногах и в плечах. Ей вдруг захотелось не говорить, не слышать, не двигаться.

— Григорий, — сказала она томно и с усилием, — когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не спрашивайте, не говорите ни о чем... Делайте все сами и... и не стучите ногами. Умоляю... Я не могу, потому что...

Она не договорила и пошла дальше к крокету, но по дороге вспомнила о барынях и повернула к малиннику. Небо, воздух и деревья по-прежнему хмурились и обещали дождь; было жарко и душно; громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над садом. Чем ближе к огороду, тем аллеи становились запущеннее, темнее и уже; на одной из них, прятавшейся в густой заросли диких груш, кислиц, молодых дубков, хмеля, целые облака мелких черных мошек окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленького человечка... В воображении пронеслись Григорий, Митя, Коля, лица мужиков, приходивших утром поздравлять...

Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. К ней навстречу быстро шел дядя Николай Николаич.

— Это ты, милая? Очень рад... — начал он, задыхаясь. — На два слова... — Он вытер платком свой бритый красный подбородок, потом вдруг отступил шаг назад, всплеснул руками и выпучил глаза. — Матушка, до каких же пор это будет продолжаться? — заговорил он быстро, захлебываясь. — Я тебя спрашиваю: где границы? не говорю уже о том, что его держимордовские взгляды деморализуют среду, что он

оскорбляет во мне и в каждом честном, мыслящем человеке все святое и лучшее — не говорю, но пусть он будет хоть приличен! Что такое? Кричит, рычит, ломается, корчит из себя какого-то Бонапарта, не дает слова сказать... черт его знает! Какие-то величественные жесты, генеральский смех, снисходительный тон! Да позвольте вас спросить: кто он такой? Я тебя спрашиваю: кто он такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкер, каких много! Шедринский тип! Клянусь богом, что-нибудь из двух: или он страдает манией величия или в самом деле права эта старая, выжившая из ума крыса, граф Алексей Петрович, когда говорит, что теперешние дети и молодые люди поздно становятся взрослыми и до сорока лет играют в извозчики и в генералы!

— Это верно, верно...— согласилась Ольга Михайловна.— Позволь мне пройти.

— Теперь ты рассуди, к чему это поведет? — продолжал дядя, загораживая ей дорогу.— Чем кончится эта игра в консерватизм и в генералы? Уже под суд попал! Попал! Я очень рад! Докричался и достукался до того, что угодил на скамью подсудимых. И не то чтобы окружный суд или что, а судебная палата! Хуже этого, кажется, и придумать нельзя! Во-вторых, со всеми рассорился! Сегодня именины, а, погляди, не приехали ни Востряков, ни Яхонтов, ни Владимиров, ни Шевуд, ни граф.. На что, кажется, консервативнее графа Алексея Петровича, да и тот не приехал. И никогда больше не приедет! Увидишь, что не приедет!

— Ах, боже мой, да я-то тут при чем? — спросила Ольга Михайловна.

— Как при чем? Ты его жена! Ты умна, была на курсах, и в твоей власти сделать из него честного работника!

— На курсах не учат, как влиять на тяжелых людей. Я должна буду, кажется, просить у всех вас извинения, что была на курсах! — сказала Ольга Михайловна резко.— Послушай, дядя, если у тебя целый день над ухом будут играть одни и те же гаммы, то

ты не усидишь на месте и сбежишь. Я уж круглый год по целым дням слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконец, иметь сожаление!

Дядя сделал очень серьезное лицо, потом пытливо поглядел на нее и pokrивил рот насмешливой улыбкой.

— Вот оно что! — пропел он старушечьим голосом. — Виноват-с! — сказал он и церемонно раскланялся. — Если ты сама подпала под его влияние и изменила убеждения, то так бы и сказала раньше. Виноват-с!

— Да, я изменила убеждения! — крикнула она. — Радуйся!

— Виноват-с!

Дядя в последний раз церемонно поклонился, как-то вбок, и, весь съежившись, шаркнул ногой и пошел назад.

«Дурак, — подумала Ольга Михайловна. — И ехал бы себе домой».

Дам и молодежь нашла она на огороде в малинике. Одни ели малину, другие, кому уже надоела малина, бродили по грядкам клубники или рылись в сахарном горошке. Несколько в стороне от малиника, около ветвистой яблони, кругом подпертой палками, повыдерганными из старого палисадника, Петр Дмитрич косил траву. Волосы его падали на лоб, галстук развязался, часовая цепочка выпала из петли. В каждом его шаге и взмахе косою чувствовались уменье и присутствие громадной физической силы. Возле него стояли Любочка и дочери соседа, полковника Букреева, Наталья и Валентина, или, как их все звали, Ната и Вата, анемичные и болезненно-полные блондинки, лет шестнадцати — семнадцати, в белых платьях, поразительно похожие друг на друга. Петр Дмитрич учил их косить.

— Это очень просто... — говорил он. — Нужно только уметь держать косу и не горячиться, то есть не употреблять силы больше, чем нужно. Вот так... Не угодно ли теперь вам? — предложил он косу Любочке. — Ну-ка!

Любочка неумело взяла в руки косу, вдруг покраснела и засмеялась.

— Не робейте, Любовь Александровна! — крикнула Ольга Михайловна так громко, чтобы ее могли слышать все дамы и знать, что она с ними. — Не робейте! Надо учиться! Выйдете за толстовца, косить заставит.

Любочка подняла косу, но опять засмеялась и, обессилев от смеха, тотчас же опустила ее. Ей было стыдно и приятно, что с нею говорят, как с большой. Ната, не улыбаясь и не робея, с серьезным, холодным лицом, взяла косу, взмахнула и запутала ее в траве; Вата, тоже не улыбаясь, серьезная и холодная, как сестра, молча взяла косу и вонзила ее в землю. Прделав это, обе сестры взялись под руки и молча пошли к малине.

Петр Дмитрич смеялся и шалил, как мальчик, и это детски-шаловливое настроение, когда он становился чрезмерно добродушен, шло к нему гораздо более, чем что-либо другое. Ольга Михайловна любила его таким. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Так и на этот раз, пошалив с косой, он почему-то нашел нужным придать своей шалости серьезный оттенок.

— Когда я кошу, то чувствую себя, знаете ли, здоровее и нормальнее, — сказал он. — Если бы меня заставили довольствоваться одною только умственной жизнью, то я бы, кажется, с ума сошел. Чувствую, что я не родился культурным человеком! Мне бы косить, пахать, сеять, лошадей выезжать...

И у Петра Дмитрича с дамами начался разговор о преимуществах физического труда, о культуре, потом о вреде денег, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своем приданом.

«А ведь будет время, — подумала она, — когда он не простит мне, что я богаче его. Он горд и самолюбив. Пожалуй, возненавидит меня за то, что многим обязан мне».

Она остановилась около полковника Букрева, ко-

торый ел малину и тоже принимал участие в разговоре.

— Пожалуйте,— сказал он, давая дорогу Ольге Михайловне и Петру Дмитричу.— Тут самая спелая... И так-с, по мнению Прудона,— продолжал он, возвысив голос,— собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философом его не считаю. Для меня французы не авторитет, бог с ними!

— Ну, что касается Прудонов и всяких там Боклей, то я тут швах,— сказал Петр Дмитрич.— Насчет философии обращайтесь вот к ней, к моей супруге. Она была на курсах и всех этих Шопенгауэров и Прудонов насквозь...

Ольге Михайловне опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночке, мимо яблонь и груш, и опять у нее был такой вид, как будто шла она по очень важному делу. А вот изба садовника... На пороге сидела жена садовника Варвара и ее четверо маленьких ребятшек с большими стриженными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ее вычислениям, к Илье-пророку. Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядела ее и детей и спросила:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— А ничего...

Наступило молчание. Обе женщины молча как будто понимали друг друга.

— Страшно родить в первый раз,— сказала Ольга Михайловна, подумав,— мне все кажется, что я не перенесу, умру.

— И мне представлялось, да вот жива же... Мало ли чего!

Варвара, беременная уже в пятый раз и опытная, глядела на свою барыню несколько свысока и говорила с нею наставительным тоном, а Ольга Михайловна невольно чувствовала ее авторитет; ей хотелось говорить о своем страхе, о ребенке, об ощущениях, но она боялась, чтобы это не показалось Варваре мелочным и наивным. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажет что-нибудь.

— Оля, домой идем! — крикнул из малинника Петр Дмитрич.

Ольге Михайловне нравилось молчать, ждать и глядеть на Варвару. Она согласилась бы простоять так, молча и без всякой надобности, до самой ночи. Но нужно было идти. Едва она отошла от избы, как уж к ней навстречу бежали Любочка, Вата и Ната. Две последние не добежали до нее на целую сажень и обе разом остановились как вкопанные; Любочка же добежала и повисла к ней на шею.

— Милая! Хорошая! Бесценная! — заговорила она, целуя ее в лицо и в шею.— Поедемте чай пить на остров!

— На остров! На остров! — сказали обе разом одинаковые Вата и Ната, не улыбаясь.

— Но ведь дождь будет, мои милые.

— Не будет, не будет! — крикнула Любочка, делая плачущее лицо.— Все согласны ехать! Милая, хорошая!

— Там все собираются ехать чай пить на остров,— сказал Петр Дмитрич, подходя.— Распорядись... Мы все поедем на лодках, а самовары и все прочее надо отправить с прислугой в экипаже.

Он пошел рядом с женой и взял ее под руку. Ольге Михайловне захотелось сказать мужу что-нибудь неприятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданом, чем жестче, тем, казалось, лучше. Она подумала и сказала:

— Отчего это граф Алексей Петрович не приехал? Как жаль!

— Я очень рад, что он не приехал,— солгал Петр Дмитрич.— Мне этот юридивый надоел пуще горькой редьки.

— Но ведь ты до обеда ждал его с таким нетерпением!

### III

Через полчаса все гости уже толпились на берегу около свай, где были привязаны лодки. Все много говорили, смеялись и от излишней суеты никак не могли

усесться в лодки. Три лодки были уже битком набиты пассажирами, а две стояли пустые. От этих двух пропали куда-то ключи, и от реки то и дело бегали во двор посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григория, другие — что они у приказчика, третьи советовали призвать кузнеца и отбить замки. И все говорили разом, перебивая и заглушая друг друга. Петр Дмитрич нетерпеливо шагал по берегу и кричал:

— Это черт знает что такое! Ключи должны всегда лежать в передней на окне! Кто смел взять их оттуда? Приказчик может, если ему угодно, завести себе свою лодку!

Наконец ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватает двух весел. Снова поднялась суматоха. Петр Дмитрич, которому наскучило шагать, прыгнул в узкий и длинный челн, выдолбленный из тополя, и, покачнувшись, едва не упав в воду, отчалил от берега. За ним одна за другою, при громком смехе и визге барышень, поплыли и другие лодки.

Белое облачное небо, прибрежные деревья, камыш и лодки с людьми и с веслами отражались в воде, как в зеркале; под лодками, далеко в глубине, в бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Один берег, на котором стояла усадьба, был высок, крут и весь покрыт деревьями; на другом, отлогом, зеленели широкие заливные луга и блестели заливы. Проплыли лодки саженой пятьдесят, и из-за печально склонившихся верб на отлогом берегу показались избы, стадо коров; стали слышаться песни, пьяные крики и звуки гармоники.

Там и сям по реке шныряли челны рыболовов, плывших ставить на ночь свои переметы. В одном челноке сидели подгулявшие музыканты-любители и играли на самодельковых скрипках и виолончели.

Ольга Михайловна сидела у руля. Она приветливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Он плыл на своем челне впереди всех, стоя и работая одним веслом. Легкий остроносый челнок, который все гости звали душегубкой, а сам Петр Дмитрич почему-то Пендераклией, бежал быстро; он имел живое, хитрое выражение и,



казалось, ненавидел тяжелого Петра Дмитрича и ждал удобной минуты, чтобы выскользнуть из-под его ног. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всем, затылок, его поза, фамильярное обращение с женщинами; она ненавидела всех женщин, сидевших в лодке, ревновала и в то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкий челнок не опрокинулся и не наделал бед.

— Тише, Петр! — кричала она, и сердце ее замирало от страха.— Садись в лодку! Мы и так верим, что ты смел!

Беспокоили ее и те люди, которые сидели с нею в лодке. Все это были обыкновенные, недурные люди, каких много, но теперь каждый из них представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. «Вот,— думала она,— работает веслом молодой шатен в золотых очках и с красивою бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькин сынок, которого все считают честным, свободомыслящим, передовым человеком. Еще года нет, как он кончил в университете и приехал на житье в уезд, но уж говорит про себя: «Мы земские деятели». Но пройдет год, и он, как многие другие, соскучится, уедет в Петербург и, чтобы оправдать свое бегство, будет всюду говорить, что земство никуда не годится и что он обманут. А с другой лодки, не отрывая глаз, глядит на него молодая жена и верит, что он «земский деятель», как через год поверит тому, что земство никуда не годится. А вот полный, тщательно выбритый господин в соломенной шляпе с широкою лентой и с дорогою сигарой в зубах. Этот любит говорить: «Пора нам бросить фантазии и приняться за дело!» У него йоркширские свиньи, бутлеровские ульи, рапс, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерия. Но каждое лето, чтобы осенью жить с любовницей в Крыму, он продает на сруб свой лес и закладывает по частям землю. А вот дядюшка Николай Николаич, который сердит на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уезжает домой!»

Ольга Михайловна поглядывала на другие лодки,

и там она видела одних только неинтересных чудаков, актеров или недалеких людей. Вспомнила она всех, кого только знала в уезде, и никак не могла вспомнить ни одного такого человека, о котором могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны, все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее; ей хотелось вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мне надоели!» — и потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу.

— Господа, возьмем Петра Дмитрича на буксир! — крикнул кто-то.

— На буксир! На буксир! — подхватили остальные.— Ольга Михайловна, берите на буксир вашего мужа.

Чтобы взять на буксир, Ольга Михайловна, сидевшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклию у носа за цепь. Когда она нагибалась за цепью, Петр Дмитрич поморщился и испуганно посмотрел на нее.

— Как бы ты не простудилась тут! — сказал он.

«Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?» — подумала Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич признал себя побежденным и, не желая плыть на буксире, прыгнул с Пендераклии в лодку, и без того уж набитую пассажирами, прыгнул так неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и все вскрикнули от ужаса.

«Это он прыгнул, чтобы нравиться женщинам,— подумала Ольга Михайловна.— Он знает, что это красиво...»

У нее, как думала она, от скуки, досады, от напряженной улыбки и от неудобства, какое чувствовалось во всем теле, началась дрожь в руках и ногах. И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смеяться, двигаться...

«В случае, если я вдруг заплачу,— думала она,— то скажу, что у меня болят зубы...»

Но вот наконец лодки пристали к острову «Доброй Надежды». Так назывался полуостров, образовавший-

ся вследствие загиба реки под острым углом, покрытый старою рощей из березы, дуба, вербы и тополя. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василий и Григорий, в своих фраках и в белых вязаных перчатках. На другом берегу, против «Доброй Надежды», стояли экипажи, приехавшие с провизией. С экипажем корзины и узлы с провизией переправлялись на остров в челноке, очень похожем на Пендераклию. У лакеев, кучеров и даже у мужика, который сидел в челноке, выражение лиц было торжественное, именинное, какое бывает только у детей и прислуги.

Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без сахара, другой — покрепче, третий — пожиже, четвертый благодарил. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потом кричать: «Иван Петрович, это вам без сахара?» или: «Господа, кто просил пожиже?» Но тот, кто просил пожиже или без сахара, уж не помнил этого и, увлекшись приятными разговорами, брал первый попавшийся стакан. В стороне от стола бродили, как тени, унылые фигуры и делали вид, что ищут в траве грибов или читают этикетки на коробках, — это те, которым не хватило стаканов. «Вы пили чай?» — спрашивала Ольга Михайловна, и тот, к кому относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил: «Я подожду», — хотя для хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились.

Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу, другие же, в особенности кто много пил за обедом, не отходили от стола и выпивали стакан за стаканом, так что Ольга Михайловна едва успевала наливать. Один молодой шутник пил чай вприкуску и все приговаривал: «Люблю, грешный человек, побаловать себя китайскою травкой». То и дело просил он с глубоким вздохом:

«Позвольте еще одну черепушечку!» Пил он много, сахар кусал громко и думал, что все это смешно и оригинально и что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна все время приветливо улыбалась и болтала вздор.

А она чувствовала себя нехорошо... Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутник, ошеломленные и сбившиеся с ног лакеи, дети, вертевшиеся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, Коля на Митю, и что не разберешь, кто из них пил уже чай, а кто еще нет. Она чувствовала, что ее напряженная приветливая улыбка переходит в злое выражение, и ей каждую минуту казалось, что она сейчас заплачет.

— Господа, дождь! — крикнул кто-то.

Все посмотрели на небо.

— Да, в самом деле дождь... — подтвердил Петр Дмитрич и вытер щеку.

Небо уронило только несколько капель, настоящего дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала все хотели ехать в экипажах, но раздумали и направились к лодкам. Ольга Михайловна, под предлогом, что ей нужно поскорее распорядиться насчет ужина, попросила позволения отстать от общества и ехать домой в экипаже.

Сидя в коляске, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу от улыбки. С злым лицом она ехала через деревню и с злым лицом отвечала на поклоны встречаемых мужиков. Приехав домой, она прошла черным ходом к себе в спальню и прилегла на постель мужа.

— Господи боже мой, — шептала она, — к чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!

Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости.

«Пусть, — подумала Ольга Михайловна. — Я еще полежу».

Но в спальню вошла горничная и сказала:

— Барыня, Марья Григорьевна уезжает!

Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспешила из спальни.

— Марья Григорьевна, что же это такое? — начала она обиженным голосом, идя навстречу Марье Григорьевне. — Куда вы это торопитесь?

— Нельзя, голубчик, нельзя! Я и так уже засиделась. Меня дома дети ждут.

— Не добрая вы! Отчего же вы детей с собой не взяли?

— Милая, если позволите, я привезу их к вам как-нибудь в будень, но сегодня...

— Ах, пожалуйста, — перебила Ольга Михайловна, — я буду очень рада! Дети у вас такие милые! Поцелуйте их всех... Но, право, вы меня обижаете! Зачем торопиться, не понимаю!

— Нельзя, нельзя... Прощайте, милая. Берегите себя. Вы ведь в таком теперь положении...

И обе поцеловались. Проводив гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла в гостиную к дамам. Там уж огни были зажжены, и мужчины усаживались играть в карты.

#### IV

Гости стали разъезжаться после ужина, в четверть первого. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльце и говорила:

— Право, вы бы взяли шаль! Становится немножко свежо. Не дай бог, простудитесь!

— Не беспокойтесь, Ольга Михайловна! — отвечали гости, усаживаясь. — Ну, прощайте! Смотрите же, мы ждем вас! Не обманите!

— Тпррр! — сдерживал кучер лошадей.

— Трогай, Денис! Прощайте, Ольга Михайловна!

— Детей поцелуйте!

Коляска трогалась с места и тотчас же исчезала в потемках. В красном круге, бросаемом лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпеливых лошадей и силуэт кучера с протянутыми вперед руками. Опять начинались доцелуи, упреки и просьбы приехать еще раз или взять шаль. Петр Дмитрич

выбегал из передней и помогал дамам сесть в коляску.

— Ты поезжай теперь на Ефремовщину,— учил он кучера.— Через Манькино ближе, да там дорога хуже. Чего доброго опрокинешь... Прощайте, моя прелесть! Mille compliments<sup>1</sup> вашему художнику!

— Прощайте, душечка Ольга Михайловна! Уходите в комнаты, а то простудитесь! Сыро!

— Тпррр! Балуетесь!

— Это какие же у вас лошади? — спрашивал Петр Дмитрич.

— В великом посту у Хайдарова купили,— отвечал кучер.

— Славные конячки...

И Петр Дмитрич хлопал пристяжную по крупу.

— Ну, трогай! Дай бог час добрый!

Наконец уехал последний гость. Красный круг на дороге закачался,— поплыл в сторону, сузился и погас — это Василий унес с крыльца лампу. В прошлые разы обыкновенно, проводив гостей, Петр Дмитрич и Ольга Михайловна начинали прыгать в зале друг перед другом, хлопать в ладоши и петь: «Уехали! уехали! уехали!» Теперь же Ольге Михайловне было не до того. Она пошла в спальню, разделась и легла в постель.

Ей казалось, что она уснет тотчас же и будет спать крепко. Ноги и плечи ее болезненно ныли, голова отяжелела от разговоров, и во всем теле по-прежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись с головой, она полежала минуты три, потом взглянула из-под одеяла на лампадку, прислушалась к тишине и улыбнулась.

— Хорошо, хорошо...— зашептала она, подгибая ноги, которые, казалось ей, оттого что она много ходила, стали длиннее.— Спать, спать...

Ноги не укладывались, всему телу было неудобно, и она повернулась на другой бок. По спальне с жужжаньем летала большая муха и беспокойно билась о потолок. Слышно было также, как в зале Григорий и

---

<sup>1</sup> Тысячу приветствий (франц.).

Василий, осторожно ступая, убрали столы; Ольге Михайловне стало казаться, что она уснет и ей будет удобно только тогда, когда утихнут эти звуки. И она опять нетерпеливо повернулась на другой бок.

Послышался из гостиной голос мужа. Должно быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петр Дмитрич к кому-то обращался и громко говорил:

— Я не скажу, чтобы граф Алексей Петрович был фальшивый человек. Но он поневоле кажется таким, потому что все вы, господа, стараетесь видеть в нем не то, что он есть на самом деле. В его юривости видят оригинальный ум, в фамильярном обращении — добродушие, в полном отсутствии взглядов видят консерватизм. Допустим даже, что он в самом деле консерватор восемьдесят четвертой пробы. Но что такое, в сущности, консерватизм?

Петр Дмитрич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводил теперь душу. Он бранил и графа и гостей и с досады на самого себя готов был высказывать и проповедовать, что угодно. Проводив гостя, он походил из угла в угол по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потом опять по гостиной, и вошел в спальню. Ольга Михайловна лежала на спине, укрытая одеялом только по пояс (ей уже казалось жарко), и со злым лицом следила за мухой, которая стучала по потолку.

— Разве кто остался ночевать? — спросила она.

— Егоров.

Петр Дмитрич разделся и лег на свою постель. Он молча закурил папиросу и тоже стал следить за мухой. Взгляд его был суров и беспокоен. Молча минут пять Ольга Михайловна глядела на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы муж вдруг повернулся к ней лицом и сказал: «Оля, мне тяжело», — то она заплакала бы или засмеялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноют и всему ее телу неудобно оттого, что у нее напряжена душа.

— Петр, о чем ты думаешь? — спросила она.

— Так, ни о чем... — ответил муж.

— У тебя в последнее время завелись от меня какие-то тайны. Это нехорошо.

— Почему же нехорошо? — ответил Петр Дмитрич сухо и не сразу.— У каждого из нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.

— Личная жизнь, свои тайны... все это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь! — сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели.— Если у тебя тяжело на душе, то почему ты скрываешь это от меня? И почему ты находишь более удобным откровенничать с чужими женщинами, а не с женой? Я ведь слышала, как ты сегодня на пасеке изливался перед Любочкой.

— Ну, и поздравляю. Очень рад, что слышала.

Это значило: оставь меня в покое, не мешай мне думать! Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть и гнев, которые накопились у нее в течение дня, вдруг точно запенились; ей хотелось сейчас же, не откладывая до завтра, высказать мужу все, оскорбить его, отомстить... Делая над собой усилия, чтобы не кричать, она сказала:

— Так знай же, что все это гадко, гадко и гадко! Сегодня я ненавидела тебя весь день — вот что ты наделал!

Петр Дмитрич тоже поднялся и сел.

— Гадко, гадко, гадко! — продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всем телом.— Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! Стыд, срам! Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться с женой в одной комнате! Фальшивый ты человек! Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шаг!

— Оля, когда ты бываешь не в духе, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать в кабинете.

Сказавши это, Петр Дмитрич взял подушку и вышел из спальни. Ольга Михайловна не предвидела этого. Несколько минут она молча, с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь, за которою скрылся муж, и старалась понять, что значит это. Есть ли это один из тех приемов, которые употребля-



ют в спорах фальшивые люди, когда бывают неправы, или же это оскорбление, обдуманно нанесенное ее самолюбиею? Как понять? Ольге Михайловне припомнился ее двоюродный брат, офицер, веселый малый, который часто со смехом рассказывал ей, что когда ночью «супружница начинает пилить» его, то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит к себе в кабинет, а жена остается в глупом и смешном положении. Этот офицер женат на богатой, капризной и глупой женщине, которую он не уважает и только терпит.

Ольга Михайловна вскочила с постели. По ее мнению, теперь ей оставалось только одно: поскорее одеться и навсегда уехать из этого дома. Дом был ее собственный, но тем хуже для Петра Дмитрича. Не рассуждая, нужно это или нет, она быстро пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу о своем решении («Бабья логика!» — мелькнуло у нее в мыслях) и сказать ему на прощанье еще что-нибудь оскорбительное, едкое...

Петр Дмитрич лежал на диване и делал вид, что читает газету. Возле него на стуле горела свеча. Из-за газеты не было видно его лица.

— Потрудитесь мне объяснить, что это значит? Я вас спрашиваю!

— Вас... — передразнил Петр Дмитрич, не показывая лица. — Надоело, Ольга! Честное слово, я утомлен, и мне теперь не до этого... Завтра будем браниться.

— Нет, я тебя отлично понимаю! — продолжала Ольга Михайловна. — Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать мне! («Бабья логика!» — опять мелькнуло в ее мыслях.) Сейчас, я знаю, ты смеешься надо мной... Я даже уверена, что ты и женился на мне только затем, чтобы иметь ценз и этих подлых лошадей... О, я несчастная!

Петр Дмитрич уронил газету и приподнялся. Неожиданное оскорбление ошеломило его. Он детски-беспомощно улыбнулся, растерянно поглядел на жену и, точно защищая себя от ударов, протянул к ней руки и сказал умоляюще:

— Оля!

И, ожидая, что она скажет еще что-нибудь ужасное, он прижался к спинке дивана, и вся его большая фигура стала казаться такою же беспомощно-детскою, как и улыбка.

— Оля, как ты могла это сказать? — прошептал он.

Ольга Михайловна опомнилась. Она вдруг почувствовала свою безумную любовь к этому человеку, вспомнила, что он ее муж, Петр Дмитрич, без которого она не может прожить ни одного дня и который ее любит тоже безумно. Она зарыдала громко, не своим голосом, схватила себя за голову и побежала назад в спальню.

Она упала в постель, и мелкие, истеричные рыдания, мешающие дышать, от которых сводит руки и ноги, огласили спальню. Вспомнив, что через три-четыре комнаты ночует гость, она спрятала голову под подушку, чтобы заглушить рыдания, но подушка свалилась на пол, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней; потянула она к лицу одеяло, но руки не слушались и судорожно рвали все, за что она хваталась.

Ей казалось, что все уже пропало, что неправда, которую она сказала для того, чтобы оскорбить мужа, разбила вдребезги всю ее жизнь. Муж не простит ее. Оскорбление, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами... Как она убедит мужа, что сама не верила тому, что говорила?

— Кончено, кончено! — кричала она, не замечая, что подушка опять свалилась на пол.— Ради бога, ради бога!

Должно быть, разбуженные ее криками, уже проснулись гость и прислуга; завтра весь уезд будет знать, что с нею была истерика, и все обвинят в этом Петра Дмитрича. Она делала усилия, чтобы сдержаться, но рыдания с каждою минутой становились все громче и громче.

— Ради бога! — кричала она не своим голосом и не понимала, для чего кричит это.— Ради бога!

Ей показалось, что под нею провалилась кровать и ноги завязли в одеяле. Вошел в спальню Петр Дмитрич в халате и со свечой в руках.

— Оля, полно! — сказал он.

Она поднялась и, стоя в постели на коленях, жмурясь от свечи, выговорила сквозь рыдания:

— Пойми... пойми...

Ей хотелось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ее ложь, что у нее накипело, но она могла только выговорить:

— Пойми... пойми!

— На, выпей! — сказал он, подавая ей воды.

Она послушно взяла стакан и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колени... «Должно быть, я теперь ужасно безобразна!» — подумала она. Петр Дмитрич молча уложил ее в постель и укрыл одеялом, потом взял свечу и вышел.

— Ради бога! — крикнула опять Ольга Михайловна. — Петр, пойми, пойми!

Вдруг что-то сдавило ее внизу живота и спины с такою силой, что плач ее оборвался, и она от боли укусила подушку. Но боль тотчас же отпустила ее, и она опять зарыдала.

Вошла горничная и, поправляя на ней одеяло, спросила встревоженно:

— Барыня, голубушка, что с вами?

— Убирайтесь отсюда! — строго сказал Петр Дмитрич, подходя к постели.

— Пойми, пойми... — начала Ольга Михайловна.

— Оля, прошу тебя, успокойся! — сказал он. — Я не хотел тебя обидеть. Я не ушел бы из спальни, если бы знал, что это на тебя так подействует. Мне просто было тяжело. Говорю тебе как честный человек...

— Пойми... Ты лгал, я лгала...

— Я понимаю... Ну, ну, будет! Я понимаю... — говорил Петр Дмитрич нежно, садясь на ее постель. — То сказала ты сгоряча, понятно... Клянусь богом, я люблю тебя больше всего на свете и, когда женился на тебе, ни разу не вспомнил, что ты богата. Я бесконечно любил — и только... Уверю тебя. Никогда я

не нуждался и не знал цены деньгам, а потому не умею чувствовать разницу между твоим состоянием и моим. Мне всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я в мелочах фальшивил, то это... конечно, правда. Жизнь у меня до сих пор была устроена так несерьезно, что как-то нельзя было обойтись без мелкой лжи. Мне теперь самому тяжело. Оставим этот разговор, бога ради!..

Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукав.

— Больно, больно, больно...— сказала она быстро.— Ах, больно!

— Черт бы взял этих гостей! — пробормотал Петр Дмитрич, поднимаясь.— Ты не должна была ездить сегодня на остров! — крикнул он.— И как это я, дурак, не остановил тебя? Господи боже мой!

Он досадливо почесал себе голову, махнул рукой и вышел из спальни.

Потом он несколько раз входил, садился к ней на кровать и говорил много, то очень нежно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыдания чередовались у нее с страшною болью, и каждая новая боль была сильнее и продолжительнее. Сначала во время боли она задерживала дыхание и кусала подушку, но потом стала кричать неприличным, раздирающим голосом. Раз, увидев около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его, и, не рассуждая, бред ли это, или настоящий Петр Дмитрич, схватила обеими руками его руку и стала целовать ее.

— Ты лгал, я лгала...— начала она оправдываться.— Пойми, пойми... Меня замучили, вывели из терпенья...

— Оля, мы тут не одни! — сказал Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна приподняла голову и увидела Варвару, которая стояла на коленях около комода и выдвигала нижний ящик. Верхние ящики были уже выдвинуты. Кончив с комодом, Варвара поднялась и, красная от напряжения, с холодным, торжественным лицом принялась отпирать шкатулку.

— Марья, не отопру! — сказала она шепотом.— Отопри, что ли.

Горничная Марья ковыряла ножницами в подсвечнике, чтобы вставить новую свечу; она подошла к Варваре и помогла ей отпереть шкатулку.

— Чтоб ничего запертого не было...— шептала Варвара.— Отопри, мать моя, и этот коробок. Барин,— обратилась она к Петру Дмитричу,— вы бы послали к отцу Михаилу, чтоб царские врата отпер! Надо!

— Делайте, что хотите,— сказал Петр Дмитрич, прерывисто дыша,— только, ради бога, скорей доктора или акушерку! Поехал Василий? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа!

«Я рожу»,— сообразила Ольга Михайловна.— Варвара,— простонала она,— но ведь он родится не живой!

— Ничего, ничего, барыня...— зашептала Варвара.— Бог даст, живой бундить (так она выговаривала слово «будет»)! Бундить живой.

Когда Ольга Михайловна в другой раз очнулась от боли, то уж не рыдала и не металась, а только стонала. От стонов она не могла удержаться даже в те промежутки, когда не было боли. Свечи еще горели, но уже сквозь шторы пробивался утренний свет. Было, вероятно, около пяти часов утра. В спальне за круглым столиком сидела какая-то незнакомая женщина в белом фартуке и с очень скромною физиономией. По выражению ее фигуры видно было, что она давно уже сидит. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка.

— Скоро кончится? — спросила она и в своем голосе услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какой раньше у нее никогда не было. «Должно быть, я умираю от родов»,— подумала она.

В спальню осторожно вошел Петр Дмитрич, одетый, как днем, и стал у окна, спиной к жене. Он приподнял штору и поглядел в окно.

— Какой дождь! — сказал он.

— А который час? — спросила Ольга Михайловна, чтобы еще раз услышать в своем голосе незнакомую нотку.

— Без четверти шесть,— отвечала акушерка.

«А что, если я в самом деле умираю? — подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконные стекла, по которым стучал дождь.— Как он без меня будет жить? С кем он будет чай пить, обедать, разговаривать по вечерам, спать?»

И он показался ей маленьким, осиротевшим; ей стало жаль его и захотелось сказать ему что-нибудь приятное, ласковое, утешительное. Она вспомнила, как он весною собирался купить себе гончих и как она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помешала ему сделать это.

— Петр, купи себе гончих! — простонала она.

Он опустил шторы и подошел к постели, хотел что-то сказать, но в это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличным, раздражающим голосом.

От боли, частых криков и стонов она оступела. Она слышала, видела, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчас будет больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь продолжается дольше, чем ее детство, ученье в институте, курсы, замужество, и будет продолжаться еще долго-долго, без конца. Она видела, как акушерке принесли чай, как позвали ее в полдень завтракать, а потом обедать; видела, как Петр Дмитрич привык входить, стоять подолгу у окна и выходить, как привыкли входить какие-то чужие мужчины, горничная, Варвара... Варвара говорила только «бундить, бундить» и сердилась, когда кто-нибудь задвигал ящики в комод. Ольга Михайловна видела, как в комнате и в окнах менялся свет: то он был сумеречный, то мутный, как туман, то ясный, дневной, какой был вчера за обедом, то опять сумеречный... И каждая из этих перемен продолжалась так же долго, как детство, ученье в институте, курсы...

Вечером два доктора — один костлявый, лысый, с широкою рыжею бородою, другой с еврейским лицом, черномазый и в дешевых очках — делали Ольге Михайловне какую-то операцию. К тому, что чужие мужчины касались ее тела, она относилась совершенно

равнодушно. У нее уже не было ни стыда, ни воли, и каждый мог делать с нею, что хотел. Если бы в это время кто-нибудь бросился на нее с ножом, или оскорбил Петра Дмитрича, или отнял бы у нее права на маленького человечка, то она не сказала бы ни одного слова.

Во время операции ей дали хлороформу. Когда она потом проснулась, боли все еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь с тишиною, с лампадкой, с акушеркой, неподвижно сидящей у постели, с выдвинутыми ящиками комода, с Петром Дмитричем, стоящим у окна, была уже, но когда-то очень, очень давно...

## V

«Я не умерла...» — подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда болей уже не было.

В два настежь открытые окна спальни глядел ясный летний день; в саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки.

Ящики в комоде были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было в спальне ни акушерки, ни Варвары, ни горничной; один только Петр Дмитрич по-прежнему стоял неподвижно у окна и глядел в сад. Не слышно было детского плача, никто не поздравлял и не радовался, очевидно, маленький человечек родился не живой.

— Петр! — окликнула Ольга Михайловна мужа.

Петр Дмитрич оглянулся. Должно быть, с того времени, как уехал последний гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, так как Петр Дмитрич заметно осунулся и похудел.

— Что тебе? — спросил он, подойдя к постели.

Он глядел в сторону, шевелил губами и улыбался детски-беспомощно.

— Все уже кончилось? — спросила Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич хотел что-то ответить, но губы его задрожали, и рот покривился старчески, как у беззубого дяди Николая Николаича.

— Оля! — сказал он, ломая руки, и из глаз его вдруг брызнули крупные слезы.— Оля! Не нужно мне ни твоего ценза, ни съездов (он всхлипнул)... ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого... ничего мне не нужно! Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ах, да что говорить!

Он махнул рукой и вышел из спальни.

А для Ольги Михайловны было уже решительно все равно. В голове у нее стоял туман от хлороформа, на душе было пусто... То тупое равнодушие к жизни, какое было у нее, когда два доктора делали ей операцию, все еще не покидало ее.



## I

Студент-медик Майер и ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С — в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними.

Падших женщин он знал только понаслышке и из книг, и в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств — среды, дурного воспитания, нужды и т. п., вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, не правоспособны; матери и сестры оплакивают их, как мертвых, наука третирует их, как зло, мужчины говорят им «ты». Но, несмотря на все это, они не теряют образа и подобия божия. Все они сознают свой грех и надеются на спасение. Средствами, которые ведут к спасению, они могут пользоваться в самых широких размерах. Правда, общество не прощает людям прошлого, но у бога святая Мария Египетская считается не ниже других святых. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерам узнавать на улице падшую женщину или видеть ее изображение в юмористическом журнале, то всякий раз он вспоминал одну историю, где-то и когда-то им вычитанную: какой-то

молодой человек, чистый и самоотверженный, полюбил падшую женщину и предложил ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастья, отравилась.

Васильев жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из дому, было около одиннадцати часов. Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах — все было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядели иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег.

— «Невольню к этим грустным берегам,— запел медик приятным тенором,— меня влечет неведомая сила...»

— «Вот мельница...— подтянул ему художник.— Она уж развалилась...»

— «Вот мельница... Она уж развалилась...» — повторил медик, поднимая брови и грустно покачивая головою.

Он помолчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие:

— «Здесь некогда меня встречала свободного свободная любовь...»

Все трое зашли в ресторан и, не снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем как выпить по второй, Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку к глазам, долго глядел в нее и близоруко хмурился. Медик не понял его выражения и сказал:

— Ну, что глядишь? Пожалуйста, без философии! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина — чтобы есть, женщины — чтобы бывать у них, снег — чтобы ходить по нем. Хоть один вечер поживи по-человечески!

— Да я ничего...— сказал Васильев, смеясь.— Разве я отказываюсь?

От водки у него потеплело в груди. Он с умилением глядел на своих приятелей, любовался ими и завидовал. Как у этих здоровых, сильных, веселых людей все уравновешено, как в их умах и душах все закончено и гладко! Они поют, и страстно любят театр, и рисуют, и много говорят, и пьют, и голова у них не болит на другой день после этого; они и поэтичны, и распутны, и нежны, и дерзки; они умеют и работать, и возмущаться, и хохотать без причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотверженны и, как люди, ничем не хуже его, Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. И ему захотелось хоть один вечер пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля. Понадобится водку пить? Он будет пить, хотя бы завтра у него лопнула голова от боли. Его ведут к женщинам? Он идет. Он будет хохотать, дурачиться, весело отвечать на затрогивания прохожих...

Вышел он из ресторана со смехом. Ему нравились его приятели — один в помятой широкополой шляпе с претензией на художественный беспорядок, другой в котиковой шапочке, человек не бедный, но с претензией на принадлежность к ученой богеме; нравился ему снег, бледные фонарные огни, резкие черные следы, какие оставляли по первому снегу подошвы прохожих; нравился ему воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный, тон, какой в природе можно наблюдать только два раза в году: когда все покрыто снегом, и весной в ясные дни или в лунные вечера, когда на реке ломает лед.

— «Невольню к этим грустным берегам,— запел он вполголоса,— меня влечет неведомая сила...»

И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально, не в такт друг другу.

Воображение Васильева рисовало, как минут через десять он и его приятели постучатся в дверь, как они по темным коридорчикам и по темным комнатам будут красться к женщинам, как он, воспользовавшись

потемками, чиркнет спичкой и вдруг осветит и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку. Неведомая блондинка или брюнетка, наверное, будет с распущенными волосами и в белой ночной кофточке; она испугается света, страшно сконфузится и скажет: «Ради бога, что вы делаете! Потушите!» Все это страшно, но любопытно и ново.

## II

Приятеля с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок — звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную пуганицу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал:

— Как много домов!

— Это что! — сказал медик. — В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.

Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой... И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время дню на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно, и лица, и походка людей выражали такое же равнодушие.

— Начнем с самого начала, — сказал художник.

Приятеля вошли в узкий коридорчик, освещенный лампой с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло как в прачечной и, кроме того, еще уксусом. Из передней вела дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник оста-

повились в этой двери, и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.

— Бона-сэра, сеньеры, риголегто-гугеноты-травиа-та! — начал художник, театрально раскланиваясь.

— Гаванна-таракано-пистолето! — сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь.

Васильев стоял позади них. Ему тоже хотелось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но он только улыбался, чувствовал неловкость, похожую на стыд, и с нетерпением ждал, что будет дальше. В дверях показалась маленькая блондинка лет семнадцати — восемнадцати, стриженная, в коротком голубом платье и с белым аксельбантом на груди.

— Что ж вы в дверях стоите? — сказала она. — Снимите ваши пальты и входите в залу.

Медик и художник, продолжая говорить по-итальянски, вошли в залу. Васильев нерешительно пошел за ними.

— Господа, снимайте ваши пальты! — сказал строго лакей. — Так нельзя.

Кроме блондинки, в зале была еще одна женщина, очень полная и высокая, с нерусским лицом и с обнаженными руками. Она сидела около рояля и раскладывала у себя на коленях пасьянс. На гостей она не обратила никакого внимания.

— Где же остальные барышни? — спросил медик.

— Они чай пьют, — сказала блондинка. — Степан, — крикнула она, — пойди скажи барышням, что студенты пришли!

Немного погодя в залу вошла третья барышня. Эта была в ярко-красном платье с синими полосами. Лицо ее было густо и неумело накрашено, лоб прятался за волосами, глаза глядели не мигая и испуганно. Войдя, она тотчас же запела сильным, грубым контральто какую-то песню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая...

Во всем этом Васильев не видел ничего ни нового, ни любопытного. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые, равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Потемок же, тишины,

тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидал он здесь встретить и что пугало его, он не видел даже тени.

Все было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство — это страшная, словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была в карнизах, в нелепых картинах, в платьях, в аксельбанте. В этой безвкусице было что-то характерное, особенное.

«Как все бедно и глупо! — думал Васильев. — Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искутить нормального человека, побудить его совершить страшный грех — купить за рубль живого человека? Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат? Впрочем... не надо думать!»

— Борода, угостите портером! — обратилась к нему блондинка.

Васильев вдруг сконфузился.

— С удовольствием... — сказал он, вежливо кланяясь. — Только извините, сударыня, я... я с вами пить не буду. Я не пью.

Минут через пять приятели шли уже в другой дом.

— Ну, зачем ты потребовал портеру? — сердился медик. — Миллионщик какой! Бросил шесть рублей так, здорово живешь, на ветер!

— Если она хочет, то отчего же не сделать ей этого удовольствия? — оправдывался Васильев.

— Ты доставил удовольствие не ей, а хозяйке. Требовать от гостей угощения приказывают им хозяйки, которым это выгодно.

— «Вот мельница... — запел художник. — Она уж развалилась...»

Придя в другой дом, приятели постояли только в передней, но в залу не входили. Так же как и в первом доме, в передней с дивана поднялась фигура в сюртуке и с заспанным лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал: «Сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда в лакеи? Где он был раньше и что делал? Что ждет его? Женат ли он? Где его мать и знает

ли она, что он служит тут в лакеях?» И уж Васильев невольно в каждом доме обращал свое внимание прежде всего на лакея. В одном из домов, кажется в четвертом по счету, был лакей маленький, тщедушный, сухой, с цепочкой на жилетке. Он читал «Листок» и не обратил никакого внимания на вошедших. Поглядев на его лицо, Васильев почему-то подумал, что человек с таким лицом может и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо в самом деле было интересное: большой лоб, серые глаза, приплюснутый носик, мелкие, стиснутые губы, а выражение тупое и в то же время наглое, как у молодой гончей собаки, когда она догоняет зайца. Васильев подумал, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткие они или мягкие? Должно быть, жесткие, как у собаки.

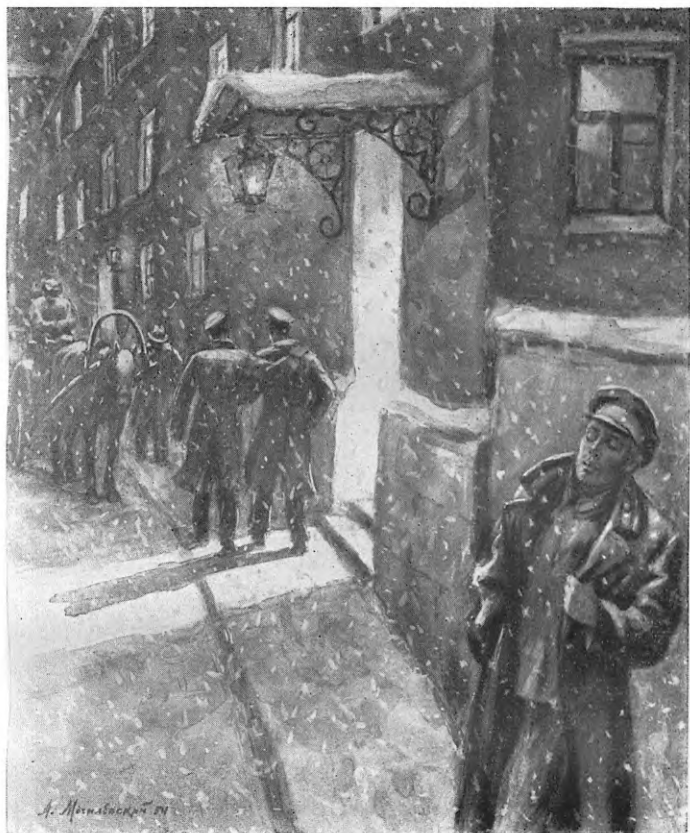
### III

Художник, оттого что выпил два стакана портеру, как-то вдруг опьянел и неестественно оживился.

— Пойдемте в другой! — командовал он, размахивая руками.— Я вас поведу в самый лучший!

Приведя приятелей в тот дом, который, по его мнению, был самым лучшим, он изъявил настойчивое желание танцевать кадрили. Медик стал ворчать на то, что музыкантам придется платить рубль, но согласился быть *vis-à-vis*. Начали танцевать.

В самом лучшем было так же нехорошо, как и в самом худшем. Тут были точно такие же зеркала и картины, такие же прически и платья. Осматривая обстановку и костюмы, Васильев уже понимал, что это не безвкусица, а нечто такое, что можно назвать вкусом и даже стилем С — ва переулка и чего нельзя найти нигде в другом месте, нечто цельное в своем безобразии, не случайное, выработанное временем. После того как он побывал в восьми домах, его уж не удивляли ни цвета платьев, ни длинные шлейфы, ни яркие банты, ни матросские костюмы, ни густая фиолетовая окраска щек; он понимал, что все это здесь так и нужно, что если бы хоть одна из женщин оде-



К рассказу «Припадок».  
Художник А. Могилевский. 1954.





лась по-человечески или если бы на стене повесили порядочную гравюру, то от этого пострадал бы общий тон всего переулка.

«Как неумело они продают себя! — думал он.— Неужели они не могут понять, что порок только тогда обаятелен, когда он красив и прячется, когда он носит оболочку добродетели? Скромные черные платья, бледные лица, печальные улыбки и потемки сильнее действуют, чем эта аляповатая мишура. Глупые! Если они сами не понимают этого, то гости бы их поучили, что ли...»

Барышня в польском костюме с белой меховой опушкой подошла к нему и села рядом с ним.

— Симпатичный брюнет, что ж вы не танцуете? — спросила она.— Отчего вы такой скучный?

— Потому что скучно.

— А вы угостите лафитом. Тогда не будет скучно, Васильев ничего не ответил. Он помолчал и спросил:

— Вы в котором часу ложитесь спать?

— В шестом.

— А встаете когда?

— Когда в два, а когда и в три.

— А вставши, что делаете?

— Кофий пьем, в седьмом часу обедаем.

— А что вы обедаете?

— Обыкновенно... Суп или щи, биштекс, десерт. Наша мадам хорошо содержит девушек. Да для чего вы все это спрашиваете?

— Так, чтоб поговорить...

Васильеву хотелось поговорить с барышней о многом. Он чувствовал сильное желание узнать, откуда она родом, живы ли ее родители и знают ли они, что она здесь, как она попала в этот дом, весела ли и довольна или же печальна и угнетена мрачными мыслями, надеется ли выйти когда-нибудь из своего настоящего положения... Но никак он не мог придумать, с чего начать и какую форму придать вопросу, чтоб не показаться нескромным. Он долго думал и спросил:

— Вам сколько лет?

— Восемьдесят,— сострила барышня, глядя со сме-

хом на фокусы, какие выделывал руками и ногами плясавший художник.

Вдруг она чему-то захохотала и сказала громко, так, что все слышали, длинную циническую фразу. Васильев оторопел и, не зная, какое выражение придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только один он, все же остальные — его приятели, музыканты и женщины — даже и не взглянули на его соседку, точно не слышали.

— Угостите лафитом! — опять сказала соседка.

Васильев почувствовал отвращение к ее белой опушке и к голосу и отошел от нее. Ему уж казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, как молот: раз! два! три!

— Пойдем отсюда! — сказал он, дернув художника за рукав.

— погоди, дай кончить.

Пока художник и медик кончали кадрили, Васильев, чтобы не глядеть на женщин, осматривал музыкантов. На рояле играл благообразный старик в очках, похожий лицом на маршала Базена; на скрипке — молодой человек с русой бородкой, одетый по последней моде. У молодого человека было лицо не глупое, не испитое, а, наоборот, умное, молодое, свежее. Одет он был прихотливо и со вкусом, играл с чувством. Задача: как он и этот приличный, благообразный старик попали сюда? отчего им не стыдно сидеть здесь? о чем они думают, когда глядят на женщин?

Если бы на рояле и на скрипке играли люди оборванные, голодные, мрачные, пьяные, с испитыми или тупыми лицами, тогда присутствие их, быть может, было бы понятно. Теперь же Васильев ничего не понимал. Ему вспоминалась история падшей женщины, прочитанная им когда-то, и он находил теперь, что этот человеческий образ с виноватой улыбкой не имеет ничего общего с тем, что он теперь видит. Ему казалось, что он видит не падших женщин, а какой-то другой, совершенно особый мир, ему чуждый и непонятный; если бы раньше он увидел этот мир в театре на сцене или прочел бы о нем в книге, то не поверил бы...

Женщина с белой опушкой опять захохотала и громко произнесла отвратительную фразу. Гадливое чувство овладело им, он покраснел и вышел.

— Постой, и мы идем! — крикнул ему художник.

#### IV

— Сейчас у меня с моей дамой, пока мы плясали, был разговор,— рассказывал медик, когда все трое вышли на улицу.— Речь шла об ее первом романе. Он, герой,— какой-то бухгалтер в Смоленске, имеющий жену и пятерых ребят. Ей было семнадцать лет, и жила она у папаша и мамаша, торгующих мылом и свечами.

— Чем же он победил ее сердце? — спросил Васильев.

— Тем, что купил ей белья на пятьдесят рублей. Черт знает что!

«Однако же вот он сумел выпытать у своей дамы ее роман,— подумал Васильев про медика.— А я не умею...»

— Господа, я ухожу домой! — сказал он.

— Почему?

— Потому что я не умею держать себя здесь. К тому же мне скучно и противно. Что тут веселого? Хоть бы люди были, а то дикари и животные. Я ухожу, как угодно.

— Ну Гриша, Григорий, голубчик... — сказал плачущим голосом художник, прижимаясь к Васильеву.— Пойдем! Сходим еще в один, и будь они прокляты... Пожалуйста! Григорианц!

Васильева уговорили и повели вверх по лестнице. В ковре и в золоченых перилах, в швейцаре, отворившем дверь, и в панно, украшавших переднюю, чувствовался все тот же стиль С — ва переулка, но усовершенствованный, импонирующий.

— Право, я пойду домой! — сказал Васильев, снимая пальто.

— Ну, ну, голубчик... — сказал художник и поцеловал его в шею.— Не капризничай... Гри-Гри, будь товарищем! Вместе пришли, вместе и уйдем. Какой ты скот, право.

— Я могу подождать вас на улице. Ей-богу, мне здесь противно!

— Ну, ну, Гриша... Противно, а ты наблюдай! Понимаешь? Наблюдай!

— Надо смотреть объективно на вещи,— сказал серьезно медик.

Васильев вошел в залу и сел. Кроме него и приятелей, в зале было еще много гостей: два пехотных офицера, какой-то седой и лысый господин в золотых очках, два безусых студента из межевого института и очень пьяный человек с актерским лицом. Все барышни были заняты этими гостями и не обратили на Васильева никакого внимания. Только одна из них, одетая Аидой, искоса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила, зевая:

— Брюнет пришел...

У Васильева стучало сердце и горело лицо. Ему было и стыдно перед гостями за свое присутствие здесь, и гадко, и мучительно. Его мучила мысль, что он, порядочный и любящий человек (таким он до сих пор считал себя), ненавидит этих женщин и ничего не чувствует к ним, кроме отвращения. Ему не было жаль ни этих женщин, ни музыкантов, ни лакеев.

«Это оттого, что я не стараюсь понять их,— думал он.— Все они похожи на животных больше, чем на людей, но ведь они все-таки люди, у них есть души. Надо их понять и тогда уж судить...»

— Гриша, ты же не уходи, нас подожди! — крикнул ему художник и исчез куда-то.

Скоро исчез и медик.

«Да, надо постараться понять, а так нельзя...» — продолжал думать Васильев.

И он стал напряженно вглядываться в лицо каждой женщины и искать виноватой улыбки. Но — или он не умел читать на лицах, или же ни одна из этих женщин не чувствовала себя виноватою — на каждом лице он читал только тупое выражение обыденной, пошлой скуки и довольства. Глупые глаза, глупые улыбки, резкие, глупые голоса, наглые движения — и ничего больше. По-видимому, у каждой в прошлом был роман с бухгалтером и с бельем на пятьдесят

рублей, а в настоящем нет другой прелести в жизни, кроме кофе, обеда из трех блюд, вина, кадрили, спанья до двух часов...

Не найдя ни одной виноватой улыбки, Васильев стал искать: нет ли умного лица. И внимание его остановилось на одном бледном, немножко сонном, утомленном лице... Это была немолодая брюнетка, одетая в костюм, усыпанный блестками; она сидела в кресле, глядела в пол и о чем-то думала. Васильев прошелся из угла в угол и точно нечаянно сел рядом с нею.

«Нужно начать с чего-нибудь пошлого,— думал он,— а потом постепенно перейти к серьезному...»

— А какой у вас хорошенький костюмчик! — сказал он и коснулся пальцем золотой бахромы на козынке.

— Какой есть... — сказала вяло брюнетка.

— Вы из какой губернии?

-- Я? Дальняя... Из Черниговской.

— Хорошая губерния. Там хорошо.

— Там хорошо, где нас нет.

«Жаль, что я не умею природу описывать,— подумал Васильев.— Можно было бы тронуть ее описаниями черниговской природы. Небось ведь любит, коли родилась там».

— Вам здесь скучно? — спросил он.

— Известно, скучно.

— Отчего же вы не уходите отсюда, если вам скучно?

— Куда ж я уйду? Милостыню просить, что ли?

— Милостыню просить легче, чем жить здесь.

— А вы откуда знаете? Нешто вы просили?

— Просил, когда нечем было платить за учење. Хотя бы даже не просил, это так понятно. Нищий, как бы ни было, свободный человек, а вы раба.

Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который нес на подносе стаканы и сельтерскую воду.

— Угостите портером,— сказала она и опять зевнула.

«Портером... — подумал Васильев.— А что, если бы

сейчас вошел сюда твой брат или твоя мать? Что бы ты сказала? А что сказали бы они? Был бы тогда портер, воображаю...»

Вдруг послышался плач. Из соседней комнаты, куда лакей понес сельтерскую, быстро вышел какой-то блондин с красным лицом и сердитыми глазами. За ним шла высокая, полная хозяйка и кричала визгливым голосом:

— Никто вам не позволял бить девушек по щекам! У нас бывают гости получше вас, да не дерутся! Шарлатан!

Поднялся шум. Васильев испугался и побледнел. В соседней комнате плакали навзрыд, искренно, как плачут оскорбленные. И он понял, что в самом деле тут живут люди, настоящие люди, которые, как везде, оскорбляются, страдают, плачут, просят помощи... Тяжелая ненависть и гадливое чувство уступили свое место острому чувству жалости и злобы на обидчика. Он бросился в ту комнату, где плакали; сквозь ряды бутылок, стоявших на мраморной доске стола, он разглядел страдальческое, мокрое от слез лицо, протянул к этому лицу руки, сделал шаг к столу, но тотчас же в ужасе отскочил назад. Плачущая была пьяна.

Пробираясь сквозь шумную толпу, собравшуюся вокруг блондина, он пал духом, струсил, как мальчик, и ему казалось, что в этом чужом, непонятном для него мире хотят гнаться за ним, бить его, осыпать грязными словами... Он сорвал с вешалки свое пальто и бросился опретью вниз по лестнице.

## V

Прижавшись к забору, он стоял около дома и ждал, когда выйдут его товарищи. Звуки роялей и скрипок, веселые, удалые, наглые и грустные, путались в воздухе в какой-то хаос, и эта путаница по-прежнему походила на то, как будто в потемках над крышами настраивался невидимый оркестр. Если взглянуть вверх на эти потемки, то весь черный фон был усыпан белыми движущимися точками: это шел

снег. Хлопья его, попав в свет, лениво кружились в воздухе, как пух, и еще ленивее падали на землю. Снежинки кружились толпой около Васильева и висли на его бороде, ресницах, бровях... Извозчики, лошади и прохожие были белы.

«И как может снег падать в этот переулочек! — думал Васильев.— Будь прокляты эти дома!»

Оттого, что он сбежал вниз по лестнице, ноги подгибались от усталости; он задыхался, точно взбирался на гору, сердце стучало так, что было слышно. Его томило желание скорее выбраться из переулочка и идти домой, но еще сильнее хотелось дожидаться товарищей и сорвать на них свое тяжелое чувство.

Он многого не понял в домах, души погибающих женщин остались для него по-прежнему тайной, но для него ясно было, что дело гораздо хуже, чем можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всех этих, которые плясали теперь под звуковую путаницу и говорили длинные отвратительные фразы, трудно было подобрать подходящее название. Это были не погибающие, а уже погибшие.

«Порок есть,— думал он,— но нет ни сознания вины, ни надежды на спасение. Их продают, покупают, топят в вине и в мерзостях, а они, как овцы, тупы, равнодушны и не понимают, боже мой, боже мой!»

Для него также ясно было, что все то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием божьим, осквернено тут до основания, «вдрызг», как говорят пьяницы, и что виноваты в этом не один только переулочек да тупые женщины.

Толпа студентов, белых от снега, весело разговаривая и со смехом, прошла мимо него. Один из них, высокий и тонкий, остановился, заглянул Васильеву в лицо и сказал пьяным голосом:

— Наш! Налимонился, брат? Ага-га, брат! Ничего, гуляй! Валяй! Не унывай, дядя!

Он взял Васильева за плечи и прижался к его щеке мокрыми холодными усами, потом поскользнулся, покачнулся и, взмахнув общими руками, крикнул:

— Держись! Не падай!



И, засмеявшись, побежал догонять своих товарищей.

Сквозь шум послышался голос художника:

— Вы не смеете бить женщин! Я вам не позволю, черт вас подери! Негодяи вы этикие!

В дверях дома показался медик. Он поглядел по сторонам и, увидев Васильева, сказал встревоженно:

— Ты здесь? Послушай, ей-богу, с Егором положительно невозможно никуда ходить! Что это за человек, не понимаю! Скандал затеял! Слышишь? Егор! — крикнул он в дверь.— Егор!

— Я вам не позволю бить женщин! — раздался наверху пронзительный голос художника.

Что-то тяжелое и громоздкое покатилося вниз по лестнице. Это художник летел кубарем вниз. Его, очевидно, вытолкали.

Он поднялся с земли, отряхнул шляпу и со злым, негодующим лицом погрозил вверх кулаком и крикнул:

— Подлецы! Живодеры! Кровопийцы! Я не позволю вам бить! Бить слабую, пьяную женщину! Ах, вы...

— Егор... Ну, Егор...— начал умолять медик.— Даю тебе честное слово, уж больше никогда не пойду с тобой в другой раз. Честное слово!

Художник мало-помалу успокоился, и приятели пошли домой.

— «Невольно к этим грустным берегам,— запел медик,— меня влечет неведомая сила...»

— «Вот мельница...— подтянул немного погода художник.— Она уж развалилась...» Экий снег валит, мать пресвятая! Гришка, отчего ты ушел? Трус ты, баба и больше ничего.

Васильев шел позади приятелей, глядел им в спины и думал:

«Что-нибудь из двух: или нам только кажется, что проституция — зло, и мы преувеличиваем, или же, если проституция в самом деле такое зло, как принято думать, то эти мои милые приятели такие же рабовладельцы, насильники и убийцы, как те жители Сирии и Каира, которых рисуют в «Ниве». Они теперь поют, хохочут, здраво рассуждают, но разве не они сейчас

эксплуатировали голод, невежество и тупость? Они — я был свидетелем. При чем же тут их гуманность, медицина, живопись? Науки, искусства и возвышенные чувства этих душегубов напоминают мне сало в одном анекдоте. Два разбойника зарезали в лесу нищего; стали делить между собою его одежду и нашли в сумке кусок свиного сала. «Очень кстати,— сказал один из них,— давай закусим». — «Что ты, как можно? — ужаснулся другой. — Разве ты забыл, что сегодня среда?» И не стали есть. Они, зарезавши человека, вышли из лесу с уверенностью, что они постники. Так и эти, купивши женщин, идут и думают теперь, что они художники и ученые...»

— Послушайте, вы! — сказал он сердито и резко. — Зачем вы сюда ходите? Неужели, неужели вы не понимаете, как это ужасно? Ваша медицина говорит, что каждая из этих женщин умирает преждевременно от чахотки или чего-нибудь другого; искусства говорят, что морально она умирает еще раньше. Каждая из них умирает оттого, что на своем веку принимает средним числом, допустим, пятьсот человек. Каждую убивает пятьсот человек. В числе этих пятисот — вы! Теперь, если вы оба за всю жизнь побываете здесь и в других подобных местах по двести пятьдесят раз, то значит, на обоих вас придется одна убитая женщина! Разве это не понятно? Разве не ужасно? Убить вдвоем, втроем, впятером одну глупую, голодную женщину! Ах, да разве это не ужасно, боже мой?

— Так и знал, что этим кончится, — сказал художник, морщась. — Не следовало бы связываться с этим дураком и болваном! Ты думаешь, что теперь у тебя в голове великие мысли, идеи? Нет, черт знает что, а не идеи! Ты сейчас смотришь на меня с ненавистью и с отвращением, а по-моему, лучше бы ты построил еще двадцать таких домов, чем глядеть так. В этом твоём взгляде больше порока, чем во всем переулке! Пойдем, Володя, черт с ним! Дурак, болван и больше ничего...

— Мы, люди, убиваем взаимно друг друга, — сказал медик. — Это, конечно, безнравственно, но философией тут не поможешь. Прощай!

На Трубной площади приятели простились и разошлись. Оставшись один, Васильев быстро зашагал по бульвару. Ему было страшно потемок, страшно снега, который хлопьями валил на землю и, казалось, хотел засыпать весь мир; страшно было фонарных огней, бледно мерцавших сквозь снеговые облака. Душою его овладел безотчетный, малодушный страх. Попадались изредка навстречу прохожие, но он пугливо сторонился от них. Ему казалось, что отовсюду идут и отовсюду глядят на него женщины, только женщины...

«Начинается у меня,— думал он.— Припадок начинается...»

## VI

Дома лежал он на кровати и говорил, содрогаясь всем телом:

— Живые! Живые! Боже мой, они живые!

Он всячески изощрял свою фантазию, воображал себя самого то братом падшей женщины, то отцом ее, то самую падшую женщиною с намазанными щеками, и все это приводило его в ужас.

Ему почему-то казалось, что он должен решить вопрос немедленно, во что бы то ни стало и что вопрос этот не чужой, а его собственный. Он напряг силы, поборол в себе отчаяние и, севши на кровать, обняв руками голову, стал решать: как спасти всех тех женщин, которых он сегодня видел? Порядок решения всяких вопросов ему, как человеку ученому, был хорошо известен. И он, как ни был возбужден, строго держался этого порядка. Он припомнил историю вопроса, его литературу, а в четвертом часу шагнул из угла в угол и старался вспомнить все те опыты, какие в настоящее время практикуются для спасения женщин. У него было очень много хороших приятелей и друзей, живших в номерах Фальцфейн, Галяшкина, Нечаева, Ечкина... Между ними немало людей честных и самоотверженных. Некоторые из них пытались спасти женщин...

«Все эти немногочисленные попытки,— думал Васильев,— можно разделить на три группы. Одни, вы-

купив из притона женщину, нанимали для нее номер, покупали ей швейную машину, и она делалась швеей. И выкупивший, вольно или невольно, делал ее своей содержанкой, потом, кончив курс, уезжал и сдавал ее на руки другому порядочному человеку, как какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшею. Другие, выкупив, тоже нанимали для нее отдельный номер, покупали неизбежную швейную машинку, пускали в ход грамоту, проповеди, чтение книжек. Женщина жила и шила, пока это для нее было интересно и ново, потом же, соскучившись, начинала тайком от проповедников принимать мужчин или же убегала назад туда, где можно спать до трех часов, пить кофе и сытно обедать. Третьи, самые горячие и самоотверженные, делали смелый, решительный шаг. Они женились. И когда наглое, избалованное или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потом матерью, то это переворачивало вверх дном ее жизнь и мировоззрение, так что потом в жене и в матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба лучшее и, пожалуй, единственное средство».

— Но невозможное! — сказал вслух Васильев и повалился в постель. — Я первый не мог бы жениться! Для этого надо быть святым, не уметь ненавидеть и не знать отвращения. Но допустим, что я, медик и художник, пересилили себя и женились, что все они выйдут замуж. Но какой же вывод? Вывод какой? А тот вывод, что пока здесь, в Москве, они будут выходить замуж, смоленский бухгалтер развратит новую партию, и эта партия хлынет сюда на вакантные места с саратовскими, нижегородскими, варшавскими... А куда девать сто тысяч лондонских? Куда девать гамбургских?

Лампа, в которой выгорел керосин, стала чадить. Васильев не заметил этого. Он опять зашагал, продолжая думать. Теперь уж он поставил вопрос иначе: что нужно сделать, чтобы падшие женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые их покупают и убивают, почувствовали всю безнравственность своей рабовладельческой роли и ужаснулись. Надо спасти мужчин.

«Наукой и искусствами, очевидно, ничего не поделаешь...— думал Васильев.— Тут единственный выход — это апостольство».

И он стал мечтать о том, как завтра же вечером он будет стоять на углу переулка и говорить каждому прохожему:

— Куда и зачем вы идете? Побойтесь вы бога!

Он обратится к равнодушным извозчикам и им скажет:

— Зачем вы тут стоите? Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в бога и знаете, что это грешно, что за это люди пойдут в ад, отчего же вы молчите? Правда, они вам чужие, но ведь и у них есть отцы, братья, точно такие же, как вы...

Кто-то из приятелей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — *человеческий*. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза и т. п.

Прав ли приятель — не знаю, но то, что переживал Васильев, когда ему казалось, что вопрос решен, было очень похоже на вдохновение. Он плакал, смеялся, говорил вслух те слова, какие он скажет завтра, чувствовал горячую любовь к тем людям, которые послушаются его и станут рядом с ним на углу переулка, чтобы проповедовать; он садился писать письма, давал себе клятвы...

Все это было похоже на вдохновение уж и потому, что продолжалось недолго. Васильев скоро устал. Лондонские, гамбургские, варшавские своею массою давили его, как горы давят землю; он робел перед этой массой, терялся; вспоминал он, что у него нет дара слова, что он труслив и малодушен, что равно-

душные люди едва ли захотят слушать и понимать его, студента-юриста третьего курса, человека робкого и ничтожного, что истинное апостольство заключается не в одной только проповеди, но и в делах...

Когда было светло и на улице уже стучали экипажи, Васильев лежал неподвижно на диване и смотрел в одну точку. Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах, ни об апостольстве. Все внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степени, и на отчаяние. Указать, где она, он мог: в груди, под сердцем; но сравнить ее нельзя было ни с чем. Раньше у него бывала сильная зубная боль, бывали плеврит и невралгии, но все это в сравнении с душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной. Диссертация, отличное сочинение, уже написанное им, любимые люди, спасение погибающих женщин — все то, что вчера еще он любил или к чему был равнодушен, теперь при воспоминании раздражало его наравне с шумом экипажей, беготней коридорных, дневным светом... Если бы теперь кто-нибудь на его глазах совершил подвиг милосердия или возмутительное насилие, то на него то и другое произвело бы одинаково отвратительное впечатление. Из всех мыслей, лениво бродивших в его голове, только две не раздражали его: одна — что он каждую минуту имеет власть убить себя, другая — что боль не будет продолжаться дольше трех дней. Второе он знал по опыту.

Полежав, он встал и, ломая руки, прошелся не из угла в угол, как обыкновенно, а по квадрату, вдоль стен. Мельком он поглядел на себя в зеркало. Лицо его было бледно и осунулось, виски впали, глаза были больше, темнее, неподвижнее, точно чужие, и выжидали невыносимое душевное страдание.

В полдень в дверь постучался художник.

— Григорий, ты дома? — спросил он.

Не получив ответа, он постоял минуту, подумал и ответил себе по-хохлацки:

— Нема. В нивырситет пийшов, треклятый хлопец.

И ушел. Васильев лег на кровать и, спрятав голову под подушку, стал плакать от боли, и чем обильней лились слезы, тем ужаснее становилась душевная боль. Когда потемнело, он вспомнил о той мучительной ночи, которая ожидает его, и страшное отчаяние овладело им. Он быстро оделся, выбежал из номера и, оставив свою дверь настежь, без всякой надобности и цели вышел на улицу. Не спрашивая себя, куда идти, он быстро пошел по Садовой улице.

Снег валил, как вчера; была оттепель. Засунув руки в рукава, дрожа и пугаясь стуков, звонков конки и прохожих, Васильев прошел по Садовой до Сухаревой башни, потом до Красных ворот, отсюда свернул на Басманную. Он зашел в кабак и выпил большой стакан водки, но от этого не стало легче. Дойдя до Разгуляя, он повернул вправо и зашагал по переулкам, в каких не был раньше ни разу в жизни. Он дошел до того старого моста, где шумит Яуза и откуда видны длинные ряды огней в окнах Красных казарм. Чтобы отвлечь свою душевную боль каким-нибудь новым ощущением или другою болью, не зная, что делать, плача и дрожа, Васильев расстегнул пальто и сюртук и подставил свою голую грудь сырому снегу и ветру. Но и это не уменьшило боли. Тогда он нагнулся через перила моста и поглядел вниз, на черную, бурливую Яузу, и ему захотелось броситься вниз головой, не из отвращения к жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую. Но черная вода, потемки, пустынные берега, покрытые снегом, были страшны. Он содрогнулся и пошел дальше. Прошелся он вдоль Красных казарм, потом назад и спустился в какую-то рощу, из рощи опять на мост...

«Нет, домой, домой! — думал он. — Дома, кажется, легче...»

И он пошел назад. Вернувшись домой, он сорвал с себя мокрое пальто и шапку, зашагал вдоль стен и неумоимо шагал до самого утра.

Когда на другой день утром пришли к нему художник и медик, он в разодранной рубахе и с искусанными руками метался по комнате и стонал от боли.

— Ради бога! — зарыдал он, увидев приятелей. — Ведите меня куда хотите, делайте что знаете, но, бога ради, скорее спасайте меня! Я убью себя!

Художник побледнел и растерялся. Медик тоже едва не заплакал, но, полагая, что медики во всех случаях жизни обязаны быть хладнокровны и серьезны, сказал холодно:

— Это у тебя припадок. Но это ничего. Пойдем сейчас к доктору.

— Куда хотите, только, ради бога, скорей!

— Ты не волнуйся. Нужно бороться с собой.

Художник и медик дрожащими руками одели Васильева и вывели его на улицу.

— Михаил Сергеич давно уже хочет с тобой познакомиться, — говорил дорогою медик. — Он очень милый человек и отлично знает свое дело. Кончил он в восемьдесят втором году, а практика уже громадная. Со студентами держит себя по-товарищески.

— Скорее, скорее... — торопил Васильев.

Михаил Сергеич, полный белокурый доктор, встретил приятелей учтиво, солидно, холодно и улыбнулся одной только щекой.

— Мне художник и Майер говорили уже о вашей болезни, — сказал он. — Очень рад служить. Ну-с? Садитесь, покорнейше прошу...

Он усадил Васильева в большое кресло около стола и придвинул к нему ящик с папиросами.

— Ну-с? — начал он, поглаживая колени. — Приступим к делу... Сколько вам лет?

Он задавал вопросы, а медик отвечал. Он спросил, не был ли отец Васильева болен какими-нибудь особенными болезнями, не пил ли запоем, не отличался ли жестокостью или какими-либо странностями. То же самое спросил о его деде, матери, сестрах и братьях. Узнав, что его мать имела отличный голос и играла иногда в театре, он вдруг оживился и спросил:



— Виноват-с, а не припомните ли, не был ли театр у вашей матушки страстью?

Прошло минут двадцать. Васильеву наскучило, что доктор поглаживает колени и говорит все об одном и том же.

— Насколько я понимаю ваши вопросы, доктор,— сказал он,— вы хотите знать, наследственна моя болезнь или нет. Она не наследственна.

Далее доктор спросил, не было ли у Васильева в молодости каких-либо тайных пороков, ушибов головы, увлечений, странностей, исключительных пристрастий. На половину вопросов, какие обыкновенно задаются старательными докторами, можно не отвечать без всякого ущерба для здоровья, но у Михаила Сергеича, у медика и художника были такие лица, как будто, если бы Васильев не ответил хотя бы на один вопрос, то все бы погибло. Получая ответы, доктор для чего-то записывал их на бумажке. Узнав, что Васильев кончил уже на естественном факультете и теперь на юридическом, доктор задумался...

— В прошлом году он написал отличное сочинение...— сказал медик.

— Виноват, не перебивайте меня, вы мешаете мне сосредоточиться,— сказал доктор и улыбнулся одной щекой.— Да, конечно, и это играет роль в анамнезе. Форсированная умственная работа, переутомление... Да, да... А водку вы пьете? — обратился он к Васильеву.

— Очень редко.

Прошло еще двадцать минут. Медик стал вполголоса высказывать свое мнение о ближайших причинах припадка и рассказал, как третьего дня он, художник и Васильев ходили в С — в переулок.

Равнодушный, сдержанный, холодный тон, каким его приятели и доктор говорили о женщинах и о несчастном переулке, показался ему в высшей степени странным...

— Доктор, скажите мне только одно,— сдерживая себя, чтобы не быть грубым, сказал он,— проституция зло или нет?

— Голубчик, кто ж спорит? — сказал доктор с та-

ким выражением, как будто давно уже решил для себя все эти вопросы.— Кто спорит?

— Вы психиатр? — спросил грубо Васильев.

— Да-с, психиатр.

— Может быть, все вы и правы! — сказал Васильев, поднимаясь и начиная ходить из угла в угол.— Может быть! Но мне все это кажется удивительным! Что я был на двух факультетах — в этом видят подвиг; за то, что я написал сочинение, которое через три года будет брошено и забудется, меня превозносят до небес, а за то, что о падших женщинах я не могу говорить так же хладнокровно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, сожалеют!

Васильеву почему-то вдруг стало невыносимо жаль и себя, и товарищей, и всех тех, которых он видел третьего дня, и этого доктора, он заплакал и упал в кресло.

Приятельно вопросительно глядели на доктора. Тот с таким выражением, как будто отлично понимал и слезы и отчаяние, как будто чувствовал себя специалистом по этой части, подошел к Васильеву и молча дал ему выпить каких-то капель, а потом, когда он успокоился, раздел его и стал исследовать чувствительность его кожи, коленные рефлексy и прочее.

И Васильеву полегчало. Когда он выходил от доктора, ему уже было совестно, шум экипажей не казался раздражительным и тяжесть под сердцем становилась все легче и легче, точно таяла. В руках у него было два рецепта: на одном был бромистый калий, на другом морфий... Все это принимал он и раньше!

На улице он постоял немного, подумал и, простившись с приятелями, лениво поплелся к университету,

## САПОЖНИК И НЕЧИСТАЯ СИЛА

Был канун рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переуллка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера, бранился и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утрени.

— Жизнь каторжная! — ворчал Федор, работая.— Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин какой, сиди и шей черт знает на кого...

Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко:

— С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? Оттого что у них деньги есть, а я нищий?

Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переуллке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толлок что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться,

как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким красным пламенем, завоняло серой и жжеными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом, так что Федор раз пять чихнул; и, возвращаясь после этого домой, он думал: «Кто бога боится, тот не станет заниматься такими делами».

Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках... Как было бы хорошо, если бы у этих, черт их подери, богачей потрескались дома, подошли лошади, полиняли их шубы и собольи шапки! Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком сапожником накануне рождества.

Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза.

«Вот так история! — подумал он, оглядывая сапоги. — Головки у меня давно уж готовы, а я все сижу. Надо нести к заказчику!»

Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий, жесткий снег, колотивший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом:

— Нищий! Нищий!

Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:

— Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!

Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал:

«Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего»,— Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном переулке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой, скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толлок что-то в ступке.

— Ваше высокоблагородие, сапожки принес! — сказал угрюмо Федор.

Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге! — подумал Федор. — Вот она какая история!»

Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз; но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтоб не креститься, он почтительно кашлянул и начал:

— Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила, а я так понимаю, ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента.

— Люблю за такие слова,— сказал польщенный заказчик.— Спасибо, сапожник! Что же ты хочешь?

И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебединки из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляп-

ке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей, так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу: «Какой у этого сапожника красивый нос!» Правда, Марья хорошая, добрая, работающая баба, но ведь она необразованная, рука у нее тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху.

— Что же ты хочешь? — перебил его заказчик.

— А я прошу, ваше высокоблагородие, Черт Иваныч, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком!

— Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу! Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу.

— Ваше высокоблагородие! — сказал Федор вежливо. — Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать.

— Ну, ладно! — согласился заказчик.

В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло жжеными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек, в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:

— Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!

Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом принесли на сковороде жареного гуся, немного погоды — вареной свинины с хреном. И как все это благородно, политично! Федор ел и перед каждым блюдом выпивал

по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку, и он все ел и восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. «И как это господа не полопаются от такой еды!» — думал он. В заключение подали большой горшок с медом. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь:

— Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?

Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.

— За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. Какой это сапожник шил? — спросил он.

— Кузьма Лебедин, — ответил лакей.

— Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил:

— Что прикажете, ваше высокоблагородие?

— Молчать! — крикнул Федор и топнул ногой. — Не смей рассуждать и помни свое сапожничье звание, какой ты человек есть! Болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побую! Ты зачем пришел?

— За деньгами-с.

— Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи! Человек, дай ему в шею!

Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе, и, чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще, но ему захотелось еще больше, и чем дольше он считал, тем недовольнее становился.

Вечером нечистый привел к нему высокую, грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он все целовался с ней

и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой, пуховой перине, ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.

— Денег много,— говорил он жене,— того гляди воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой поглядела!

Всю ночь не спал он и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утрени. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так: «Господи, прости меня, грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставши богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно все это казалось Федору, а тут еще во всем теле тяжесть от обеда и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе.

Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во все горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городской и сказал, делая под козырек:

— Барин, нельзя господам петь на улице! Вы не сапожник!

Федор прислонился спиной к забору и стал думать: чем бы развлечься?

— Барин! — крикнул ему дворник. — Не очень-то на забор напирай, шубу запачкаешь!

Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.

— А еще тоже барин! — дразнили его извозчики. — Словно сапожник какой...

— Нешто господам можно безобразить? — сказал ему городской. — Вы бы еще в кабак пошли!

— Барин, подайте милостыньки, Христа ради! — вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. — Подайте!



Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания, теперь же они не давали ему проходу.

А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей разá в спину, но она сказала сердито:

— Мужик! Невежа! Не умеешь обращаться с барынями! Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю.

«Ну, жизнь анафемская! — подумал Федор. — Живут люди! Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармони, ни тебе с бабой поиграть... Тьфу!»

Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал:

— Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйста за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить, будет с вас!

И потащил Федора в ад, прямо в пекло, и черти слетались со всех сторон и кричали:

— Дурак! Болван! Осел!

В аду страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться.

И вдруг все исчезло. Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно, и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито:

— Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина!

Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бранился и грозил. Когда он наконец успокоился, Федор спросил угрюмо:

— А чем вы, барин, занимаетесь?

— Я przygotowляю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник.

Зазвонили к утрене. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь.

По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры... Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие — петь во все горло песни и играть на гармонике, а в общем всех ждет одно и то же, одна могила, и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

## I

Была темная, осенняя ночь. Старый банкир ходил у себя в кабинете из угла в угол и вспоминал, как пятнадцать лет тому назад, осенью, он давал вечер. На этом вечере было много умных людей и велись интересные разговоры. Между прочим, говорили о смертной казни. Гости, среди которых было немало ученых и журналистов, в большинстве относились к смертной казни отрицательно. Они находили этот способ наказания устаревшим, непригодным для христианских государств и безнравственным. По мнению некоторых из них, смертную казнь повсеместно следовало бы заменить пожизненным заключением.

— Я с вами не согласен,— сказал хозяин-банкир.— Я не пробовал ни смертной казни, ни пожизненного заключения, но если можно судить *a priori*<sup>1</sup>, то, по-моему, смертная казнь нравственнее и гуманнее заключения. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжение многих лет?

— То и другое одинаково безнравственно,— заметил кто-то из гостей,— потому что имеет одну и ту же цель — отнятие жизни. Государство — не бог. Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет.

---

<sup>1</sup> *зарансе, наперед (лат.).*

Среди гостей находился один юрист, молодой человек лет двадцати пяти. Когда спросили его мнения, он сказал:

— И смертная казнь и пожизненное заключение одинаково безнравственны, но если бы мне предложили выбирать между казнью и пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе. Жить как-нибудь лучше, чем никак.

Поднялся оживленный спор. Банкир, бывший тогда помоложе и нервнее, вдруг вышел из себя, ударил кулаком по столу и крикнул, обращаясь к молодому юристу:

— Неправда! Держу пари на два миллиона, что вы не высидите в каземате и пяти лет.

— Если это серьезно,— ответил ему юрист,— то держу пари, что высижу не пять, а пятнадцать.

— Пятнадцать? Идет! — крикнул банкир.— Господа, я ставлю два миллиона!

— Согласен! Вы ставите миллионы, а я свою свободу! — сказал юрист.

И это дикое, бессмысленное пари состоялось! Банкир, не знавший тогда счета своим миллионам, избалованный и легкомысленный, был в восторге от пари. За ужином он шутил над юристом и говорил:

— Образумьтесь, молодой человек, пока еще не поздно. Для меня два миллиона составляют пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучших года вашей жизни. Говорю — три-четыре, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточение гораздо тяжелее обязательного. Мысль, что каждую минуту вы имеете право выйти на свободу, отравит вам в каземате все ваше существование. Мне жаль вас!

И теперь банкир, шагая из угла в угол, вспоминал все это и спрашивал себя:

— К чему это пари? Какая польза от того, что юрист потерял пятнадцать лет жизни, а я брошу два миллиона? Может ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет и нет. Вздор и бессмыслица. С моей сто-

роны то была прихоть сытого человека, а со стороны юриста — простая алчность к деньгам...

Далее вспоминал он о том, что произошло после описанного вечера. Решено было, что юрист будет отбывать свое заключение под строжайшим надзором в одном из флигелей, построенных в саду банкира. Условились, что в продолжение пятнадцати лет он будет лишен права переступить порог флигеля, видеть живых людей, слышать человеческие голоса и получать письма и газеты. Ему разрешалось иметь музыкальный инструмент, читать книги, писать письма, пить вино и курить табак. С внешним миром, по условию, он мог сношаться не иначе, как молча, чрез маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Все, что нужно, книги, ноты, вино и прочее, он мог получать по записке в каком угодно количестве, но только через окно. Договор предусматривал все подробности и мелочи, делавшие заключение строго одиночным, и обязывал юриста высидеть *ровно* пятнадцать лет, с 12-ти часов 14 ноября 1870 г. и кончая 12-ю часами 14 ноября 1885 г. Малейшая попытка со стороны юриста нарушить условия, хотя бы за две минуты до срока, освобождала банкира от обязанности платить ему два миллиона.

В первый год заключения юрист, насколько можно было судить по его коротким запискам, сильно страдал от одиночества и скуки. Из его флигеля постоянно днем и ночью слышались звуки рояля! Он отказался от вина и табаку. Вино, писал он, возбуждает желания, а желания — первые враги узника; к тому же нет ничего скучнее, как пить хорошее вино и никого не видеть. А табак портит в его комнате воздух. В первый год юристу посылались книги преимущественно легкого содержания: романы с сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и т. п.

Во второй год музыка уже смолкла во флигеле, и юрист требовал в своих записках только классиков. В пятый год снова послышалась музыка, и узник попросил вина. Те, которые наблюдали за ним в окошко, говорили, что весь этот год он только ел, пил и

лежал на постели, часто зевал, сердито разговаривал сам с собою. Книг он не читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго и под утро разрывал на клочки все написанное. Слышали не раз, как он плакал.

Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир, между прочим, получил от своего узника такое письмо: «Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их сведущим людям. Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то, умоляю вас, прикажите выстрелить в сад из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа оттого, что я умею понимать их!» Желание узника было исполнено. Банкир приказал выстрелить в сад два раза.

Затем после десятого года юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в четыре года шестьсот мудреных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной и не толстой книги. На смену евангелию пошла история религий и богословие.

В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой!

## II

Старик банкир вспоминал все это и думал:

«Завтра в двенадцать часов он получает свободу. По условию, я должен буду уплатить ему два миллиона. Если я уплачу, то все погибло: я окончательно разорен...»

Пятнадцать лет тому назад он не знал счета своим миллионам, теперь же он боялся спросить себя, чего у него больше — денег или долгов? Азартная биржевая игра, рискованные спекуляции и горячность, от которой он не мог отрешиться даже в старости, мало-помалу привели в упадок его дела, и страшный, самонадеянный, гордый богач превратился в банкира средней руки, трепещущего при всяком повышении и понижении бумаг.

— Проклятое пари! — бормотал старик, в отчаянии хватая себя за голову. — Зачем этот человек не умер? Ему еще сорок лет. Он возьмет с меня последнее, женится, будет наслаждаться жизнью, играть на бирже, а я, как нищий, буду глядеть с завистью и каждый день слышать от него одну и ту же фразу: «Я обязан вам счастьем моей жизни, позвольте мне помочь вам!» Нет, это слишком! Единственное спасение от банкротства и позора — смерть этого человека!

Пробило три часа. Банкир прислушался: в доме все спали, и только слышно было, как за окнами шумели озябшие деревья. Стараясь не издавать ни звука, он достал из несгораемого шкафа ключ от двери, которая не отворялась в продолжение пятнадцати лет, надел пальто и вышел из дому.

В саду было темно и холодно. Шел дождь. Резкий сырой ветер с воем носился по всему саду и не давал покоя деревьям. Банкир напрягал зрение, но не видел ни земли, ни белых статуй, ни флигеля, ни деревьев. Подойдя к тому месту, где находился флигель, он два раза окликнул сторожа. Ответа не последовало. Очевидно, сторож укрылся от непогоды и теперь спал где-нибудь на кухне или в оранжерее.

«Если у меня хватит духа исполнить свое намерение,— подумал старик,— то подозрение прежде всего падет на сторожа».

Он нащупал в потемках ступени и дверь и вошел в переднюю флигеля, затем ошупью пробрался в небольшой коридор и зажег спичку. Тут не было ни души. Стояла чья-то кровать без постели, да темнела в углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей в комнату узника, были целы.

Когда потухла спичка, старик, дрожа от волнения, заглянул в маленькое окно.

В комнате узника тускло горела свеча. Сам он сидел у стола. Видны были только его спина, волосы на голове да руки. На столе, на двух креслах и на ковре, возле стола, лежали раскрытые книги.

Прошло пять минут, и узник ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилетнее заточение научило его сидеть неподвижно. Банкир постучал пальцем в окно, и узник не ответил на этот стук ни одним движением. Тогда банкир осторожно сорвал с двери печати и вложил ключ в замочную скважину. Заржавленный замок издал хриплый звук, и дверь скрипнула. Банкир ожидал, что тотчас же послышится крик удивления и шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо по-прежнему. Он решился войти в комнату.

За столом неподвижно сидел человек, не похожий на обыкновенных людей. Это был скелет, обтянутый кожей, с длинными женскими кудрями и с косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, с землистым оттенком, щеки впалые, спина длинная и узкая, а рука, которою он поддерживал свою волосатую голову, была так тонка и худа, что на нее было жутко смотреть. В волосах его уже серебрилась седина, и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не поверил бы, что ему только сорок лет. Он спал... Перед его склоненною головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то написано мелким почерком.

«Жалкий человек! — подумал банкир.— Спит и, вероятно, видит во сне миллионы! А стоит мне только взять этого полумертвеца, бросить его на постель,



слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не найдет знаков насильственной смерти. Однако прочтем сначала, что он тут написал...»

Банкир взял со стола лист и прочел следующее:

«Завтра в 12 часов дня я получаю свободу и право общения с людьми. Но, прежде чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов. По чистой совести и перед богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и все то, что в ваших книгах называется благами мира.

Пятнадцать лет я внимательно изучал земную жизнь. Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни, гонялся в лесах за оленями и дикими кабанами, любил женщин... Красавицы, воздушные, как облако, созданные волшебством ваших гениальных поэтов, посещали меня ночью и шептали мне чудные сказки, от которых пьянела моя голова. В ваших книгах я взбирался на вершины Эльборуса и Монблана и видел оттуда, как по утрам восходило солнце и как по вечерам заливалось оно небо, океан и горные вершины багряным золотом; я видел оттуда, как надо мной, рассекая тучи, сверкали молнии; я видел зеленые леса, поля, реки, озера, города, слышал пение сирен и игру пастушеских свирелей, осязал крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне беседовать о боге... В ваших книгах я бросался в бездонные пропасти, творил чудеса, убивал, сжигал города, проповедовал новые религии, завоевывал целые царства...

Ваши книги дали мне мудрость. Все то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдвинуто в моем черепе в небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас.

И я презираю ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Все ничтожно, брэнно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мышами, а потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром.

Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту. Вы удивились бы, если бы вследствие каких-нибудь обстоятельств на яблонях и апельсинных деревьях вместо плодов вдруг выросли лягушки и ящерицы или розы стали издавать запах вспотевшей лошади; так я удивляюсь вам, променявшим небо на землю. Я не хочу понимать вас.

Чтоб показать вам на деле презрение к тому, чем живете вы, я отказываюсь от двух миллионов, о которых я когда-то мечтал, как о рае, и которые теперь презираю. Чтобы лишиться себя права на них, я выйду отсюда за пять часов до условленного срока и таким образом нарушу договор...»

Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, но волнение и слезы долго не давали ему уснуть...

На другой день утром прибежали бледные сторожа и сообщили ему, что они видели, как человек, живущий во флигеле, пролез через окно в сад, пошел к воротам, затем куда-то скрылся. Вместе со слугами банкир тотчас же отправился во флигель и удостоверил бегство своего узника. Чтобы не возбуждать лишних толков, он взял со стола лист с отречением и, вернувшись к себе, запер его в несгораемый шкаф.

В большие, так называемые «Красные» ворота N-ского мужского монастыря въехала коляска, заложённая в четверку сытых, красивых лошадей; иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, еще издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.

Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение, потом ласково кивнула послушникам и направилась в покой.

— Что, соскучились без своей княгини? — говорила она монахам, вносившим ее вещи. — Я у вас целый месяц не была. Ну, вот приехала, глядите на свою княгиню. А где отец архимандрит? Боже мой, я сгораю от нетерпения! Чудный, чудный старик! Вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.

Когда вошел архимандрит, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла к нему под благословение.

— Нет, нет! Дайте мне поцеловать! — сказала она, хватая его за руку и жадно целуя ее три раза. — Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас! Вы небось забыли свою княгиню, а я каждую минуту мыс-

ленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо! В этой жизни для бога, вдали от суетного мира, есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу!

У княгини покраснели щеки и навернулись слезы. Говорила она без умолку, горячо, а архимандрит, старик лет семидесяти, серьезный, некрасивый и застенчивый, молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному:

— Так точно, ваше сиятельство... слушаю-с... понимаю-с...

— Надолго изволили пожаловать к нам? — спросил он.

— Сегодня я переночую у вас, а завтра поеду к Клавдии Николаевне — давно уж мы с ней не виделись, а послезавтра опять к вам и проживу дня три-четыре. Хочу у вас здесь отдохнуть душой, святой отец...

Княгиня любила бывать в N-ском монастыре. В последние два года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по два, по три, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах — все это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию и хорошим мыслям. Достаточно ей было побыть в покоях полчаса, как ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и от нее пахнет кипарисом; прошлое уходило куда-то вдаль, теряло свою цену, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои двадцать девять лет, она очень похожа на старого архимандрита и так же, как он, рождена не для богатства, не для земного величия и любви, а для жизни тихой, скрытой от мира, сумеречной, как покой...

Бывает так, что в темную келию постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна келии птичка и запоет свою песню; суровый постник невольно улыбнется, и в его груди из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая, безгрешная радость.

Княгине казалось, что она приносила с собою извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: «Бог послал нам ангела...» И, чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село. От монастырского цветника повеяло на княгиню душистой влагой только что политой резеды, из церкви донеслось тихое пение мужских голосов, которое издали казалось очень приятным и грустным. Шла всенощная. В темных окнах, где кротко мерцали лампадные огоньки, в тених, в фигуре старика монаха, сидевшего на паперти около образа с кружкой, было написано столько безмятежного покоя, что княгине почему-то захотелось плакать...

А за воротами, на аллее между стеной и березами, где стоят скамьи, был уже совсем вечер. Воздух темнел быстро-быстро... Княгиня прошла по аллее, села на скамью и задумалась.

Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как летний вечер; хорошо бы позабыть совсем о неблагодарном, распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой клочьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи, как два послушника — один верхом на пегой лошади, другой пешком — гонят лошадей на ночное и, обрадовавшись свободе, шалят, как малые дети; их молодые голоса звонко раздают-

ся в неподвижном воздухе, и можно разобрать каждое слово. Хорошо сидеть и прислушиваться к тишине: то ветер подует и тронет верхушки берез, то лягушка зашелестит в прошлогодней листве, то за стеною колокольные часы пробьют четверть... Сидеть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха с котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-нибудь ласковое, задушевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за угол.

Немного погодя на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился, и по его большой лысине и острому, горбатому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича, который лет пять тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.

— Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете? — спросила она, приветливо улыбаясь.

— Нет, княгиня, узнал,— сказал доктор, снимая еще раз шляпу.

— Ну, спасибо, а то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнят только своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться?

— Я здесь каждую субботу ночую, по обязанности. Я тут лечу.

— Ну, как поживаете? — спросила княгиня, вздыхая.— Я слышала, у вас скончалась супруга! Какое несчастье!

— Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

— Что делать! Мы должны с покорностью переносить несчастья. Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека.

— Да, княгиня.

На приветливую, кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: «Да, княгиня». И выражение лица у него было холодное, сухое.

«Что бы еще такое сказать ему?» — подумала княгиня.

— Сколько времени мы с вами не виделись, однако! — сказала она. — Пять лет! За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно! Вы знаете, я замуж вышла... из графини стала княгиней. И уже успела разойтись с мужем.

— Да, я слышал.

— Много бог послал мне испытаний! Вы, вероятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софьино. Остались у меня только Бараново да Михальцево. Страшно оглянуться назад: сколько перемен, несчастий разных, сколько ошибок!

— Да, княгиня, много ошибок!

Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки; все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них. Она не удержалась и спросила:

— Вы про какие ошибки думаете?

— Вы упомянули о них, стало быть, знаете... — ответил доктор и усмехнулся. — Что ж о них говорить!

— Нет, скажите, доктор. Я буду вам очень благодарна! И, пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

— Я вам не судья, княгиня.

— Не судья? Каким вы тоном говорите, значит, знаете что-то. Скажите!

— Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить и меня не всегда можно понять.

Доктор подумал и начал:

— Ошибок много, но, собственно, главная из них, по моему мнению, это общий дух, которым... который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное — это нелюбовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам... одним словом, ко все-

му, что составляет человека. У всех дверей и на лестницах стоят сытые, грубые и ленивые гайдуки в ливреях, чтоб не пускать в дом неприлично одетых людей; в передней стоят стулья с высокими спинками, чтоб во время балов и приемов лакеи не пачкали затылками обоев на стенах; во всех комнатах шершавые ковры, чтоб не было слышно человеческих шагов; каждого входящего обязательно предупреждают, чтобы он говорил потише и поменьше и чтоб не говорил того, что может дурно повлиять на воображение и нервы. А в вашем кабинете не подадут человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть...

— Извольте, если хотите! — сказала княгиня, протягивая руку и улыбаясь. — Право, сердиться из-за такого пустяка...

— Да разве я сержусь? — засмеялся доктор, но тотчас же вспыхнул, снял шляпу и, размахивая ею, заговорил горячо: — Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтоб сказать вам все, все... То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего!

— У меня отвращение к людям! — улыбнулась княгиня, пожимая в изумлении плечами. — У меня!

— Да, у вас! Вам нужно фактов? Извольте! В Михальцеве у вас живут милостыней три бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, обьелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом... Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку! Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником...



Хорошо это? Ваши управляющие-поляки, эти подлые шпионы, все эти Казимиры да Каэтаны рыщут от утра до ночи по десяткам тысяч десятин и в угоду вам стараются содрать с одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего! Простой народ у вас не считают людьми. Да и тех князей, графов и архиереев, которые приезжали к вам, вы признавали только как декорацию, а не как живых людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущает,— иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для людей, ничего!

Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном. Неприятный сердитый голос доктора и его неуклюжая, заикающаяся речь производили в ее ушах и голове резкий, стучащий шум, потом же ей стало казаться, что жестикулирующий доктор бьет ее своею шляпой по голове.

— Неправда! — выговорила она тихо и умоляющим голосом.— Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете!

— Да полноте! — крикнул доктор.— Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? Ведь то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дети и глупые бабы! Взять хоть этот ваш — как его? — странно-приимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекуницей. О господи боже наш, что за учреждение милое! Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше, собрали в деревне с десятков старух и заставили их спать под байковыми одеялами, на простынях из голландского полотна и кушать леденцы.

Доктор злорадно прыснул в шляпу и продолжал быстро и заикаясь:

— Была игра! Низшие приютские чины прячут одеяла и простыни под замок, чтобы старухи не пач-

кали — пусть спят, чертовы перечницы, на полу! Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров, а старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради, и денно и ночью молили бога, чтоб поскорее уйти из-под ареста и от душеспасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. А высшие чины что делали? Это просто восхитительно! Этак раза два в неделю, вечером, скачут тридцать пять тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то есть вы, будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Около них ходит отставная гарнизонная крыса — смотритель со своей сладенькой, ябеднической улыбочкой. Старухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий, потом главноуправляющий конторой экономии, потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь... скачут без конца! У всех таинственные, торжественные лица. Ждем, ждем, переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы — все это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час, другой, и вот наконец показывается вдали коляска, и... и...

Доктор залился тонким смехом и выговорил то-неньким голоском:

— Вы выходите из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной крысы начинают петь: «Коль славен наш господь в Сионе, не может изъяснить язык...» Недурно?

Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и

веселого, но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.

— А школа? — продолжал он, тяжело дыша от смеха. — Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтоб они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам — все матери брали их с собой в поле. Потом староста приказал матерям по очереди оставлять своих младенцев вам на потеху. Удивительное дело! Все бежали от ваших благодеяний, как мыши от кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а оттого, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия! Было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого... Кто не умеет отличать людей от болонок, тот не должен заниматься благотворением. Уверяю вас, между людьми и болонками — большая разница!

У княгини страшно билось сердце, в ушах у нее стучало, и все еще ей казалось, что доктор долбит ее своей шляпой по голове. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканьем и с излишней жестикуляцией; для нее было только понятно, что с нею говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек, но чего он хочет от нее и о чем говорит — она не понимала.

— Уйдите! — сказала она плачущим голосом, поднимая вверх руки, чтобы заслонить свою голову от докторской шляпы. — Уйдите!

— А как вы обращаетесь со своими служащими! — продолжал возмущаться доктор. — Вы их за людей не считаете и третируете, как последних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил десять лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков,

заслужил любовь всех на сто верст кругом, и вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу! За что? До сих пор не понимаю! Я доктор медицины, дворянин, студент Московского университета, отец семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин! Зачем со мной церемониться? Я слышал поюм, что жена, без моего ведома, тайком ходила к вам раза три просить за меня и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. И я этого никогда не прощу ей, покойнице! Никогда!

Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, что бы еще такое сказать очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное, холодное лицо его вдруг просияло.

— Взять хоть бы ваши отношения к этому монастырю! — заговорил он с жадностью. — Вы никогда никого не щадили, и чем святее место, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба и что вы Гекубе? Опять-таки забава, игра, кощунство над человеческою личностью, и больше ничего. Ведь в монашеского бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах; на обряды церковные вы смотрите снисходительно, к обедне и ко всенощной не ходите, спите до полудня... зачем же вы сюда ездите?.. В чужой монастырь вы ходите со своим богом и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя! Как бы не так! Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера готовляли для вас покой и ждали. Сегодня прибыл авангард — наглая горничная, которая то и дело бежит через двор, шуршит, пристаёт с вопросами, распоряжается... терпеть не могу! Сегодня монахи весь день были настороже: ведь если вас не встретить с це-

ремонией — беда! Архирею пожалуетесь! «Меня, ваше преосвященство, монахи не любят. Не знаю, чем я их прогневала. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна!» Уж одному монастырю была из-за вас нахлобучка. Архимандрит занятой, ученый человек, у него и минуты нет свободной, а вы то и дело требуете его к себе в покои. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы, жертвовали много, не так бы уж обидно было, а то ведь за все время монахи от вас и ста рублей не получили!

Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь в конце концов она закрыла лицо и заплакала тонким, детским голоском. Доктор вдруг замолчал и посмотрел на нее. Лицо его потемнело и стало суровым.

— Простите меня, княгиня,— сказал он глухо.— Я поддался злomu чувству и забылся. Это нехорошо. И, конфузливо кашлянув, забывая надеть шляпу, он быстро отошел от княгини.

На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши.

Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно быть, девятого. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам. Она чувствовала себя обиженной и плакала, и ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучие мыши жалеют ее; и часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь: в тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, не понятая людьми, и только бы один бог да звездное небо видели слезы страдальцы. В церкви еще продолжалась всенощная. Княгиня остановилась и прислушалась к пению; как хорошо это пение звучало в неподвижном, темном воздухе! Как сладко под это пение плакать и страдать!

Придя к себе в покои, она поглядела в зеркало на

свое заплаканное лицо и попудрилась, потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом, и каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это. Кушая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться; она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будет молиться за врагов своих, и тогда все вдруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно...

А после ужина она опустила в углу перед образом на колени и прочла две главы из евангелия. Потом горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула, как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утром она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятого. На ковре около кровати тянулась узкая, яркая полоса света от луча, который шел из окна и чуть-чуть освещал комнату. За черной занавеской на окне шумели мухи.

«Рано!» — подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором и все те мысли, с какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потом пришли ей на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющие, доктора, соседи, знакомые чиновники... Длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумели проникнуть в ее душу и понять ее, то все они были бы у ее ног...

В четверть двенадцатого она позвала горничную.

— Давайте, Даша, одеваться,— сказала она тихо.— Впрочем, сначала подите скажите, чтобы запрягли лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.

Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия: день был удивительно хорош! Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой и сказала:

— Прощайте, мои друзья! До послезавтра.

Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово.

— Княгиня,— сказал он, снимая шляпу и виновато улыбаясь,— я уже давно жду вас тут. Простите, бога ради... Нехорошее, мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам... глупостей. Одним словом, я прошу прощения.

Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покати́л к воротам, потом по пыльной дороге мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами в монастырь, она все еще шурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собою теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь, и княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

— Как я счастлива! — шептала она, закрывая глаза.— Как я счастлива!

## СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ

*Из записок старого человека*

### I

Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере за последние двадцать пять — тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.

Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границу оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всеу в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнисе. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный



и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей... Вообще на моем учебном имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что Оно счастливо.

Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic'ом. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь — все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве, когда бываю я болен tic'ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».

Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерять чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избежать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений — то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным

письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.

Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится встать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сажу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно, в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф, или неожиданно загудит горелка в лампе — и все эти звуки почему-то волнуют меня.

Не спать ночью — значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет малопомалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса...

День начинается у меня приходом жены. Она вхо-

дит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

— Извини, я на минутку... Ты опять не спал?

Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей — это главным образом и служит темой для нашего разговора.

— Конечно, это нам тяжело,— вздыхает жена,— но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое... Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?

Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки — и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешево,— неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варей, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?

Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку — нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и, чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.

— Что ж это я сижу? — говорит она, поднимаясь. — Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!

Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев — пятьдесят!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:

— Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!

И, попрекнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.

Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:

— Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороже-

ное для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

— Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья... Заложите все это, тебе нужны деньги...»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня бог,— мне не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.

В без четверти десять нужно идти к моим милым

мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «Historia morbi»<sup>1</sup>. Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не отремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега... На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих... Вот и наш сад. С тех пор как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное... Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.

Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крикает и говорит:

— Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

---

<sup>1</sup> «История болезни» (лат.).

— Дождик, ваше превосходительство!

Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает! Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших *все*, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого... Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но procedите

их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.

В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остроумиями, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.

Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как двадцать лет назад.

За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет тридцати пяти, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное — и в этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем — это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

— Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер.



Николай перскрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:

— Какой это Скобелев?

В другой раз — это было несколько раньше — я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил:

— А что он читал?

Кажется, запсй у него под самым ухом Патти, напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевелинется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.

Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно не знаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука — медицина, самые лучшие люди — врачи, самые лучшие традиции — медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция — белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.

Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десятков добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.

Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь... Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное: «В прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и — пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтора лица, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую

гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разума, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтора лица широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря... Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.

Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать,— это прочесть мальчишкам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцать — тридцать лет назад, так и теперь перед смертью меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

Но не в этом дело. Я только прошу снизить к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мной происходит нечто

странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу. Нелегко переживать такие минуты.

## II

После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:

— Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по галиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной вроде: «Вы изволили справедливо заметить» или: «Как я уже имел честь вам сказать», не можем, что-

бы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожая до передней; тут помогаю товарищу падеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда наконец я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть по инерции.

Немного погодя другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.

— Садитесь,— говорю я гостю.— Что скажете?

— Извините, профессор, за беспокойство...— начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо.— Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что...

Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

— Извините, мой друг,— говорю я гостю,— поставить вам удовлетворительно я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.

Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:

— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать,— это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удастся выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желаний, ни призвания быть врачом.

Лицо сангвника вытягивается.

— Простите, профессор,— усмехается он,— но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Прочиться пять лет и вдруг... уйти!

— Ну да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.

Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:

— Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда? — глухо спрашивает лентяй.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Придти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

— Конечно,— говорю я,— вы не станете учение оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно.

Голос у сангвника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежа-нья на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

— Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я...

Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

— В таком случае прощайте... Извините.

— Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.

Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!

Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.

— Очень рад быть полезным, коллега,— говорю я,— но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...

Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.

— Что вы все ко мне ходите, не понимаю? — кричу я сердито.— Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!

Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и



мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком.

— У меня не лавочка! — сержусь я. — И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень.

Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос...

Восемнадцать лет тому назад умер мой товарищ окулист и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и жила у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это — необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопчет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.



К повести «Скучная история».

*Художник А. Ванецян. 1954.*



— Студенты дерутся в университете? — спрашивает она.

— Дерутся, милая.

— А вы ставите их на колени?

— Ставлю.

И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть — и только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»

Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катей, когда ей было четырнадцать — пятнадцать лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

— Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

— Даю тебе полчаса. Начинай.

Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда

кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров; можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошею.

В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был тридцать — сорок лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошеное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.

Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймает. Не знаю, что будет через пятьдесят — сто лет, но при настоящих условиях театр

может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы — лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.

И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице,— и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.

Не прошло и полгода, как я получил в высшей сте-

пени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев; денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества... Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.

Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей — это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погребло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.

В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять,

что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и, вместо того чтоб вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль...» и так далее, все в таком роде.

Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ее *он* принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.



Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!

Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела — мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног — ковры, для ленивого зрения — линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души — избытие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей... Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как

она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.

В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.

— Прощайте,— говорит Катя.— Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:

— А вы все худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.

— Не нужно, Катя.

— Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.

Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:

— У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно...

— Мама! — говорит ей укоризненно Лиза.— Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.

— Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.

Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутора ста молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться, как мужчина.

Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.

Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подружки дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше тридцати лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакеннами около ушей и с нафабранными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает

он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом, и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.

Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого к тому же мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.

Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки...

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый, с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласк и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше уменья пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет леща с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катиной щеки в тарелку с супом.

Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится... Скажите: ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» — и все в таком роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для

меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим; на слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их.

Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня *voŕtre excellence*<sup>1</sup>.

А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым

---

<sup>1</sup> ваше превосходительство (*франц.*).

только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.

После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей, скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.

— Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч,— начинает она.— Я насчет Лизы... Отчего ты не обратишь внимания?

— То есть?

— Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным... Гнеккер имеет насчет Лизы намерения... Что ты скажешь?

— Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.

— Но так нельзя... нельзя...

Она встает и ходит в волнении.

— Так нельзя относиться к серьезному шагу...— говорит она.— Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится... Хорошо... Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии... Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей... Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый.

— Откуда тебе это известно?

— Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.

— Зачем?

— Ты разумеешь там... У тебя там есть знакомые

профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу...

— Не поеду я в Харьков,— говорю я уग्रюмо.

Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.

— Ради бога, Николай Степаныч! — умоляет она меня всхлипывая.— Ради бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мне становится больно глядеть на нее.

— Хорошо, Варя,— говорю я ласково.— Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.

Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь... Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?

Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.

### III

По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.



— А ты все лежишь,— говорю я, помолчав немного и отдохнув.— Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!

— А?

— Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.

— Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.

— Ну, что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.

Молчит.

— Замуж бы выходила,— говорю я полушутя.

— Не за кого. Да и незачем.

— Так жить нельзя.

— Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.

— Это, Катя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вот то, что ты сейчас сказала.

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:

— Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнату и говорит, указывая на письменный стол:

— Вот... Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я попрошу и пожалуюсь, то мне станет легче.

— Плохо дело, моя милая! — начинаю я со вздохом.— Очень плохо...

— Что такое?

— Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилова-

ния. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил — я ведь болен и каждый день теряю в весе,— то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными...

— Болезнь тут ни при чем,— перебивает меня Катя.— Просто у вас открылись глаза; вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

— Ты говоришь нелепости.

— Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой?

И разве это семья? Ничтожества! Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.

Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.

— Ничтожества! — повторяет она. — Вы обедали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?

— Катя, — говорю я строго, — прошу тебя замолчать.

— А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше.

— Что за вздор! А университет?

— И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

— Боже мой, как ты резка! — ужасаюсь я. — Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!

Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.

— Бывало, гуляю я по нашему семинарскому са-

ду...— рассказываю я.— Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки... Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины — одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.

Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:

— Это, должно быть, Михаил Федорович.

И в самом деле, через минуту входит мой товарищ филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет пятидесяти, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.

Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:

— Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить, это постоянно шуточный тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутовскому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.

— Ох, господи! — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями.— Бывают же на свете такие комики!

— А что? — спрашивает Катя.

— Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN... Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня — теперь погиб, пропало дело...

И так далее в таком роде. Или же он начинает так:

— Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как это наша *alma mater*<sup>1</sup>, не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю... Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с тою, какая бывает у

---

<sup>1</sup> мать-кормилица (*лат.*).— Так в старину называли высшую школу люди, ее окончившие.

нас в актовом зале на годовичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее черт взял.

И тотчас же резкий переход:

— Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками — просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава богу, осталось еще только десять страниц». А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам! Назло! Взял и прочел все четыре страницы.

Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан или выслушивает ее замечание, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое...

Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя любила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее все-таки, раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рю-

мок, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет.

За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

— Наука, слава богу, отжила свой век,— говорит Михаил Федорович с расстановкой.— Ее песня уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли?

— И мухи не знают науки,— говорю я,— но что же из этого?

— Вы напрасно сердитесь, Николай Степаныч. Я ведь это говорю здесь, между нами... Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси бог! В массе живет предрассудок, что науки и искусства выше земледелия, торговли, выше ремесл. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его. Спаси бог!

За пасьянсом достается на орехи и молодежи.

— Измельчала нынче наша публика,— вздыхает Михаил Федорович.— Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколенье».

— Да, ужасно измельчали,— соглашается Катя.— Скажите, в последние пять — десять лет был ли у вас хоть один выдающийся?

— Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.

— Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров... Что ж? Ни разу не

сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуту претензиями...

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть сформулировано с возможною определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.

Я старик, служу уже тридцать лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски; не дальше, как вчера, мой товарищ-гигиенист жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно незнакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Эпиктет или Паскаль, и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер



(например, переселенческий), они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до сорока лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д. и т. д.

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, преходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий; достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые в свою очередь будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с тою радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.

— Уморительные попадаютсся субъекты,— говорит Михаил Федорович.— Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза, из ваших же медиков, третьего курса, кажется. Лицо этакое.. в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, говорю, молодой человек. Читал я, говорю, что какой-то немец — забыл его фамилию — добыл из человеческого мозга новый алколоид идиотин». Что ж вы думаете? Поверил и даже на

лице своем уважение изобразил: знай, мол, наших! А то наемни прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два: один «из насих» и, по-видимому, юрист, другой лохматый — медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену — ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» — «Благородно», — отвечает «из насих». «Браво! — орет медик. — Бла-а-родно. Bravo!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.

А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный: вдыхания быстро и ритмически правильно чередуются с выдыханиями — похоже на то, как будто она играет на гармонике — и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу:

— Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора: одиннадцатый час.

— А я еще посижу немножко, — говорит Михаил Федорович. — Позволяете, Екатерина Владимировна?

— Позволяю, — отвечает Катя.

— Вепе <sup>1</sup>. В таком случае прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожают меня со свечами в переднюю, и, пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит:

— В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?

— Да, болен немножко.

— И не лечится... — угрюмо вставляет Катя.

— Отчего же не лечитесь? Как можно так? Бере-

---

<sup>1</sup> Хорошо (лат.),

женого, милый человек, бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях, перед отъездом за границу, приду проститься. Непременно! На будущей неделе уезжаю.

Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия...» И это лишит меня последней надежды.

У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам; когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это.

Покрыто ли небо тучами, или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, яркие, поразительны... Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое мирозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю:

«Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней.

Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом — бессонница...

#### IV

Наступает лето, и жизнь меняется.

В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном:

— Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями.

Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а

в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без но; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние десять — пятнадцать лет: ни одной замечательной, и не обойдешься без но. Умно, благородно, но неталантливо; талантливо, благородно, но неумно, или, наконец, — талантливо, умно, но неблагородно.

Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности... Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осгорожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества.

Все это относится к так называемой изящной словесности.

Что же касается русских серьезных статей, например по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный

страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее — все это для меня непонятно, страшно и все это не похоже на скромность и джентльменски-покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и *sic*<sup>1</sup> в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора и на мою читательскую самостоятельность.

Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд; в антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я несколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же, наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, *ultima ratio*!<sup>2</sup> Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я несколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние десять — пятнадцать лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.

---

<sup>1</sup> так (*лат.*).

<sup>2</sup> последний довод! (*лат.*)

Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны зубцы моего палисадника, два-три тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я люблюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гряди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.

Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою.

— Что скажешь? — спрашиваю я, выходя к нему в сени.

— Ваше превосходительство! — говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. — Ваше превосходительство! Накажи меня бог! Убей гром на этом месте! Гаудеамус игитур ювенестус! <sup>1</sup>

И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.

— Все у нас там благополучно? — спрашиваю я его.

— Ваше превосходительство! Как перед истинным...

Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам специально за тем, чтобы провести и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол; и все время он тихим, ровным голоском, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости,

---

<sup>1</sup> Искаженное начало старинной студенческой песни: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus» — «Будем веселиться, пока молоды» (лат.).

вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сделал открытие, другой — немец — уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий — тоже немец — перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволошались, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто Пти, а непременно Жан-Жак Пти. Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится; ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.

При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею... Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «Уйди, уйди, уйди...» Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит...

Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли: «Очень возможно, что, когда я умру, его назначат на мое место», — и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает, по обычаю, превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:



— Ослы ваши немцы...

Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик!»

Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлечшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды, я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:

Орлам случается и ниже кур спускаться,  
Но курам никогда до облак не подняться...

И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечает на мои колкости снисходительным молчанием (спятил, мол, старик — что с ним разговаривать?) или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек! Я в состоянии в продолжение всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их, — и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле!

Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне ни совестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда.

Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит, по обыкновению, жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть сво-

бодное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнеккер.

— Хорошо, съезжу...— соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит:

— Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя... Извини, Николай Степаныч, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе... К тому же у нее такая репутация, что...

Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим, отчаянным голосом. На наш крик бегают Лиза, Гнеккер, потом Егор...

— Оставьте меня! — кричу я.— Вон! Оставьте!

Ноги мои немеют, точно их нет совсем, я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три.

Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером, и этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера... Часто я спрашиваю ее:

— Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?

— Там увидим,— отвечает она.

— Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом.

— Об этом вы уже говорили мне. Знаю.

Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасною, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью и приятно, что погода хороша и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей.

— Вы очень хороший человек, Николай Степаныч,— говорит она.— Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?

Она минуту думает и спрашивает меня:

— Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?

— Да,— отвечаю я.

— Гм... Что же мне делать?

Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.

Мои товарищи терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.

Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:

— У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?

— Не могу.

— Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не сделала, чтобы те и другие

стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству...

— Не лукавьте, Николай Степаныч,— перебивает меня Катя.— Давайте раз навсегда условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще... я не люблю этих разговоров об искусстве! — продолжает она нервно.— Не люблю! И так уж опошили его, благодарю покорно!

— Кто опошил?

— Те опошили его пьянством, газеты — фамильярным отношением, умные люди — философией.

— Философия тут ни при чем.

— При чем. Если кто философствует, то это значит, что он не понимает.

Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю:

— Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?

— Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! — вскрикивает она и вдруг вся краснеет.— Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это... это вам нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и... и много самолюбия! Вот!

Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи.

Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас.

— Опять этот Михаил Федорыч! — говорит Катя с досадой.— Уберите его от меня, пожалуйста! Надоел, выдохся... Ну его!

Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли кое-какие перемены: он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают седеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным мотивировать свой приезд какою-нибудь очевидною нелепостью вроде: «Ехал мимо по делу и дай, думаю, заеду на минутку».

Все трое мы идем в комнаты; сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не новы, все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру; воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный, дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы: хе-хе-хе...

## У

Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни...

Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый

конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево.

Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса; на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать...

Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке, и все это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина.

Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне.

Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду... Спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь, и такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку...

— Киви-киви! — раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это: в моей груди или на улице?

— Киви-киви!

Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще не изведенная боль?

Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется... Прислушиваюсь. Немного погодя на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.

— Кто там? — кричу я.

Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы.

— Ты не спишь, Николай Степаныч? — спрашивает она.

— Что тебе?

— Ради бога, сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается...

— Хорошо... с удовольствием... — бормочу я, очень довольный тем, что я не один. — Хорошо... Сию минуту.

Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата, я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. «Сейчас умру здесь, на этой лестнице, — думаю я. — Сейчас...» Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной ссрочке, свесив босые ноги, и стонет.

— Ах, боже мой... ах, боже мой! — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. — Не могу, не могу...

— Лиза, дитя мое, — говорю я. — Что с тобой?

Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.

— Папа мой добрый... — рыдает она, — папа мой хороший... Крошечка мой, миленький... Я не знаю, что со мною... Тяжело!

Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком.

— Успокойся, дитя мое, бог с тобой, — говорю я. — Не нужно плакать. Мне самому тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей.

— Да помоги же ей, помоги! — умоляет жена. — Сделай что-нибудь!

Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе

у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать:

— Ничего, ничего... Это пройдет... Спи, спи...

Как нарочно, в нашем дворе раздается вдруг собачий вой, сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой.

«Пустяки...— думаю я.— Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке, вот и все... Этой передачей объясняются предчувствия, предвидения...»

Когда я немного погодя возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжело, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать, и все-таки стою...

Тишина мертвая, такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли... Рассвет еще не скоро.

Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревьев ветку, осторожно стучит ею по окну.

— Николай Степаныч! — слышу я шепот.— Николай Степаныч!

Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон: под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное, подбородок дрожит.

— Это я...— говорит она.— Я... Катя!

При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными, люди выше и бледнее и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту.



— Что тебе?

— Простите,— говорит она.— Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело... Я не выдержала и поехала сюда... У вас в окне свет, и... и я решила постучать... Извините... Ах, если б вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?

— Ничего... Бессонница.

— У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки.

Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно не виданным выражением доверчивости.

— Николай Степаныч! — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки.— Дорогой мой, прошу вас... умоляю. Если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите от меня мои деньги!

— Ну, вот еще что выдумала! На что мне твои деньги?

— Вы поедете куда-нибудь лечиться... Вам нужно лечиться. Возьмете? Да? Голубчик, да?

Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет:

— Да? Возьмете?

— Нет, мой друг, не возьму...— говорю я.— Спасибо.

Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах.

— Поезжай домой спать,— говорю я.— Завтра увидимся.

— Значит, вы не считаете меня своим другом? — спрашивает она уныло.

— Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны.

— Извините...— говорит она, понизив голос на целую октаву.— Я понимаю вас... Одолжаться у такого человека, как я... у отставной актрисы... Впрочем, прощайте...

И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей прощай.

Я в Харькове.

Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны хотя с формальной стороны; если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так оравнодушел ко всему, что мне положительно все равно, куда ни ехать, в Харьков, в Париж ли, или в Бердичев.

Приехал я сюда часов в двенадцать дня и остановился в гостинице, недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду тiс'а. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы.

Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на пять и задаю ему несколько вопросов насчет Гнеккера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, знает этот город, как свои пять пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнеккера. Расспрашиваю насчет имений — то же самое.

В коридоре часы бьют час, потом два, потом три... Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностию времени, как теперь. Прежде, бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверть часа кажутся вечностью, теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь, и послезавтра...

В коридоре бьет пять часов, шесть, семь... Становится темно.

В щеке тупая боль — это начинается tic. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю: зачем я, знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком номере, на этой кровати с чужим серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве все это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в «Ниве» и во «Всемирной иллюстрации», свою биографию я читал даже в одном немецком журнале — и что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою большую щеку... Семейные дразги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях — все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина; во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но все это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве... В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло.

Часов в десять я засыпаю и, несмотря на tic, сплю крепко и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале второго часа вдруг раздается стук в дверь.

— Кто там?

— Телеграмма!

— Могли бы и завтра,— сержусь я, получая от коридорного телеграмму.— Теперь уж я не усну в другой раз.

— Виноват-с. У вас огонь горит, я думал, что вы не спите.

Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: от жены. Что ей нужно?

«Вчера Гнеккер тайно обвенчался с Лизой. Возвратись».

Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть.

Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чем думать? Кажется, все уж передумано и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.

Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колена, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совет; жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.

Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем

желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека.

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.

При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеют значение только симптома и больше ничего.

Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет.

Утром коридорный приносит мне чай и номер местной газеты. Машинально я прочитываю объявления на первой странице, передовую, выдержки из газет и журналов, хронику... Между прочим, в хронике я нахожу такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице».

Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову; месяца че-

рез три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце,— и это в то время, когда я буду уж покрыт мохом...

Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен.

— Кто там? Войдите!

Дверь отворяется, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоит Катя.

— Здравствуйте,— говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице.— Не ожидали? Я тоже... тоже сюда приехала.

Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здоруетесь? Я тоже приехала... сегодня... Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам.

— Очень рад видеть тебя,— говорю я, пожимая плечами,— но я удивлен... Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?

— Я? Так... просто взяла и приехала.

Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне.

— Николай Степаныч! — говорит она, бледнея и сжимая на груди руки.— Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?

— Что же я могу сказать? — недоумеваю я.— Ничего я не могу.

— Говорите же, умоляю вас! — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом.— Клянусь вам, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет!

Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топчет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.

— Помогите мне! Помогите! — умоляет она.— Не могу я дольше!

Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые

с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страстн...».

— Ничего я не могу сказать тебе, Катя,— говорю я.

— Помогите! — рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее.— Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?

— По совести, Катя: не знаю...

Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах.

— Давай, Катя, завтракать,— говорю я, натянуто улыбаясь.— Будет плакать!

И тотчас же я прибавляю упавшим голосом:

— Меня скоро не станет, Катя...

— Хоть одно слово, хоть одно слово! — плачет она, протягивая ко мне руки.— Что мне делать?

— Чудачка, право...— бормочу я.— Не понимаю! Такая умница и вдруг — на тебе! расплакалась...

Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, пстом комкает письма и сует их в сумочку — и все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово... Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!

— Давай, Катя, завтракать,— говорю я.

— Нет, благодарю,— отвечает она холодно.

Еще одна минута проходит в молчании.

— Не нравится мне Харьков,— говорю я.— Серо уж очень. Какой-то серый город.

— Да, пожалуй... Некрасивый... Я ненадолго сюда... Мимоездом. Сегодня же уеду.

— Куда?

— В Крым... то есть на Кавказ.

— Так. Надолго?

— Не знаю.

Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку.

Мне хочется спросить: «Значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей... Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется.

Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!



## БОРЫ

Фельдшер Ергунов, человек пустой, известный в уезде за большого хвастуна и пьяницу, как-то в один из святых вечеров возвращался из местечка Репина, куда ездил за покупками для больницы. Чтобы он не опоздал и пораньше вернулся домой, доктор дал ему самую лучшую свою лошадь.

Сначала погода стояла ничего себе, тихая, но часам к восьми поднялась сильная метель, и когда до дому оставалось всего верст семь, фельдшер совершенно сбился с пути...

Править лошадью он не умел, дороги не знал и ехал на авось, куда глаза глядят, надеясь, что сама лошадь вывезет. Прошло так часа два, лошадь замучилась, сам он озяб, и уж ему казалось, что он едет не домой, а назад в Репино; но вот сквозь шум метели послышался глухой собачий лай, и впереди показалось красное, мутное пятно, мало-помалу обозначились высокие ворота и длинный забор, на котором остриями вверх торчали гвозди, потом из-за забора вытянулся кривой колодезный журавль. Ветер прогнал перед глазами снеговую мглу, и там, где было красное пятно, вырос небольшой, приземистый домик с высокими камышовой крышей. Из трех окошек одно, завешенное изнутри чем-то красным, было освещено.

Что это был за двор? Фельдшер вспомнил, что вправо от дороги, на седьмой или шестой версте от больницы, должен был находиться постоянный двор

Андрея Чирикова. Вспомнил он также, что после этого Чирикова, убитого недавно ямщиками, осталась старуха и дочка Любка, которая года два назад приезжала в больницу лечиться. Двор пользовался дурной славой, и заехать в него поздно вечером, да еще с чужою лошадию, было не безопасно. Но делать было нечего. Фельдшер нащупал у себя в сумке револьвер и, строго кашлянув, постучал кнутовищем по оконной раме.

— Эй, кто здесь есть? — крикнул он. — Старушка божья, пусти-ка погреться!

Черная собака с хриплым лаем кубарем покати-лась под ноги лошади, потом другая, белая, потом еще черная — этак штук десять! Фельдшер высмотрел самую крупную, размахнулся и изо всей силы хлестнул по ней кнутом. Небольшой песик на высоких ногах поднял вверх острую морду и завыл тонким, пронзительным голоском.

Долго стоял фельдшер у окна и стучал. Но вот за забором, около дома, на деревьях зарделся иней, ворота заскрипели, и показалась закутанная женская фигура с фонарем в руках.

— Пусти, бабушка, погреться, — сказал фельдшер. — Ехал в больницу и с дороги сбился. Погода, не приведи бог. Ты не бойся, мы люди свои, бабушка.

— Свои все дома, а чужих мы не звали, — сурово проговорила фигура. — И что стучать зря? Ворота не заперты.

Фельдшер въехал во двор и остановился у крыльца.

— Вели-ка, бабка, работнику, чтоб лошадь мою убрал, — сказал он.

— Я не бабка.

И в самом деле, это была не бабка. Когда она тушила фонарь, лицо ее осветилось и фельдшер увидел черные брови и узнал Любку.

— Какие теперь работники? — проговорила она, идя в дом. — Которые пьяные спят, а которые еще с утра в Репино поуходили. Дело праздничное...

Привязывая под навесом свою лошадь, Ергунов услышал ржанье и разглядел в потемках еще чью-то лошадь и нащупал на ней казацкое седло. Значит, в

доме, кроме хозяек, был и еще кто-то. На всякий случай фельдшер расседлал свою лошадь и, идя в дом, захватил с собой и покупки и седло.

В первой комнате, куда он вошел, было просторно, жарко натоплено и пахло недавно вымытыми полами. За столом под образами сидел невысокий, худощавый мужик лет сорока, с небольшой русой бородкой и в синей рубахе. Это был Калашников, отъявленный мошенник и конокрад, отец и дядя которого держали в Богалёвке трактир и торговали, где придется, краденными лошадьми. В больнице и он бывал не раз, но приезжал не лечиться, а потолковать с доктором насчет лошадей: нет ли продажной и не пожелает ли его высокоблагородие господин доктор променять гnedую кобылку на буланого меринка. Теперь голова у него была напомажена и в ухе блестела серебряная серьга, и вообще вид был праздничный. Нахмурясь и опустив нижнюю губу, он внимательно глядел в большую, истрепанную книгу с картинками. Растянувшись на полу около печки, лежал другой мужик; лицо его, плечи и грудь были покрыты полушубком — должно быть, спал; около его новых сапогов с блестящими подковами темнели две лужи от растаявшего снега.

Увидев фельдшера, Калашников поздоровался.

— Да, погода...— сказал Ергунов, потирая ладонями озябшие колена.— За шею снегу понабилося, весь я промок, это самое, как хлющ. И револьвер мой, кажется, того...

Он вынул револьвер, оглядел его со всех сторон и положил опять в сумку. Но револьвер не произвел никакого впечатления: мужик продолжал глядеть в книгу.

— Да, погода... С дороги сбился, и если б не здешние собаки, то, кажется, смерть. Была бы история. А где же хозяйки?

— Старуха в Репино поехала, а девка вечерять готовит...— ответил Калашников.

Наступило молчание. Фельдшер, дрожа и всхлипывая, дул на ладони и весь ежился и делал вид, что он очень озяб и замучился. Слышно было, как завывали на дворе неунимавшиеся собаки. Стало скучно,

— Ты сам из Богалёвки, что ли? — спросил фельдшер строго у мужика.

— Да, из Богалёвки.

И от нечего делать фельдшер стал думать об этой Богалёвке. Деревня большая, и лежит она в глубоком овраге, так что, когда едешь в лунную ночь по большой дороге и взглянешь вниз, в темный овраг, а потом вверх на небо, то кажется, что луна висит над бездонной пропастью и что тут конец света. Дорога ведет вниз крутая, извилистая и такая узкая, что когда едешь в Богалёвку на эпидемию или прививать оспу, то все время нужно кричать во все горло или свистать, а то иначе, если встретишься с телегой, то потом уж не разъедешься. Мужики богалёвские слывут за хороших садоводов и конокрадов; сады у них богатые: весною вся деревня тонет в белых вишневых цветах, а летом вишни продаются по три копейки за ведро. Заплати три копейки и рви. Бабы у мужиков красивые и сытые и любят наряжаться и даже в будни ничего не делают, а все сидят на завалинках и ищут в головах друг у друга.

Но вот послышались шаги. В комнату вошла Любка, девушка лет двадцати, в красном платье и босая... Она искоса поглядела на фельдшера и раза два прошла из угла в угол. Ходила она не просто, а мелкими шажками, выпятив вперед грудь; видимо, ей нравилось шлепать босыми ногами по недавно вымытому полу, и разулась она нарочно для этого.

Калашников чему-то усмехнулся и поманил ее к себе пальцем. Она подошла к столу, и он показал ей в книге на пророка Илию, который правил тройкою лошадей, несущихся к небу. Любка облокотилась на стол; коса ее перекинулась через плечо, длинная коса, рыжая, перевязанная на конце красной ленточкой,— и едва не коснулась пола. И она тоже усмехнулась.

— Отличная, замечательная картина! — сказал Калашников.— Замечательная! — повторил он и сделал руками так, как будто хотел вместо Илии забрать в руки вожжи.

В печке гудел ветер; что-то зарычало и пискнуло, точно большая собака задушила крысу.

— Ишь нечистые расходились! — проговорила Любка.

— Это ветер, — сказал Калашников; он помочал, поднял глаза на фельдшера и спросил: — Как по-вашему, по-ученому, Осип Васильич, есть на этом свете черти или нет?

— Как тебе, братец, сказать? — ответил фельдшер и пожал одним плечом. — Ежели рассуждать по науке, то, конечно, чертей нету, потому что это предрассудок; а ежели рассуждать попросту, как вот мы сейчас с тобой, то черти есть, короче говоря... Я в своей жизни много испытал... После учения я определился в военные фельдшера в драгунский полк и был, конечно, на войне, имею медаль и знак отличия «Красного креста», а после сан-стефанского договора вернулся в Россию и поступил в земство. И по причине такой громадной циркуляции моей жизни я, могу сказать, видел столько, что другому и во сне не снилось. Случалось и чертей видеть, то есть не то чтобы чертей с рогами или хвостом — это одни глупости, а так, собственно говоря, как будто вроде.

— Где? — спросил Калашников.

— В разных местах. Нечего далеко ходить, летошний год, не к ночи он будь помянут, встретил я его вот тут, почитай, у самого двора. Ехал я, это самое, помню, в Голышино, ехал оспу прививать. Известно, как всегда, беговые дрожки, ну, лошадь и необходимые причиндалы, да, кроме того, часы при мне и все прочее, так что еду и остерегаюсь, как бы, неровен час, не того... Мало ли всяких бродяг. Подъезжаю я к Змеиной балочке, будь она проклята, начинаю спускаться, и вдруг, это самое, идет кто-то такой. Волосы черные, глаза черные, и все лицо словно от дыму закоптело... Подходит к лошади и прямо берет за левую вожжу: стой! Оглядел лошадь, потом, значит, меня, потом бросил вожжу и, не говоря худого слова: «Ты куда едешь?» А у самого зубы оскалены, глаза злые... Ах ты, думаю, шут этакий! «Еду, говорю, оспу прививать. А тебе какое дело?» Он и говорит: «Коли

так, говорит, то привей и мне оспу». Оголил руку и сует мне ее под нос. Конечно, не стал я с ним разговаривать, взял и привил оспу, чтоб отвязаться. После того гляжу на свой ланцет, а он весь заржавел.

Мужик, спавший около печки, вдруг заворочался и сбросил с себя полушубок, и фельдшер, к великому своему удивлению, увидел того самого незнакомца, которого встретил когда-то на Змеиной балочке. Волосы, борода и глаза у этого мужика были черные, как сажа, лицо смуглое и вдобавок еще на правой щеке сидело черное пятнышко величиной с чечевицу. Он насмешливо поглядел на фельдшера и сказал:

— За левую вожжу брал — это было, а насчет оспы сбрежал, сударь. И разговору даже насчет оспы у нас с тобой не было.

Фельдшер смутился.

— Я не про тебя говорю, — сказал он. — Лежи, когда лежишь.

Смуглый мужик ни разу не был в больнице, и фельдшер не знал, кто он и откуда, и теперь, глядя на него, решил, что это, должно быть, цыган. Мужик встал и, потягиваясь, громко зевая, подошел к Любке и Калашникову, сел рядом и тоже стал глядеть в книгу. На его заспанном лице показались умиление и зависть.

— Вот, Мерик, — сказала ему Любка, — приведи мне таких коней, я на небо поеду.

— На небо грешным нельзя... — сказал Калашников. — Это за святость.

Потом Любка собрала на стол и принесла большой кусок свиного сала, соленых огурцов, деревянную тарелку с вареным мясом, порезанным на мелкие кусочки, потом сковороду, на которой шипела колбаса с капустой. Появился на столе и граненый графин с водкой, от которой, когда налили по рюмке, по всей комнате пошел дух апельсиновой корки.

Фельдшеру было досадно, что Калашников и смуглый Мерик говорили между собой и не обращали на него никакого внимания, точно его и в комнате не было. А ему хотелось поговорить с ними, похвастать, выпить, наестся и, если можно, то и пошалить с Люб-

кой, которая, пока ужинали, раз пять садилась около него и, словно нечаянно, трогала его своими красивыми плечами и поглаживала руками свои широкие бедра. Это была девка здоровая, смешливая, вертлявая, непоседа: то сядет, то встанет, а сидя поворачивается к соседу то грудью, то спиной, как егоза, и непременно зацепит локтем или коленом.

И не нравилось также фельдшеру, что мужики выпили только по одной рюмке и больше уж не пили, а одному ему пить было как-то неловко. Но он не выдержал и выпил другую рюмку, потом третью и съел всю колбасу. Чтобы мужики не сторонились его, а приняли его в свою компанию, он решил польстить им.

— Молодцы у вас в Богалёвке! — сказал он и покрутил головой.

— Насчет чего молодцы? — спросил Калашников.

— Да вот, это самое, хоть насчет лошадей. Молодцы красть!

— Ну, нашел молодцов! Пьяницы только да воры.

— Было время, да прошло, — сказал Мерик после некоторого молчания. — Только вот разве один старый Филя у них остался, да и тот слепой.

— Да, один только Филя, — вздохнул Калашников. — Ему, почитай, теперь годов семьдесят; один глаз немцы-колонисты, выкололи, а другим плохо видит. Бельмо. Прежде, бывало, завидит его становой и кричит: «Эй, ты, Шамиль!» — и все мужики так — Шамиль да Шамиль, а теперь другого и звания ему нет, как кривой Филя. А молодчина был человек! С покойным Андреем Григорьичем, с Любашиным отцом, забрались раз ночью под Рожново, — а там конные полки в ту пору стояли, — и угнали девять солдатских лошадей, самых каких получше, и часовых не испугались, и утром же цыгану Афоньке всех лошадей за двадцать целковых продали. Да! А нынешний норovit угнать коня у пьяного или сонного, да бога не побоится и с пьяного еще сапоги стащит, а потом жмется, едет с той лошадейю верст за двести и потом торгуется на базаре, торгуется, как жид, пока его урядник не заберет, дурака. Не гулянье, а одна срамота! Плевый народишко, что говорить.

— А Мерик? — спросила Любка.

— Мерик не наш, — сказал Калашников. — Он харьковский, из Мижирича. А что молодчина, это верно, грех пожалиться, хороший человек.

Любка лукаво и радостно поглядела на Мерика и сказала:

— Да, недаром его добрые люди в проруби купали.

— Как так? — спросил фельдшер.

— А так... — сказал Мерик и усмехнулся. — Угнал Филя у самойловских арендателей трех лошадей, а они на меня подумали. Их всех арендателей в Самойловке человек десять, а с работниками и тридцать наберется, и все молоканы... Вот один и говорит мне на базаре: «Приходи, Мерик, поглядеть, мы с ярмарки новых лошадей пригнали». Мне, известно, любопытно, прихожу до них, а они, сколько их было, человек тридцать, скрутили мне назад руки и повели на реку. Мы, говорят, тебе покажем лошадей. Прорубь одна была уже готовая, они рядом, этак на сажень, другую прорубили. Потом, значит, взяли веревку и надели мне под мышки петлю, а к другому концу привязали кривую палку, чтоб, значит, сквозь обе проруби доставала. Ну, просунули палку и потянули. Я, как был, в шубе и в сапогах — бултых в прорубь! а они стоят и меня попихивают, кто ногой, а кто колуном, потом потащили под лед и вытащили в другую прорубь.

Любка вздрогнула и вся сжалась.

— Сначала меня от холода в жар бросило, — продолжал Мерик, — а когда вытащили наружу, не было никакой возможности, лег я на снег, а молоканы стоят сколо и бьют палками по коленкам и локтям. Больно, страсть! Побили и ушли... А на мне все мерзнет, одежда обледенела, встал я, и нет мочи. Спасибо, ехала баба, подвезла.

Между тем фельдшер выпил рюмок пять или шесть; на душе у него посветлело и захотелось тоже рассказать что-нибудь необыкновенное, чудесное и показать, что он тоже молодец и ничего не боится.

— А вот как у нас в Пензенской губернии... — начал было он.



Оттого, что он много пил и посоловел, и, быть может, оттого, что он раза два был уличен во лжи, мужики не обращали на него никакого внимания и даже перестали отвечать на его вопросы. Мало того, в его присутствии они пустились в такие откровенности, что ему становилось жутко и холодно, а это значило, что они его не замечали.

Манеры у Калашникова были солидные, как у человека степенного и рассудительного, говорил он обстоятельно, а зевая, всякий раз крестил себе рот, и никто бы не мог подумать, что это вор, бессердечный вор, обирающий бедняков, который уже раза два сидел в остроге, и общество уже составило приговор о том, чтобы сослать его в Сибирь, да откупились отец и дядя, такие же воры и негодяи, как он сам. Мерик же держал себя хватом. Он видел, что Любка и Калашников любят его, и сам считал себя молодцом, и то подбоченивался, то выпячивал вперед грудь, то вытягивался так, что трещала скамья...

После ужина Калашников, не вставая, помолился на образ и пожал руку Мерику; тот тоже помолился и пожал руку Калашникову. Любка убрала ужин и насыпала на стол мятных пряников, каленых орехов, тыквенных семечек, и поставила две бутылки со сладким вином.

— Царство небесное, вечный покой Андрею Григорьичу, — говорил Калашников, чокаясь с Мериком. — Когда он был жив, соберемся мы здесь, бывало, или у брата Мартына и — боже мой, боже мой! — какие люди, какие разговоры! Замечательные разговоры! Тут и Мартын, и Филя, и Стукотей Федор... Все благородно, сообразно... А как гуляли! Так гуляли, так гуляли!

Любка вышла и немного погодя вернулась в зеленом платочке и в бусах.

— Мерик, погляди, что мне сегодня Калашников привез! — сказала она.

Она погляделась в зеркало и несколько раз мотнула головой, чтобы зазвучали бусы. А потом открыла сундук и стала вынимать оттуда то ситцевое платье с красными и голубыми глазочками, то другое — крас-

ное, с оборками, которое шуршало и шелестело, как бумага, то новый платок, синий, с радужным отливом — и все это она показывала и, смеясь, всплескивала руками, как будто изумлялась, что у нее такие сокровища.

Калашников настроил балалайку и заиграл, и фельдшер никак не мог понять, какую он песню играет, веселую или грустную, потому что было то очень грустно, даже плакать хотелось, то становилось весело. Мерик вдруг вскочил и затопал на одном месте каблуками, а затем, растопырив руки, прошелся на одних каблуках от стола к печке, от печки к сундуку, потом привскочил как ужаленный, щелкнул в воздухе подковками и пошел валять вприсядку. Любка взмахнула обеими руками, отчаянно взвизгнула и пошла за ним; сначала она прошла боком-боком, ехидно, точно желая подкрасться к кому-то и ударить сзади, застучала дробно пятками, как Мерик каблуками, потом закружилась волчком и присела, и ее красное платье раздулось в колокол; злобно глядя на нее и оскалив зубы, понесся к ней вприсядку Мерик, желая уничтожить ее своими страшными ногами, а она вскочила, закинула назад голову и, взмахивая руками, как большая птица крыльями, едва касаясь пола, поплыла по комнате...

«Ах, что за огонь-девка! — думал фельдшер, садясь на сундук и отсюда глядя на танцы.— Что за жар! Отдай все, да и мало...»

И он жалел: зачем он фельдшер, а не простой мужик? Зачем на нем пиджак и цепочка с позолоченным ключиком, а не синяя рубаха с веревочным пояском? Тогда бы он мог смело петь, плясать, пить, обхватывать обеими руками Любку, как это делал Мерик...

От резкого стука, крика и гиканья в шкафу звенела посуда, на свечке прыгал огонь.

Порвалась нитка, и бусы рассыпались по всему полу, свалился с головы зеленый платок, и вместо Любки мелькало только одно красное облако да сверкали темные глаза, а у Мерика того и гляди сейчас оторвутся руки и ноги.

Но вот Мерик стукнул в последний раз ногами и стал как вкопанный... Замучившись, еле дыша, Любка склонилась к нему на грудь и прижалась, как к столбу, а он обнял ее и, глядя ей в глаза, сказал нежно и ласково, как бы шутя:

— Ужо узнаю, где у твоей старухи деньги спрятаны, убью ее, а тебе горлышко ножичком перережу, а после того зажгу постоялый двор... Люди будут думать, что вы от пожара пропали, а я с вашими деньгами пойду в Кубань, буду там табуны гонять, овец заведу...

Любка ничего не ответила, а только виновато поглядела на него и спросила:

— Мерик, а хорошо в Кубани?

Он ничего не сказал, а пошел к сундуку, сел и задумался; вероятно, стал мечтать о Кубани.

— Время мне ехать, иначе,— сказал Калашников, поднимаясь.— Должно, Филя уж дожидается. Прощай, Люба!

Фельдшер вышел на двор поглядеть: как бы не усхал Калашников на его лошади. Метель все еще продолжалась. Белые облака, цепляясь своими длинными хвостами за бурьян и кусты, носились по двору, а по ту сторону забора, в поле, великаны в белых саванах с широкими рукавами кружились и падали, и опять поднимались, чтобы махать руками и драться. А ветер-то, ветер! Голые березки и вишни, не вынося его грубых ласок, низко гнулись к земле и плакали:

— Боже, за какой грех ты прикрепил нас к земле и не пускаешь на волю?

— Тпррр!— строго сказал Калашников и сел на свою лошадь; одна половинка ворот была отворена, и около нее навалило высокий сугроб.— Ну, поехала, что ли!— прикрикнул Калашников. Малорослая, коротконогая лошаденка его пошла, завязла по самый живот в сугробе. Калашников побелел от снега и скоро вместе со своею лошадью исчез за воротами.

Когда фельдшер вернулся в комнату, Любка ползала по полу и собирала бусы. Мерика не было.

«Славная девка!— думал фельдшер, ложась на

скамью и кладя под голову полушубок.— Ах, если б Мерика тут не было!»

Любка раздражала его, ползая по полу около скамьи, и он подумал, что если бы здесь не было Мерика, то он непременно вот встал бы и обнял ее, а что дальше, там было бы видно. Правда, она еще девушка, но едва ли честная; да хотя бы и честная — стоит ли церемониться в разбойничьем вертепе? Любка собрала бусы и вышла. Свечка догорала, и огонь уж захватил бумажку в подсвечнике. Фельдшер положил возле себя револьвер и спички и потушил свечу. Лампадка сильно мигала, так что было больно глазам, и пятна прыгали по потолку, по полу, по шкафу, и среди них мерещилась Любка, крепкая, полногрудая: то вертится волчком, то замучилась пляской и тяжело дышит...

«Ах, если б Мерика унесли нечистые!» — думал он.

Лампадка в последний раз мигнула, затрещала и потухла. Кто-то, должно быть Мерик, вошел в комнату и сел на скамью. Он потянул из трубки, и на мгновение осветилась смуглая щека с черным пятнышком. От противного табачного дыма у фельдшера зачесалось в горле.

— Да и поганый же у тебя табак,— будь он проклят! — сказал фельдшер.— Даже тошно.

— Я табак с овсяным цветом мешаю,— ответил Мерик, помолчав.— Грудям легче.

Он покурил, поплевал и опять ушел. Прошло с полчаса, и в сенях вдруг блеснул свет; показался Мерик в полушубке и в шапке, потом Любка со свечой в руках.

— Останься, Мерик! — сказала Любка умоляющим голосом.

— Нет, Люба. Не держи.

— Послушай меня, Мерик,— сказала Любка, и голос ее стал нежен и мягок.— Я знаю, ты разыщешь у мамки деньги, загубишь и ее и меня, и пойдешь на Кубань любить других девушек, но бог с тобой. Я тебя об одном прошу, сердце: останься!

— Нет, гулять желаю... — сказал Мерик, подпоясываясь.

— И гулять тебе не на чем... Ведь ты пешком пришел, на чем ты поедешь?

Мерик нагнулся к Любке и шепнул ей что-то на ухо; она поглядела на дверь и засмеялась сквозь слезы.

— А он спит, сатана надутая...— сказала она.

Мерик обнял ее, крепко поцеловал и вышел наружу. Фельдшер сунул револьвер в карман, быстро вскочил и побежал за ним.

— Пусти с дороги!— сказал он Любке, которая в сенях быстро заперла дверь на засов и остановилась на пороге.— Пусти! Что стала?

— Зачем тебе туда?

— На лошадь поглядеть.

Любка посмотрела на него снизу вверх лукаво и ласково.

— Что на нее глядеть? Ты на меня погляди...— сказала она, потом нагнулась и дотронулась пальцем до золоченого ключика, висевшего на его цепочке.

— Пусти, а то он уедет на моей лошади!— сказал фельдшер.— Пусти, черт!— крикнул он и, ударив ее со злобой по плечу, изо всей силы навалился грудью, чтобы оттолкнуть ее от двери, но она крепко уцепилась за засов и была точно железная.— Пусти!— крикнул он, замучившись.— Уедет, говорю!

— Где ему? Не уедет.

Она, тяжело дыша и поглаживая плечо, которое болело, опять поглядела на него снизу вверх, покраснела и засмеялась.

— Не уходи, сердце...— сказала она.— Мне одной скучно.

Фельдшер поглядел ей в глаза, подумал и обнял ее, она не противилась.

— Ну, не балуй, пусти!— попросил он.

Она молчала.

— А я слышал,— сказал он,— как ты сейчас говорила Мерику, что его любишь.

— Мало ли... Кого я люблю, про то моя думка знает.

Она опять дотронулась пальцем до ключика и сказала тихо:

— Дай мне это...

Фельдшер отцепил ключик и отдал ей. Она вдруг вытянула шею, прислушалась и сделала серьезное лицо, и взгляд ее показался фельдшеру холодным и лукавым; он вспомнил про коня, и уже легко отстранил ее и выбежал на двор. Под навесом мерно и лениво хрюкала засыпавшая свинья и стучала рогом корова... Фельдшер зажѣг спичку и увидел и свинью, и корову, и собак, которые со всех сторон бросились к нему на огонь, но лошади и след простыл. Крича и махая руками на собак, спотыкаясь о сугробы и увязая в снегу, он выбежал за ворота и стал вглядываться в потемки. Он напрягал зрение и видел только, как летал снег и как снежинки явственно складывались в разные фигуры: то выглянет из потемок белая смеющаяся рожа мертвеца, то проскачет белый конь, а на нем амазонка в кисейном платье, то пролетит над головою вереница белых лебедей... Дрожа от гнева и холода, не зная, что делать, фельдшер выстрелил из револьвера в собак и не попал ни в одну, потом бросился назад в дом.

Когда он входил в сени, то ему ясно послышалось, как кто-то шмыгнул из комнаты и стукнул дверью. В комнате было темно; фельдшер толкнулся в дверь: заперта; тогда, зажигая спичку за спичкой, он бросился назад в сени, оттуда в кухню, из кухни в маленькую комнату, где все стены были увешаны юбками и платьями, и пахло васильками и укропом, и в углу около печи стояла чья-то кровать с целой горою подушек; тут, должно быть, жила старуха, Любкина мать; отсюда прошел он в другую комнату, тоже маленькую, и здесь увидел Любку. Она лежала на сундуке, укрытая пестрым, стеганым одеялом, сшитым из ситцевых лоскутиков, и представлялась спящею. Над ее изголовьем горела лампадка.

— Где моя лошадь? — строго спросил фельдшер.

Любка не шевелилась.

— Где моя лошадь, я тебя спрашиваю? — повторил фельдшер еще строже и сорвал с нее одеяло.— Я тебя спрашиваю, чертовка! — крикнул он.

Она вскочила, стала на колени и, одной рукой придерживая сорочку, а другой стараясь ухватить одеяло, прижалась к стене... Глядела она на фельдшера с отвращением, со страхом, и глаза у нее, как у пойманного зверя, лукаво следили за малейшим его движением.

— Говори, где лошадь, а то я из тебя душу вышибу! — крикнул фельдшер.

— Отойди, поганый! — сказала она хриплым голосом.

Фельдшер схватил ее за сорочку около шеи и рванул; и тут же не выдержал и изо всех сил обнял девуку. А она, шипя от злости, заскользила в его объятиях и, высвободив одну руку — другая запуталась в порванной сорочке, — ударила его кулаком по талии.

В голове у него помутилось от боли, в ушах зазвенело и застучало, он попятился назад и в это время получил другой удар, но уже по виску. Пошатываясь и хватаясь за косяки, чтобы не упасть, он пробрался в комнату, где лежали его вещи, и лег на скамью, потом, полежав немного, вынул из кармана коробку со спичками и стал жечь спичку за спичкой, без всякой надобности: зажжет, дунет и бросит под стол — и так, пока не вышли все спички.

Между тем за окном стал синеть воздух, заголосили петухи, а голова все болела, и в ушах был такой шум, как будто Ергунов сидел под железнодорожным мостом и слушал, как над головой его проходит поезд. Кое-как он надел полушубок и шапку; седла и узла с покупками он не нашел, сумка была пуста: недаром кто-то шмыгнул из комнаты, когда он давеча входил со двора.

Он взял в кухне кочергу, чтобы оборониться от собак, и вышел на двор, оставив дверь настежь. Метель уж улеглась, и на дворе было тихо... Когда он вышел за ворота, белое поле представлялось мертвым и ни одной птицы не было на утреннем небе. По обе стороны дороги и далеко вдали синел мелкий лес.

Фельдшер стал было думать о том, как встретят его в больнице и что скажет ему доктор; нужно было

непрерывно думать об этом и приготовить заранее ответы на вопросы, но мысли эти расплывались и уходили прочь. Он шел и думал только о Любке, о мужиках, с которыми провел ночь; вспоминал он о том, как Любка, ударив его во второй раз, нагнулась к полу за одеялом и как упала ее распустившаяся коса на пол. У него путалось в голове, и он думал: к чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же ведь вольные птицы, вольные звери, вольный Мерик, и никого они не боятся, и никто им не нужен! И кто это выдумал, кто сказал, что вставать нужно утром, обедать в полдень, ложиться вечером, что доктор старше фельдшера, что надо жить в комнате и можно любить только жену свою? А почему бы не наоборот: обедать бы ночью, а спать днем? Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чертом вперегонку с ветром по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться бы над всеми людьми...

Фельдшер бросил кочергу в снег, припал лбом к белому холодному стволу березы и задумался, и его серая, однообразная жизнь, его жалованье, подчиненность, аптека, вечная возня с банками и мушками казались ему презренными, тошными.

— Кто говорит, что гулять грех? — спрашивал он себя с досадой. — А вот, которые говорят это, те никогда не жили на воле, как Мерик или Калашников, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили без всякого удовольствия и любили только своих жен, похожих на лягушек.

И про себя он теперь думал так, что если сам он до сих пор не стал вором, мошенником или даже разбойником, то потому только, что не умеет или не встречал еще подходящего случая.

---

Прошло года полтора. Как-то весной, после Святой, фельдшер, давно уже уволенный из больницы и ходивший без места, поздно вечером вышел в Репине из трактира и побрел по улице без всякой цели.



Вышел он в поле. Там пахло весною и дул теплый, ласковый ветерок. Тихая, звездная ночь глядела с неба на землю. Боже мой, как глубоко небо и как неизмеримо широко раскинулось оно над миром! Хорошо создан мир, только зачем и с какой стати, думал фельдшер, люди делят друг друга на трезвых и пьяных, служащих и уволенных и пр.? Почему трезвый и сытый покойно спит у себя дома, а пьяный и голодный должен бродить по полю, не зная приюта? Почему, кто не служит и не получает жалованья, тот непременно должен быть голоден, раздет, не обут? Кто это выдумал? Почему же птицы и лесные звери не служат и не получают жалованья, а живут в свое удовольствие?

Вдали на небе, распахнувшись над горизонтом, дрожало красивое багровое зарево. Фельдшер стоял и долго глядел на него и все думал: почему, если он вчера унес чужой самовар и прогулял его в кабаке, то это грех? Почему?

Мимо по дороге проехали две телеги: в одной спала баба, в другой сидел старик без шапки...

— Дед, где это горит? — спросил фельдшер.

— Двор Андрея Чирикова... — ответил старик.

И вспомнил фельдшер, что случилось с ним года полтора назад, зимою, в этом самом дворе, и как хвастал Мерик; и вообразил он, как горят зарезанные старуха и Любка, и позавидовал Мерику. И когда шел опять в трактир, то, глядя на дома богатых кабатчиков, прасолов и кузнецов, соображал: хорошо бы ночью забраться к кому побогаче!

I

Уже потемнело, скоро ночь.

Гусев, бессрочно-отпускной рядовой, приподнимается на койке и говорит вполголоса:

— Слышишь, Павел Иванович? Мне один солдат в Сучане сказывал: ихнее судно, когда они шли, на рыбину наехало и днище себе проломило.

Человек неизвестного звания, к которому он обращается и которого все в судовом лазарете зовут Павлом Ивановичем, молчит, как будто не слышит.

И опять наступает тишина... Ветер гуляет по снастям, стучит винт, хлещут волны, скрипят койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо, и кажется, что все кругом спит и безмолвствует. Скучно. Те трое больных — два солдата и один матрос, — которые весь день играли в карты, уже спят и бредят.

Кажется, начинает покачивать. Койка под Гусевым медленно поднимается и опускается, точно вздыхает — и этот раз, другой, третий... Что-то ударилось о пол и зазвенело: должно быть, кружка упала.

— Ветер с цепи сорвался... — говорит Гусев, прислушиваясь.

На этот раз Павел Иванович кашляет и отвечает раздраженно:

— То у тебя судно на рыбу наехало, то ветер с цепи сорвался... Ветер зверь, что ли, что с цепи срывается?

— Так крещеные говорят,

— И крещенные такие же невежды, как ты... Мало ли чего они не говорят? Надо свою голову иметь на плечах и рассуждать. Бессмысленный человек.

Павел Иваныч подвержен морской болезни. Когда качает, он обыкновенно сердится и приходит в раздражение от малейшего пустяка. А сердиться, по мнению Гусева, положительно не на что. Что странного или мудреного, например, хоть в рыбе или в ветре, который срывается с цепи? Положим, что рыба величиной с гору и что спина у нее твердая, как у осетра; также положим, что там, где конец света, стоят толстые каменные стены, а к стенам прикованы злые ветры... Если они не сорвались с цепи, то почему же они мечутся по всему морю как угорелые и рвутся, словно собаки? Если их не приковывают, то куда же они деваются, когда бывает тихо?

Гусев долго думает о рыбах, величиною с гору, и о толстых, заржавленных цепях, потом ему становится скучно, и он начинает думать о родной стороне, куда теперь возвращается он после пятилетней службы на Дальнем Востоке. Рисуется ему громадный пруд, занесенный снегом... На одной стороне пруда фарфоровый завод кирпичного цвета, с высокой трубой и с облаками черного дыма; на другой стороне — деревня... Из двора, пятого с краю, едет в санях брат Алексей; позади него сидят сынишка Ванька, в больших валенках, и девчонка Акулька, тоже в валенках. Алексей выпивши, Ванька смеется, а Акулькина лица не видеть — закуталась.

«Неровен час, детей поморозит...» — думает Гусев. — Пошли им, господи, — шепчет он, — ума-разума, чтоб родителей почитали и умней отца-матери не были...

— Тут нужны новые подметки, — бредит басом больной матрос. — Да, да!

Мысли у Гусева обрываются, и вместо пруда вдруг ни к селу ни к городу показывается большая бычья голова без глаз, а лошадь и сани уж не едут, а кружатся в черном дыму. Но он все-таки рад, что повидал родных. Радость захватывает у него дыхание, бегают мурашками по телу, дрожит в пальцах...



К рассказу «Воры».  
Художник А. Алсит. 1903.



— Привел господь повидаться! — бредит он, но тотчас же открывает глаза и ищет в потемках воду.

Он пьет и ложится, и опять едут сани, потом опять бычья голова без глаз, дым, облака... И так до рассвета.

## II

Сначала в потемках обозначается синий кружок — это круглое окошечко; потом Гусев мало-помалу начинает различать своего соседа по койке, Павла Иваныча. Этот человек спит сидя, так как в лежачем положении он задыхается. Лицо у него серое, нос длинный, острый, глаза, оттого что он страшно исхудал, громадные; виски впали, борода жиденькая, волосы на голове длинные... Глядя на лицо, никак не поймешь, какого он звания: барин ли, купец, или мужицкого звания? Судя по выражению и длинным волосам, он как будто бы постник, монастырский послушник, а прислушаешься к его словам — выходит как будто бы и не монах. От кашля, духоты и от своей болезни он изнемог, тяжело дышит и шевелит высохшими губами. Заметив, что Гусев глядит на него, он поворачивается к нему лицом и говорит:

— Я начинаю догадываться... Да... Я теперь отлично все понимаю.

— Что вы понимаете, Павел Иваныч?

— А вот что... Мне все казалось странным, как это вы, тяжело больные, вместо того чтобы находиться в покое, очутились на пароходе, где и духота, и жар, и качка — все, одним словом, угрожает вам смертью, теперь же для меня все ясно... Да... Ваши доктора сдали вас на пароход, чтобы отвязаться от вас. Надоело с вами возиться, со скотами... Денег вы им не платите, возня с вами, да и отчетность своими смертями портите — стало быть, скоты! А отделаться от вас нетрудно... Для этого нужно только, во-первых, не иметь совести и человеколюбия и, во-вторых, обмануть пароходное начальство. Первое условие можно хоть и не считать, в этом отношении мы артисты, а второе всегда удается при некотором навыке. В толпе четырехсот

здоровых солдат и матросов пять больных не бросаются в глаза; ну, согнали вас на пароход, смешали со здоровыми, наскоро сосчитали и в суматохе ничего дурного не заметили, а когда пароход отошел, то и увидели: на палубе валяются параличные да чахоточные в последнем градусе...

Гусев не понимает Павла Иваныча; думая, что ему делают выговор, он говорит в свое оправдание:

— Я лежал на палубе потому, что сил не было; когда нас из баржи на пароход выгружали, я шибко озяб.

— Возмутительно! — продолжает Павел Иваныч. — Главное, отлично ведь знают, что вы не перенесете этого далекого перехода, а все-таки сажают вас сюда! Ну, положим, до Индейского океана вы дойдете, а потом что? Страшно подумать.. И это благодарность за верную, беспорочную службу!

Павел Иваныч делает злые глаза, брезгливо морщится и говорит, задыхаясь:

— Вот бы кого в газетах расщелкать так, чтобы перья посыпались!

Больные два солдата и матрос проснулись и уже играют в карты. Матрос полулежит на койке, солдаты сидят возле на полу и в самых неудобных позах. У одного солдата правая рука в повязке и на кисти наворочена целая шапка, так что карты держит он в правой подмышке или в локтевом сгибе, а ходит левой рукой. Сильно качает. Нельзя ни встать, ни чаю напиться, ни лекарства принять.

— Ты в денщиках служил? — спрашивает Павел Иваныч у Гусева.

— Точно так, в денщиках.

— Боже мой, боже мой! — говорит Павел Иваныч и печально покачивает головой. — Вырвать человека из родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом вогнать в чахотку и... и для чего все это, спрашивается? Для того, чтоб сделать из него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или мичмана Дырки. Как много логики!

— Дело нетрудное, Павел Иваныч. Встанешь утром, сапоги почистишь, самовар поставишь, ком-

наты уберешь, а потом и делать нечего. Поручик целый день планты чертит, а ты хочешь — богу молись, хочешь — книжки читай, хочешь — на улицу ступай. Дай бог всякому такой жизни.

— Да, очень хорошо! Поручик планты чертит, а ты весь день на кухне сидишь и по родине тоскуешь... Планты... Не в плантах дело, а в жизни человеческой! Жизнь не повторяется, щадить ее нужно.

— Оно, конечно, Павел Иванович, дурному человеку нигде пощады нет, ни дома, ни на службе, но ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать? Господа образованные, понимают... За пять лет я ни разу в карцере не сидел, а бит был, дай бог память, не больше одного раза...

— За что?

— За драку. У меня рука тяжелая, Павел Иванович, Вошли к нам во двор четыре манзы; дрова носили, что ли — не помню. Ну, мне скучно стало, я им того, бока помял, у одного, проклятого, из носа кровь пошла... Поручик увидел в окошко, осерчал и дал мне по уху.

— Глупый, жалкий ты человек... — шепчет Павел Иванович. — Ничего ты не понимаешь.

Он совсем изнемог от качки и закрыл глаза; голова у него то откидывается назад, то опускается на грудь. Несколько раз пробует он лечь, но ничего у него не выходит: мешает удушье.

— А за что ты четырех манз побил? — спрашивает он немного погодя.

— Так. Во двор вошли, я и побил.

И наступает тишина... Картежники играют часа два, с азартом и с руганью, но качка утомляет и их; они бросают карты и ложатся. Опять рисуется Гусеву большой пруд, завод, деревня... Опять едут сани, опять Ванька смеется, а Акулька-дура распахнула шубу и выставила ноги: глядите, мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новые.

— Шестой годочек пошел, а все еще разума нет! — бредит Гусев. — Заместо того чтобы ноги задирать, по-ди-кась дядьке служивому напитокя принеси. Гостинца дам,



Вот Андрон с кремневым ружьем на плече несет убитого зайца, а за ним идет дряхлый жид Исайчик и предлагает ему променять зайца на кусок мыла; вот черная телочка в сенях, вот Домна рубаху шьет и о чем-то плачет, а вот опять бычья голова без глаз, черный дым...

Наверху кто-то громко крикнул, пробежало несколько матросов; кажется, протащили по палубе что-то громоздкое или что-то треснуло. Опять пробежали... Уж не случилось ли несчастье? Гусев поднимает голову, прислушивается и видит: два солдата и матрос опять играют в карты; Павел Иваныч сидит и шевелит губами. Душно, нет сил дышать, пить хочется, а вода теплая, противная... Качка не унимается.

Вдруг с солдатом-картежником делается что-то странное... Он называет черви бубнами, путается в счете и роняет карты, потом испуганно и глупо улыбается и обводит всех глазами.

— Я сейчас, братцы...— говорит он и ложится на пол.

Все в недоумении. Его окликают, он не отвечает.

— Степан, может, тебе нехорошо? а? — спрашивает другой солдат с повязкой на руке.— Может, попа призвать? а?

— Ты, Степан, воды выпей...— говорит матрос.— На, братишка, пей.

— Ну, что ты его по зубам кружкой колотишь? — сердится Гусев.— Нешто не видишь, голова садовая?

— Что?

— Что! — передразнивает Гусев.— В нем дыхания нет, помер! Вот тебе — и что! Экий народ неразумный, господи ты боже мой!..

### III

Качки нет, и Павел Иваныч повеселел. Он уже не сердится. Выражение лица у него хвастливое, задорное и насмешливое. Он как будто хочет сказать: «Да, сейчас я скажу вам такую штуку, что вы все от смеха животы себе порвете». Круглое окошечко открыто, и

на Павла Иваныча дует мягкий ветерок. Слышны голоса, шлепанье весел о воду... Под самым окошечком кто-то завывает тоненьким, противным голоском: должно быть, китаец поет.

— Да, вот мы и на рейде,— говорит Павел Иваныч, насмешливо улыбаясь.— Еще какой-нибудь один месяц, и мы в России. Нда-с, многоуважаемые господа солдафоны. Приеду в Одессу, а оттуда прямо в Харьков. В Харькове у меня литератор приятель. Приду к нему и скажу: ну, брат, оставь на время свои гнусные сюжеты насчет бабьих амуров и красот природы и обличай двуногую мразь... Вот тебе темы...

Минуту он думает о чем-то, потом говорит:

— Гусев, а ты знаешь, как я надул их?

— Кого, Павел Иваныч?

— Да этих самых... Понимаешь ли, тут на пароходе существуют только первый и третий классы, причем в третьем классе дозволяется ехать одним только мужикам, то есть хамам. Если же ты в пиджаке и хоть издали похож на барина или на буржуа, то изволь ехать в первом классе. Хоть тресни, а выкладывай пятьсот рублей. К чему, спрашиваю, завели вы такой порядок? Уж не хотите ли поднять этим престиж российской интеллигенции? «Нисколько. Не пускаем вас просто потому, что в третьем классе нельзя ехать порядочному человеку: уж очень там скверно и безобразно». Да-с? Благодарю, что так заботитесь о порядочных людях. Но во всяком случае скверно там или хорошо, а пятисот рублей у меня нет. Казны я не грабил, инородцев не эксплуатировал, контрабандой не занимался, никого не заперол до смерти, а потому судите: имею ли я право восседать в первом классе, а тем паче причислять себя к российской интеллигенции? Но их логикой не проймешь... Пришлось прибегнуть к надувательству. Надел я чуйку и большие сапоги, соорудил пьяную хамскую рожу и иду к агенту: «Давай, говорю, ваше высокоблагородие, билетик...»

— А вы сами какого звания? — спрашивает матрос.

— Духовного. Мой отец был честный поп. Всегда говорил великим мира сего правду в глаза и за это много страдал.

Павел Иванович утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжает:

— Да, я всегда говорю в лицо правду... Я никого и ничего не боюсь. В этом отношении между мной и вами — разница громадная. Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вам говорят, что ветер с цепи срывается, что вы скоты, печенег, вы и верите; по шее вас бьют, вы ручку целуете; ограбит вас какое-нибудь животное в енотовой шубе и потом швырнет вам пятиалтынный на чай, а вы: «Пожалуйте, барин, ручку». Парии вы, жалкие люди... Я же другое дело. Я живу сознательно, я все вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и все понимаю. Я воплощенный протест. Вижу произвол — протестую, вижу ханжу и лицемера — протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Да... Отрежь мне язык — буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб — буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня — буду являться тенью. Все знакомые говорят мне: «Невыносимейший вы человек, Павел Иванович!» Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался. Приятели пишут из России: «Не приезжай». А я вот возьму да назло и приеду... Да... Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью.

Гусев не слушает и смотрит в окошечко. На прозрачной, нежно-бирюзовой воде, вся залитая ослепительным, горячим солнцем, качается лодка. В ней стоят голые китайцы, протягивают вверх клетки с канарейками и кричат:

— Поет! Поет!

О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лодка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис. Лениво колышется вода, лениво носятся над нею белые чайки.

«Вот этого жирного по шее бы смазать...» — думает Гусев, глядя на толстого китайца и зевая.

Он дремлет, и кажется ему, что вся природа находится в дремоте. Время бежит быстро. Незаметно проходит день, незаметно наступают потемки... Пароход не стоит уж на месте, а идет куда-то дальше.

#### IV

Проходит два дня. Павел Иванович уже не сидит, а лежит; глаза у него закрыты, нос стал как будто острее.

— Павел Иванович! — окликает его Гусев. — А, Павел Иванович!

Павел Иванович открывает глаза и шевелит губами.

— Вам нездорово?

— Ничего... — отвечает Павел Иванович, задыхаясь. — Ничего, даже, напротив... лучше... Видишь, я уже и лежать могу... Полегчало...

— Ну и слава богу, Павел Иванович.

— Как сравнишь себя с вами, жалко мне вас... бедняг. Легкие у меня здоровые, а кашель это желудочный... Я могу перенести ад, не то что Красное море! К тому же я отношусь критически и к болезни своей и к лекарствам. А вы... вы темные... Тяжело вам, очень, очень тяжело!

Качки нет, тихо, но зато душно и жарко, как в бане; не только говорить, но даже слушать трудно. Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной стороне. Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде! Едешь на санях; вдруг лошади испугались чего-то и понесли... Не разбирая ни дорог, ни канав, ни оврагов, несутся они как бешеные по всей деревне, через пруд, мимо завода, потом по полю... «Держи! — кричат во все горло заводские и встречные. — Держи!» Но зачем держать! Пусть резкий, холодный ветер бьет в лицо и кусает руки, пусть комья снега, подброшенные копытами, падают на шапку, за воротник на шею, на грудь, пусть визжат полозья и обрываются постромки и вальки, черт с ними совсем! А какое наслаждение, когда опрокидываются

сани и летишь со всего размаху в сугроб, прямо лицом в снег, а потом встанешь весь белый, с сосульками на усах; ни шапки, ни рукавиц, пояс развязался... Люди хохочут, собаки лают...

Павел Иванович открывает наполовину один глаз, глядит им на Гусева и спрашивает тихо:

— Гусев, твой командир крал?

— А кто ж его знает, Павел Иванович! Мы не знаем, до нас не доходит.

И затем много времени проходит в молчании. Гусев думает, бредит и то и дело пьет воду; ему трудно говорить, трудно слушать, и боится он, чтоб с ним не заговорили. Проходит час, другой, третий; наступает вечер, потом ночь, но он не замечает этого, а все сидит и думает о морозе.

Слышно, как будто кто вошел в лазарет, раздаются голоса, но проходит минут пять и все смолкает.

— Царство небесное, вечный покой,— говорит солдат с повязкой на руке.— Непokoйный был человек!

— Что? — спрашивает Гусев.— Кого?

— Помер. Сейчас наверх унесли.

— Ну что ж,— бормочет Гусев, зевая.— Царство небесное.

— Как по-твоему, Гусев? — спрашивает после некоторого молчания солдат с повязкой.— Будет он в царстве небесном или нет?

— Про кого ты?

— Про Павла Ивановича.

— Будет... мучился долго... И то взять, из духовного звания, а у попов родни много. Замолят.

Солдат с повязкой садится на койку к Гусеву и говорит вполголоса:

— И ты, Гусев, не жилец на этом свете. Не досдешь ты до России.

— Нешто доктор или фельдшер сказывал? — спрашивает Гусев.

— Не то чтобы кто сказывал, а видать... Человека, который скоро помрет, сразу видно. Не ешь ты, не пьешь, исхудал — глядеть страшно. Чахотка, одним словом. Я говорю не для того, чтобы тебя тревожить, а к тому, может, ты захочешь причаститься и соборо-

ваться. А ежели у тебя деньги есть, то сдал бы ты их старшему офицеру.

— Я домой не написал...— вздыхает Гусев.— Помру, и не узнают.

— Узнают,— говорит басом больной матрос.— Когда помрешь, здесь запишут в вахтенный журнал, в Одессе дадут воинскому начальнику выписку, а тот пошлет в волость или куда там...

Гусеву становится жутко от такого разговора, и начинает его томить какое-то желание. Пьет он воду — не то; тянется к круглому окошечку и вдыхает горячий, влажный воздух — не то; старается думать о родной стороне, о морозе — не то... Наконец, ему кажется, что если он еще хоть одну минуту пробудет в лазарете, то непременно задохнется.

— Тяжко, братцы...— говорит он.— Я пойду наверх. Сведите меня, ради Христа, наверх!

— Ладно,— соглашается солдат с повязкой.— Ты не дойдешь, я тебя снесу. Держись за шею.

Гусев обнимает солдата за шею, тот обхватывает его здоровую рукою и несет наверх. На палубе вповалку спят бессрочно-отпускные солдаты и матросы; их так много, что трудно пройти.

— Становись наземь,— говорит тихо солдат с повязкой.— Иди за мной потихоньку, держись за рубаху...

Темно. Нет огней ни на палубе, ни на мачтах, ни кругом на море. На самом носу стоит неподвижно, как статуя, часовой, но похоже на то, как будто и он спит. Кажется, что пароход предоставлен собственной воле и идет, куда хочет.

— В море теперь Павла Иваныча бросят...— говорит солдат с повязкой.— В мешок да в воду.

— Да. Порядок такой.

— А дома в земле лучше лежать. Все хоть мать придет на могилку да поплачет.

— Известно.

Запахло навозом и сеном. Понутив головы, стоят у борта быки. Раз, два, три... восемь штук! А вот и маленькая лошадка. Гусев протягивает руку, чтобы приласкать ее, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочет укусить его за рукав.

— Проклятая...— сердится Гусев.

Оба, он и солдат, тихо пробираются к носу, потом становятся у борта и молча глядят то вверх, то вниз. Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и тишина — точь-в-точь как дома в деревне, внизу же — темнота и беспорядок. Неизвестно, для чего шумят высокие волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит, и гонит другую; на нее с шумом, отсвечивая своей белой гривой, налетает третья, такая же свирепая и безобразная.

У моря нет ни смысла, ни жалости. Будь пароход поменьше и сделан не из толстого железа, волны разбили бы его без всякого сожаления и сожрали бы всех людей, не разбирая святых и грешных. У парохода тоже бессмысленное и жестокое выражение. Это носатое чудовище прет вперед и режет на своем пути миллионы волн; оно не боится ни потемок, ни ветра, ни пространства, ни одиночества, ему все нипочем, и если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы их, не разбирая тоже святых и грешных.

— Где мы теперь? — спрашивает Гусев.

— Не знаю. Должно, в океане.

— Не видать земли...

— Где ж! Говорят, только через семь дней увидим.

Оба солдата смотрят на белую пену, отсвечивающую фосфором, молчат и думают. Первый нарушает молчание Гусев.

— А ничего нету страшного,— говорит он.— Только жутко, словно в темном лесу сидишь, а ежели б, положим, спустили сейчас на воду шлюпку и офицер приказал ехать за сто верст в море рыбу ловить — поехал бы. Или, скажем, крещеный упал бы сейчас в воду — упал бы и я за им. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещеным полез бы.

— А помирать страшно?

— Страшно. Мне хозяйства жалко. Брат у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьет, родителей не почитает. Без меня все пропадет, и отец со старухой, гляди, по миру пойдут. Одначе, брат, ноги у меня не стоят, да и душно тут... Пойдем спать,

Гусев возвращается в лазарет и ложится на койку. По-прежнему томит его неопределенное желание, и он никак не может понять, что ему нужно. В груди давит, в голове стучит, во рту так сухо, что трудно пошевелить языком. Он дремлет и бредит и, замученный кошмарами, кашлем и духотой, к утру крепко засыпает. Снится ему, что в казарме только что вынули хлеб из печи, а он залез в печь и парится в ней березовым веником. Спит он два дня, а на третий в полдень приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета.

Его зашивают в парусину и, чтобы он стал тяжелее, кладут вместе с ним два железных колосника. Зашитый в парусину, он становится похожим на морковь или редьку: у головы широко, к ногам узко... Перед заходом солнца выносят его на палубу и кладут на доску; один конец доски лежит на борте, другой на ящике, поставленном на табурете. Вокруг стоят бессрочно-отпускные и команда без шапок.

— Благословен бог наш,— начинает священник,— всегда, ныне и присно, и во веки веков!

— Аминь! — поют три матроса.

Бессрочно-отпускные и команда крестятся и поглядывают в сторону на волны. Странно, что человек зашит в парусину и что он полетит сейчас в волны. Неужели это может случиться со всяким?

Священник посыпает Гусева землей и кланяется. Поют «вечную память».

Вахтенный приподнимает конец доски, Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом перевертывается в воздухе и — бултых! Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение — и он исчезает в волнах.

Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажень восемь — десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уже несется в сторону быстрее, чем вниз,



Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лоцманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через минуту они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду...

После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцманы в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравшись телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.

А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, сгущаются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с этим золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно.

В селе Райбуже, как раз против церкви, стоит двухэтажный дом на каменном фундаменте и с железной крышей. В нижнем этаже живет со своей семьей сам хозяин, Филипп Иванов Кашин, по прозвищу Дюдя, а в верхнем, где летом бывает очень жарко, а зимою очень холодно, останавливаются проезжие чиновники, купцы и помещики. Дюдя арендует участки, держит на большой дороге кабак, торгует и дегтем, и медом, и скотом, и сороками, и у него уж набралось тысяч восемь, которые лежат в городе в банке.

Старший сын его Федор служит на заводе в старших механиках и, как говорят про него мужики, далеко в гору пошел, так что до него теперь рукой не достанешь; жена Федора Софья, некрасивая и болезненная баба, живет дома при свекре, все плачет и каждое воскресенье ездит в больницу лечиться. Второй сын Дюди, горбатенький Алешка, живет дома при отце. Его недавно женили на Варваре, которую взяли из бедной семьи: это баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха. Когда останавливаются чиновники и купцы, то всегда требуют, чтобы самовар им подавала и постели постилала непременно Варвара.

В один июньский вечер, когда заходило солнце и в воздухе пахло сеном, теплым навозом и парным молоком, во двор к Дюде въехала простая повозка, на которой сидело трое: мужчина лет тридцати, в пару-

синковом костюме, рядом с ним мальчик лет семи-восьми, в длинном черном сюртуке с большими костяными пуговицами, и молодой парень в красной рубахе за кучера.

Парень распряг лошадей и повел их на улицу прохаживать, а проезжий умылся, помолился на церковь, потом разостлал около повозки полость и сел с мальчиком ужинать; ел он не спеша, степенно, и Дюдя, выдавший на своем веку много проезжих, узнал в нем по манерам человека делового, серьезного и знающего себе цену.

Дюдя сидел на крылечке в одной жилетке, без шапки и ждал, когда заговорит проезжий. Он привык к тому, что проезжие по вечерам на сон грядущий рассказывали всякие истории, и любил это. Его старуха Афанасьевна и невестка Софья доили под навесом коров; другая невестка, Варвара, сидела у открытого окна в верхнем этаже и ела подсолнухи.

— Мальчишка этот твой сынок будет, стало? — спросил Дюдя у проезжего.

— Нет, приемышек, сиротка. Взял его к себе за спасение души.

Разговорились. Проезжий оказался человеком словоохотливым и красноречивым, и Дюдя из разговора узнал, что это мещанин из города, домовладелец, что зовут его Матвеем Саввичем, что едет он теперь смотреть сады, которые арендует у немцев-колонистов, и что мальчика зовут Кузькой. Вечер был жаркий и душный, спать никому не хотелось. Когда стемнело и на небе кое-где замигали бледные звезды, Матвей Саввич стал рассказывать, откуда у него взялся Кузька. Афанасьевна и Софья стояли поодаль и слушали. А Кузька пошел к воротам.

— Это, дедушка, история подробная до чрезвычайности, — начал Матвей Саввич, — и если тебе рассказать все, как было, то и ночи не хватит. Лет десять назад на нашей улице, как раз рядом со мной в домике, где теперь свечной завод и маслобойня, жила Марфа Симоновна Каплунцева, вдова-старушка, и у нее было два сына: один служил в кондукторах на чугунке, а другой, Вася, мой сверстник, жил дома при

маменьке. Покойный старик Каплунцев держал лошадей, пар пять, и посылал по городу ломовых извозчиков; вдова этого дела не бросала и командовала извозчиками не хуже покойника, так что в иные дни чистого рублей пять выезжали. И у парня тоже доходишки были. Голубей породистых разводил и продавал охотникам; все, бывало, стоит на крыше, веник вверх швыряет и свистит, а турманы под самыми небесами, а ему все мало и еще выше хочется. Чижей и скворцов ловил, клетки мастерил... Пустое дело, а гляди, по пустякам в месяц рублей десять набежит. Ну-с, по прошествии времени у старушки отнялись ноги, и слегла она в постель. По причине такого факта дом остался без хозяйки, а это все равно что человек без глаза. Захлопотала старушка и надумала оженить своего Васю. Позвали сейчас сваху, пятое-десятое, бабьи разговоры, и пошел наш Вася невест глядеть. Засватал он у вдовы Самохвалихи Машеньку. Недолго думая, благословили и в одну неделю все дело оборудовали. Девочка молодая, лет семнадцати, маленькая, кургузенькая, но лицом белая и приятная, со всеми качествами, как барышня; и приданое ничего себе: деньгами рублей пятьсот, коровенка, постель... А старуха, чуяло ее сердце, на третий же день после свадьбы отправилась в горний Иерусалим, идеже несть ни болезней, ни воздыханий. Молодые помянули и зажили. Прожили они с полгодика великолепным образом и вдруг новое горе. Пришла беда, отворяя ворота: потребовали Васю в присутствие жребий вынимать. Взяли его, сердягу, в солдаты и даже льготы не дали. Забрили лоб и погнали в Царство Польское. Божья воля, ничего не поделаешь. Когда с женой во дворе прощался — ничего, а как взглянул последний раз на сенник с голубями, залился ручьем. Глядеть было жалко. В первое время Машенька, чтоб скучно не было, взяла к себе мать; та пожила до родов, когда вот этот самый Кузька родился, и поехала в Обоянь к другой дочке, тоже замужней, и осталась Машенька одна с ребеночком. Пять ломовых мужиков, народ все пьяный, озорной; лошади, дроги, там, гляди, забор обвалился или в трубе сажа загорелась — не женского ума дело, и стала она по соседству

ко мне за каждым пустяком обращаться. Ну, придешь, распорядишься, посоветуешь... Известное дело, не без того, зайдешь в дом, чаю выпьешь, поговоришь. Человек я был молодой, умственный, любил поговорить о всяких предметах, она тоже была образованная и вежливая. Одевалась чистенько и летом с зонтиком ходила. Бывало, начну ей про божественное или насчет политики, а ей лестно, она меня чаем и вареньем... Одним словом, чтоб долго не расписывать, скажу тебе, дедушка, не прошло и года, как смутил меня нечистый дух, враг рода человеческого. Стал я замечать, что в который день не пойду к ней, мне словно не по себе, скучно. И все придумываю, за чем бы к ней сходить. «Вам, говорю, пора зимние рамы вставлять», и целый день у ней прохлаждаюсь, рамы вставляю и норовлю еще на завтра рамы две оставить. «Надо бы голубей Васиных сосчитать, не пропали бы которые»,— и все так. Все, бывало, с ней через забор разговариваю и под конец, чтобы недалеко было ходить, сделал я в заборе калиточку. На этом свете от женского пола много зла и всякой пакости. Не только мы, грешные, но и святые мужи совращались. Машенька меня от себя не отвадила. Вместо того чтоб мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила. Стал я замечать, что ей тоже скучно и что все она около забора похаживает и в щелки в мой двор смотрит. Завертелись в моей голове мозги от фантазии. В четверг на Святой неделе иду рано утром, чуть свет, на базар, прохожу мимо ее ворот, а нечистый тут как тут; поглядел я — у нее калитка с этакой решеточкой наверху,— а она стоит среди двора, уже проснувшись, и уток кормит. Я не удержался и окликнул. Она подошла и глядит на меня сквозь решетку. Личико белое, глазки ласковые, заspanные... Очень она мне понравилась, и стал я ей комплименты говорить, словно мы не у ворот, а на именинах, а она покраснела, смеется и все смотрит мне в самые глаза и не мигает. Потерял я разум и начал объяснять ей свои любовные чувства... Она отперла калитку, впустила, и с того утра стали мы жить, как муж и жена.

С улицы во двор вошел горбатенький Алешка и,

запыхавшись, ни на кого не глядя, побежал в дом; через минуту он выбежал из дома с гармоникой и, звеня в кармане медными деньгами, щелкая на бегу подсолнухи, скрылся за воротами.

— А это кто у вас? — спросил Матвей Саввич.

— Сын, Алексей, — ответил Дюдя. — Гулять пошел, подлец. Бог его горбом обидел, так мы уж не очень взыскиваем.

— И все он гуляет с ребятами и все гуляет, — вздохнула Афанасьевна. — Перед масленой женили его, думали — как лучше, а он поди еще хуже стал.

— Без пользы. Только чужую девку осчастливили задаром, — сказал Дюдя.

Где-то за церковью запели великолепную печальную песню. Нельзя было разобрать слов, и слышались одни только голоса: два тенора и бас. Оттого, что все прислушались, во дворе стало тихо-тихо... Два голоса вдруг оборвали песню раскатистым смехом, а третий, тенор, продолжал петь и взял такую высокую ноту, что все невольно посмотрели вверх, как будто голос в высоте своей достигал самого неба. Варвара вышла из дому и, заслонив глаза рукою, как от солнца, поглядела на церковь.

— Это поповичи с учителем, — сказала она.

Опять все три голоса запели вместе. Матвей Саввич вздохнул и продолжал:

— Такие-то дела, дедушка. Года через два получили мы письмо от Васи из Варшавы. Пишет, что начальство отправляет его домой на поправку. Нездоров. К тому времени я дурь из головы выбросил, и за меня уж хорошую невесту сватали, и не знал я только, как с любвишкой развязаться. Каждый день собирался поговорить с Машенькой, да не знал, с какой стороны к ней подступить, чтоб бабьего визгу не было. Письмо мне руки развязало. Прочитали мы его с Машенькой, сна побелела, как снег, а я и говорю: «Слава богу, теперь, говорю, значит, ты опять будешь мужняя жена». А она мне: «Не стану я с ним жить». — «Да ведь он тебе муж?» — говорю. «Легко ли... Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать велела». — «Да ты, говорю, не отвиливай, дура, ты ска-

жи: венчалась ты с ним в церкви или нет?» — «Венчалась, говорит, но я тебя люблю и буду жить с тобой до самой смерти. Пускай люди смеются... Я без внимания...» — «Ты, говорю, богомольная и читала писание, что там написано?»

— За мужа выдана, с мужем и жить должна, — сказал Дюдя.

— Жена и муж едина плоть. «Погрешили, говорю, мы с тобой и будет, надо совесть иметь и бога бояться. Повинимся, говорю, перед Васей, он человек смирный, робкий — не убьет. Да и лучше, говорю, на этом свете муки от законного мужа претерпеть, чем на страшном судилище зубами скрежетать». Не слушает баба, уперлась на своем и хоть ты что! «Тебя люблю» — и больше ничего. Приехал Вася в субботу под самую троицу, рано утром. Мне в забор все было видно: вбежал он в дом, через минуту вышел с Кузькой на руках, и смеется, и плачет, Кузьку целует, а сам на сенник смотрит — и Кузьку бросать жалко и к голубям хочется. Нежный был человек, чувствительный. День прошел благополучно, тихо и скромно. Зазвонили ко всенощной, я и думаю: завтра троица, что же они ворот и забора зелеными не убирают? Дело, думаю, неладно. Пошел я к ним. Гляжу, сидит он среди комнаты на полу, поводит глазами, как пьяный, слезы по щекам текут, и руки трясутся; вынимает он из узла баранки, монисты, пряники и всякие гостинцы и расшвыривает по полу. Кузька — тогда ему три годочка было — ползает около и пряники жует, а Машенька стоит около печки, бледная, вся дрожит и бормочет: «Я тебе не жена, не хочу с тобой жить», — и всякие глупости. Поклонился я Васе в ноги и говорю: «Виноваты мы перед тобой, Василий Максимыч, прости, Христа ради!» Потом встал и говорю Машеньке такие слова: «Вы, Марья Семеновна, говорю, должны теперь Василию Максимычу ноги мыть и юшку пить. И будьте вы ему покорная жена, а за меня молитесь богу, чтоб он, говорю, милосердный, простил мне мое согрешение». Как будто мне было внушение от ангела небесного, прочитал я ей наставление и говорил так чувствительно, что меня даже слеза пошибла. Этак дня че-

рез два приходит ко мне Вася. «Я, говорит, прощаю, Матюша, и тебя и жену, бог с вами. Она солдатка, дело женское, молодое, трудно себя соблюсти. Не она первая, не она последняя. А только, говорит, я прошу тебя жить так, как будто между вами ничего не было, и виду не показывай, а я, говорит, буду стараться ей угождать во всем, чтобы она меня опять полюбила». Руку мне подал, чайку попил и ушел веселый. Ну, думаю, слава богу, и весело мне стало, что все так хорошо вышло. Но только что Вася из двора, как пришла Машенька. Чистое наказание! Вешается на шею, плачет и молит: «Ради бога, не бросай, жить без тебя не могу».

— Эка подлая! — вздохнул Дюдя.

— Я на нее закричал, ногами затопал, выволок ее в сени и дверь на крючок запер. «Иди, кричу, к мужу! Не срами меня перед людьми, бога побойся!» И каждый день такая история. Раз утром стою я у себя на дворе около конюшни и починаю уздечку. Вдруг, смотрю, бежит она через калитку ко мне во двор, босая, в одной юбке, и прямо ко мне; ухватилась руками за уздечку, вся опачкалась в смоле, трясется, плачет... «Не могу жить с постылым; сил моих нет! Если не любишь, то лучше убей». Я осерчал и ударил ее раза два уздечкой, а в это время вбегает в калитку Вася и кричит отчаянным голосом: «Не бей! не бей!» А сам подбежал и, словно очумел, размахнулся и давай бить ее кулаками изо всей силы, потом повалил на землю и ну топтать ногами; я стал оборонять, а он схватил вожжи и давай вожжами. Бьет и все, как жеребенок, повизгивает: ги-ги-ги!

— Взять вожжи, да тебя бы так...— проворчала Варвара, отходя.— Извели нашу сестру, проклятые...

— Замолчи ты! — крикнул на нее Дюдя.— Кобыла!

— Ги-ги-ги! — продолжал Матвей Саввич.— Из его двора прибежал извозчик, кликнул я своего работника, и все втроем отняли у него Машеньку и повели под ручки домой. Срамота! Того же дня вечером пошел я проведать. Она лежит в постели, вся закутанная, в примочках, только одни глаза и нос видать, и



глядит в потолок. Я говорю: «Здравствуйте, Марья Семеновна!» Молчит. А Вася сидит в другой комнате, держится за голову и плачет: «Злодей я! Погубил я свою жизнь! Пошли мне, господи, смерти!» Я посидел с полчаса около Машеньки и прочитал ей наставление. Пострашал. «Праведные, говорю, на том свете пойдут в рай, а ты в геенну огненную, заодно со всеми блудницами... Не противься мужу, иди ему в ноги поклонись». А она ни словечка, даже глазом не моргнула, словно я столбу говорю. На другой день Вася заболел, вроде как бы холерой, и к вечеру, слышу, помер. Похоронили. Машенька на кладбище не была, не хотела людям свое бесстыжее лицо и синяки показывать. И вскорости пошли по мещанству разговоры, что Вася помер не своей смертью, что извела его Машенька. Дошло до начальства. Васю вырыли, распотрошили и нашли у него в животе мышьяк. Дело было ясное, как пить дать; пришла полиция и забрала Машеньку, а с ней и Кузьму-бессребренника. Посадили в острог. Допрыгалась баба, наказал бог... Месяцев через восемь судили. Сидит, помню, на скамеечке в белом платочке и в сером халатике, а сама худенькая, бледная, остроглазая, смотреть жалко. Позади солдат с ружьем. Не признавалась. Одни на суде говорили, что она мужа отравила, а другие доказывали, что муж сам с горя отравился. Я в свидетелях был. Когда меня спрашивали, я объяснял все по совести. «Ее, говорю, грех. Скрывать нечего, не любила мужа, с характером была...» Судить начали с утра, а к ночи вынесли такое решение: сослать ее в каторгу в Сибирь на тринадцать лет. После такого решения Машенька потом в нашем остроге месяца три сидела. Я ходил к ней и по-человечности носил ей чайку, сахарку. А она, бывало, увидит меня и начнет трястись всем телом, машет руками и бормочет: «Уйди! Уйди!» И Кузьку к себе прижимает словно боится, чтоб я не отнял. «Вот, говорю, до чего ты дожила! Эх, Маша, Маша, погибшая душа! Не слушалась меня, когда я учил тебя уму, вот и плачься теперь. Сама, говорю, виновата, себя и вини». Я ей читаю наставление, а она: «Уйди! Уйди!» — и жметесь к Кузькой к стене и дрожит. Когда ее от нас в губер-

нию отправляли, я провожать ходил до вокзала и сунул ей в узел рублишку за спасение души. Но не дошла она до Сибири... В губернии заболела горячкой и померла в остроге.

— Собаке собачья и смерть,— сказал Дюдя.

— Кузьку вернули назад домой... Я подумал, подумал и взял его к себе. Что ж? Хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, крещеная... Жалко. Сделаю его приказчиком, а ежели своих детей не будет, то и в купцы выведу. Теперь, как еду куда, беру его с собой: пускай приучается.

Пока Матвей Саввич рассказывал, Кузька все время сидел около ворот на камешке и, подперев обеими руками голову, смотрел на небо; издали в потемках походил он на пенек.

— Кузька, иди спать! — крикнул ему Матвей Саввич.

— Да, уж время,— сказал Дюдя, поднимаясь; он громко зевнул и добавил: — Норовят все своим умом жить, не слушаются, вот и выходит по-ихнему.

Над двором на небе плыла уже луна; она быстро бежала в одну сторону, а облака под нею в другую; облака уходили дальше, а она все была видна над двором. Матвей Саввич помолился на церковь и, пожелав доброй ночи, лег на земле около повозки. Кузька тоже помолился, лег в повозку и укрылся сюртучком; чтобы удобнее было, он намял себе в сене ямочку и согнулся так, что локти его касались коленей. Со двора видно было, как Дюдя у себя внизу зажег свечку, надел очки и стал в углу с книжкой. Он долго читал и кланялся.

Приезжие уснули. Афанасьевна и Софья подошли к повозке и стали смотреть на Кузьку.

— Спит сиротка,— сказала старуха.— Худенький, тощенький, одни кости. Родной матери нет, и покормить его путем некому.

— Мой Гришутка, должно, годочка на два старше,— сказала Софья.— На заводе в неволе живет, без матери. Хозяин бьет небось. Как поглядела я давеча на этого мальчонка, вспомнила про своего Гришутку — сердце мое кровью запеклось.

Прошла минута в молчании.

— Чай, не помнит матери,— сказала старуха.

— Где помнить!

И у Софьи из глаз потекли крупные слезы.

— Калачиком свернулся...— сказала она, всхлипывая и смеясь от умиления и жалости.— Сиротка моя бедная.

Кузька вздрогнул и открыл глаза. Он увидел перед собой некрасивое, сморщенное, заплаканное лицо, рядом с ним другое, старушечье, беззубое, с острым подбородком и горбатым носом, а выше них бездонное небо с бегущими облаками и луной и вскрикнул от ужаса. Софья тоже вскрикнула; им обоим ответило эхо, и в душном воздухе пронеслось беспокойство; застучал по соседству сторож, залаяла собака. Матвей Саввич пробормотал что-то во сне и повернулся на другой бок.

Поздно вечером, когда уже спали и Дюдя, и старуха, и соседний сторож, Софья вышла за ворота и села на лавочку. Ей было душно, и от слез разболелась голова. Улица была широкая и длинная; направо версты две, налево столько же, и конца ей не видно. Луна уже ушла от двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней; длинные тени тополей и скворещен тянулись через всю улицу, а тень от церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. С конца улицы изредка доносилась едва слышная музыка; должно быть, это Алешка играл на своей гармонике.

В тени около церковной ограды кто-то ходил, и нельзя было разобрать, человек это или корова, или, быть может, никого не было, и только большая птица шуршала в деревьях. Но вот из тени вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужским голосом, потом скрылась в переулке около церкви. Немного погодя саженьях в двух от ворот показалась еще фигура; она шла от церкви прямо к воротам и, увидев на лавочке Софью, остановилась.

— Варвара, ты, что ли?— спросила Софья.

— А хоть бы и я.

Это была Варвара. Она минуту постояла, потом подошла к лавочке и села.

— Ты где ходила? — спросила Софья.

Варвара ничего не ответила.

— Не нагуляла бы ты себе, молодайка, какого горя, — сказала Софья. — Слыхала, как Машеньку и ногами и вожжами? Тебе бы, гляди, того не было.

— А пускай.

Варвара засмеялась в платок и сказала шепотом:

— С поповичем сейчас гуляла,

— Болтаешь.

— Ей-богу.

— Грех! — шепнула Софья.

— А пускай... Чего жалеть? Грех так грех, а лучше пускай гром убьет, чем такая жизнь. Я молодая, здоровая, а муж у меня горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятого. В девках жила, куска недоедала, босая ходила и ушла от тех злыдней, польстилась на Алешкино богатство и попала в неволю, как рыба в вершу, и легче мне было бы с гадюкой спать, чем с этим Алешкой паршивым. А твоя жизнь? Не глядели б мои глаза. Твой Федор прогнал тебя с завода к отцу, а сам себе другую завел; мальчишку у тебя отняли и в неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь, и доброго слова не слышишь. Лучше весь свой век в девках маяться, лучше с поповичей полтинники брать, милостыню собирать, лучше в колодезь головой...

— Грех! — опять шепнула Софья.

— А пускай.

Где-то за церковью опять запели печальную песню те же самые три голоса: два тенора и бас. И опять нельзя было разобрать слов.

— Полунощники... — засмеялась Варвара.

И она стала рассказывать шепотом, как она по ночам гуляет с поповичем, и что он ей говорит, и какие у него товарищи, и как она с проезжими чиновниками и купцами гуляла. От печальной песни потянуло свободной жизнью, Софья стала смеяться, ей было и

грешно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива...

На погосте в старой церкви ударили полночь.

— Пора спать,— сказала Софья, вставая,— а то как бы Дюдя не хватился.

Обе тихо пошли во двор.

— Я ушла и не слыхала, что он после про Машеньку рассказывал,— сказала Варвара, постилая под окном.

— Померла, говорит, в остроге. Мужа отравила.

Варвара легла рядом с Софьей, подумала и сказала тихо:

— Я бы своего Алешку извела и не пожалела.

— Болтаешь, бог с тобой.

Когда Софья засыпала, Варвара прижалась к ней и шепнула на ухо:

— Давай Дюдю и Алешку изведем!

Софья вздрогнула и ничего не сказала, потом открыла глаза и долго, не мигая, глядела на небо.

— Люди узнают,— сказала она.

— Не узнают. Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алешка, скажут, от пьянства издох.

— Страшно... Бог убьет.

— А пускай...

Обе не спали и молча думали.

— Холодно,— сказала Софья, начиная дрожать всем телом.— Должно, утро скоро... Ты спишь?

— Нет... Ты меня не слушай, голубка,— зашептала Варвара.— Злоблюсь на них, проклятых, и сама не знаю, что говорю. Спи, а то уж заря занимается... Спи...

Обе замолчали, успокоились и скоро уснули.

Раньше всех проснулась старуха. Она разбудила Софью, и обе пошли под навес доить коров. Пришел горбатенький Алешка, совершенно пьяный, без гармоника; грудь и колени у него были в пыли и соломе — должно быть, падал дорогой. Покачиваясь, он пошел под навес и, не раздеваясь, повалился в сани и тотчас же захрапел. Когда от восходившего солнца

ярким пламенем загорелись кресты на церкви, потом окна и через двор по росистой траве потянулись тени от деревьев и колодезного журавля, Матвей Саввич вскочил и засутился.

— Кузька, вставай! — закричал он. — Запрягать пора! Живо!

Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка, в коричневом платье с оборками, привела во двор лошадь на водопой. Заскрипел жалобно колодезный журавль, застучало ведро... Кузька, сонный, вялый, покрытый росой, сидел на повозке, лениво надевал сюртучок и слушал, как в колодезе из ведра плескалась вода, и пожимался от холода.

— Тетка, — крикнул Матвей Саввич Софье, — тюкни моему парню, чтобы запрягать шел!

И Дюдя в это время кричал из окошка:

— Софья, возьми с жидовки за водопой копейку! Повадились, пархатые.

На улице взад и вперед бегали овцы и бляели; бабы кричали на пастуха, а он играл на свирели, хлопал бичом или отвечал им тяжелым, сиплым басом. Во двор забежали три овцы и, не найдя ворот, тыкались у забора. От шума проснулась Варвара, забрала в охапку постель и пошла к дому.

— Ты бы хоть овец выгнала! — крикнула ей старуха. — Барыня!

— Вот еще! Стану я на вас, иродов, работать, — проворчала Варвара, уходя в дом.

Подмазали повозку и запрягли лошадей. Из дома вышел Дюдя со счетами в руках, сел на крылечке и стал считать, сколько приходится с проезжего за ночлег, за овес и водопой.

— Дорого, дедушка, за овес кладешь, — сказал Матвей Саввич.

— Коли дорого, не бери. Мы, купец, не неволим.

Когда проезжие пошли к повозке, чтобы садиться и ехать, их на минутку задержало одно обстоятельство. У Кузьки пропала шапка.

— Куда же ты, свиненок, ее девал? — крикнул сердито Матвей Саввич. — Где она?

У Кузьки от ужаса перекосило лицо, он заметался около повозки и, не найдя тут, побежал к воротам, потом под навес. Ему помогали искать старуха и Софья.

— Я тебе уши оборву! — крикнул Матвей Саввич.— Поганец этакий!

Шапка нашлась на дне повозки. Кузька рукавом стряхнул с нее сено, надел и робко, все еще с выражением ужаса на лице, точно боясь, чтобы его не ударили сзади, полез в повозку. Матвей Саввич перекрестился, парень дернул за вожжи, и повозка, тронувшись с места, покатила со двора.

## ДУЭЛЬ

### I

Было восемь часов утра — время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреич Лаевский, молодой человек лет двадцати восьми, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко.

С большой стриженной головой, без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и с седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление бурбона и хрипуна, но проходило два-три дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на «ты», всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей; всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен, и водились за ним только две слабости: во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускною грубостью, и,



во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником.

— Ответь мне, Александр Давидыч, на один вопрос,— начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи.— Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней; прожил ты с нею, положим, больше двух лет и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?

— Очень просто. Иди, матушка, на все четыре стороны — и разговор весь.

— Легко сказать! Но если ей деваться некуда? Женщина она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет...

— Что ж? Единовременно пятьсот в зубы или двадцать пять помесечно — и никаких. Очень просто.

— Допустим, что у тебя есть и пятьсот и двадцать пять помесечно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме?

Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и с шумом покатила назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться.

— Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь,— сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок.— Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти.

Ему вдруг стало стыдно своих слов; он слохватился и сказал:

— А по мне, хоть бы и вовсе баб не было. Ну их к лешему!

Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водою и со льдом и рюмку коньяку; он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья

глаза у него становились масляными, он обеими руками разглаживал бакены и говорил, глядя на море:

— Удивительно великолепный вид!

После долгой ночи, потраченной на невеселые, бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купанья и кофе ему не стало лучше.

— Будем, Александр Давидыч, продолжать наш разговор,— сказал он.— Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу: дела мои с Надеждой Федоровной плохи... очень плохи! Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться.

Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу.

— Я прожил с нею два года и разлюбил...— продолжал Лаевский,— то есть, вернее, я понял, что никакой любви не было... Эти два года были — обман.

У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое.

— Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь,— сказал он,— но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее... В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель! Что ни говори.

Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал:

— Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры...

— Боже мой,— вздохнул Лаевский,— до какой степени мы искалечены цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину; она меня тоже... Вначале у нас

были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы... Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так: вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену вицмундир и буду служить, потом же на просторе возьмем себе клочок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной тридцать лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и тысячу десятин кукурузы, я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдье, а выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура — все это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе, под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка... С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограду — ни к черту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не интересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами, те же папилютки каждое утро и тот же самообман...

— Без утюга нельзя в хозяйстве, — сказал Самойленко, краснея от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. — Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная, ты — величайшего ума человек... Конечно, вы не венчаны, — продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы, — но ведь это не ваша вина, и к тому же... надо быть без предубеждений и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да... Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти.

— Без любви?

— Я тебе сейчас объясню,— сказал Самойленко.— Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал: в семейной жизни главное — терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход все свое терпение...

— Ты веришь своему старичку агенту, для меня же его совет — бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить, он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека, как на предмет, необходимый для его упражнений, но я еще не пал так низко; если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое.

Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил:

— Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?

— Это, как бы тебе объяснить... такая болезнь, когда мозги становятся мягче... как бы разжижаются.

— Излечимо?

— Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка... Ну, внутрь чего-нибудь.

— Так... Так вот видишь ли, какое мое положение. Жить с нею я не могу: это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне сказали, положим, что я обязан прожить с нею еще хоть один месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет, денег нет ни у меня, ни у нее... Куда она денется? К кому пойдет? Ничего не придумаешь... Ну вот, скажи: что делать?

— М-да...— промычал Самойленко, не зная, что ответить.— Она тебя любит?

— Да, любит настолько, насколько ей в ее годы

и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или пѣпильотками. Я для нее необходимая составная часть ее будуара.

Самойленко сконфузился.

— Ты сегодня, Ваня, не в духе,— сказал он.— Не спал, должно быть.

— Да, плохо спал... Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замиранія сердца, слабость какая-то... Бежать надо!

— Куда?

— Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям... Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть с самым плохоньким студентом и болтать, болтать... А сеном-то как пахнет! Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд...

Лаевский засмеялся от удовольствия, на глазах у него выступили слезы, и, чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками.

— А я уже восемнадцать лет не был в России,— сказал Самойленко.— Забыл уж, как там. По-моему, великолепнее Кавказа и края нет.

— У Верещагина есть картина: на дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух: быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста.

Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью и, вероятно, потому, что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил:

— Твоя мать жива?

— Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи.

Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого, студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной — и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной — всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось, и он считал Лаевского выше себя и уважал его.

— Еще одна подробность, — сказал Лаевский, встряхивая головой. — Только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней... Третьего дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга.

— Царство небесное... — вздохнул Самойленко. — Почему же ты от нее скрываешь?

— Показать ей это письмо значило бы: пожалуйста в церковь венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно.

— Знаешь что, Ваня? — сказал Самойленко, и лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. — Женись, голубчик!

— Зачем?

— Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной! Муж у нее умер, и таким образом само провидение указывает тебе, что делать!

— Но пойми, чудака, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню не веруя.

— Но ты обязан!

— Почему же я обязан? — спросил с раздражением Лаевский.

— Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность.

— Но тебе говорят русским языком: я не люблю!

— Ну, любви нет, так почитай, ублажай...

— Почитай, ублажай... — передразнил Лаевский. — Точно она игуменья... Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что, живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня.

— Ваня, Ваня... — сконфузился Самойленко.

— Ты — старый ребенок, теоретик, а я — молодой старик и практик, и мы никогда не пойдем друг друга. Прекратим лучше этот разговор. Мустафа! — крикнул Лаевский человеку. — Сколько с нас следует?

— Нет, нет... — испугался доктор, хватая Лаевского за руку. — Это я заплачу. Я требовал. Запиши за мной! — крикнул он Мустафе.

Прятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощанье пожали друг другу руки.

— Избалованы вы очень, господа! — вздохнул Самойленко. — Послала тебе судьба женщину молодую, красивую, образованную — и ты отказываешься, а мне бы дал бог хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике и...

Самойленко спохватился и сказал:

— И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила.

Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару. Когда он, грузный, величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпятив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что

молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые, худосочные пальмы очень красивы и будут со временем давать широкую тень, что черкесы — честный и гостеприимный народ. «Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится, — думал он, — очень странно». Встретились пять солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника с сыном-гимназистом.

— Марья Константиновна, доброе утро! — крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь. — Купаться ходили? Ха-ха-ха... Почтение Никодиму Александрычу!

И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться, но, увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и спросил:

— Есть кто-нибудь в лазарете?

— Никого, ваше превосходительство.

— А?

— Никого, ваше превосходительство.

— Хорошо, ступай...

Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая, полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком:

— Будьте так любезны, дайте мне содовой воды!

## II

Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что все, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и все, что он читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу. Когда он вернулся домой, она, уже одетая и причесанная, сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала, и он подумал, что питье кофе — не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило делать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, так как нравиться тут некому и не для чего. И в книжке журнала он увидел



ложь. Он подумал, что одевается она и причесывается, чтобы казаться красивой, и читает для того, чтобы казаться умной.

— Ничего, если я сегодня пойду купаться? — спросила она.

— Что ж? Пойдешь или не пойдешь, от этого землегресения не будет, полагаю...

— Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор не рассердился.

— Ну и спроси у доктора. Я не доктор.

На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завиточки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: «Как это верно! как верно!» Чувствуя слабость и пустоту в голове, он пошел к себе в кабинет, лег на диван и накрыл лицо платком, чтобы не надоедали мухи. Вялые, тягучие мысли все об одном и том же потянулись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в сопливое, угнетенное состояние. Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной и перед ее мужем и что муж умер по его вине. Ему казалось, что он виноват перед своею жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный мир представлялся ему возможным и существующим не здесь, на берегу, где бродят голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на севере, где опера, театры, газеты и все виды умственного труда. Честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит. Два года тому назад, когда он полюбил Надежду Федоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни; так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он получит все, что ему нужно.

— Бежать! — пробормотал он, садясь и грызя ногти. — Бежать!

Воображение его рисовало, как он садится на паром и потом завтракает, пьет холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами, потом в Севастополе садится в поезд и едет. Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой, воздух становится все холоднее и жестче, вот березы и ели, вот Курск, Москва... В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь... Скорей, скорей! Вот, наконец, Невский, Большая Морская, а вот Ковенский переулочек, где он жил когда-то со студентами, вот милое серое небо, морозящий дождик, мокрые извозчики...

— Иван Андреич! — позвал кто-то из соседней комнаты. — Вы дома?

— Я здесь! — отозвался Лаевский. — Что вам?

— Бумаги!

Лаевский поднялся лениво, с головокружением, и, зевая, шлепая туфлями, пошел в соседнюю комнату. Там у открытого окна на улице стоял один из его молодых сослуживцев и раскладывал на подоконнике казенные бумаги.

— Сейчас, голубчик, — мягко сказал Лаевский и пошел отыскивать чернильницу; вернувшись к окну, он, не читая, подписал бумаги и сказал: — Жарко!

— Да-с. Вы придете сегодня?

— Едва ли... Нездоровится что-то. Скажите, голубчик, Шешковскому, что после обеда я зайду к нему.

Чиновник ушел. Лаевский опять лег у себя на диване и начал думать:

«Итак, надо взвесить все обстоятельства и сообразить. Прежде чем уехать отсюда, я должен расплатиться с долгами. Должен я около двух тысяч рублей. Денег у меня нет... Это, конечно, не важно; часть теперь заплачу как-нибудь, а часть вышлю потом из Петербурга. Главное, Надежда Федоровна... Прежде всего надо выяснить наши отношения... Да».

Немного погодя он соображал: не пойти ли лучше к Самойленко посоветоваться?

«Пойти можно,— думал он,— но какая польза от этого? Опять буду говорить ему некстати о будуаре, о женщинах, о том, что честно или нечестно. Какие тут, черт подери, могут быть разговоры о честном или нечестном, если поскорее надо спасти жизнь мою, если я задыхаюсь в этой проклятой неволе и убиваю себя?.. Надо же, наконец, понять, что продолжать такую жизнь, как моя,— это подлость и жестокость, пред которой все остальное мелко и ничтожно. Бежать! — бормотал он, садясь.— Бежать!»

Пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно одиноких, нагоняли на него тоску и, как казалось, усыпляли и обкрадывали его. Быть может, он очень умен, талантлив, замечательно честен; быть может, если бы со всех сторон его не замыкали море и горы, из него вышел бы превосходный земский деятель, государственный человек, оратор, публицист, подвижник. Кто знает! Если так, то не глупо ли толковать, честно это или нечестно, если даровитый и полезный человек, например, музыкант или художник, чтобы бежать из плена, ломает стену и обманывает своих тюремщиков? В положении такого человека все честно.

В два часа Лаевский и Надежда Федоровна сели обедать. Когда кухарка подала им рисовый суп с томатами, Лаевский сказал:

— Каждый день одно и то же. Отчего бы не сварить щей?

— Капусты нет.

— Странно. И у Самойленка варят щи с капустой и у Марьи Константиновны щи, один только я почему-то обязан есть эту сладковатую бурду. Нельзя же так, голубка.

Как это бывает у громадного большинства супругов, раньше у Лаевского и у Надежды Федоровны ни один обед не обходился без капризов и сцен, но с тех пор как Лаевский решил, что он уже не любит, он старался во всем уступать Надежде Федоровне, говорил с нею мягко и вежливо, улыбался, называл голубкой.

— Этот суп похож вкусом на лакрицу,— сказал он, улыбаясь; он делал над собою усилия, чтобы казаться

приветливым, но не удержался и сказал: — Никто у нас не смотрит за хозяйством... Если уж ты так больна или занята чтением, то, изволь, я займусь нашей кухней.

Раньше она ответила бы ему: «Займись», или: «Ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать», — но теперь только робко взглянула на него и покраснела.

— Ну, как ты чувствуешь себя сегодня? — спросил он ласково.

— Сегодня ничего. Так, только маленькая слабость.

— Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя.

Надежда Федоровна была чем-то больна. Самойленко говорил, что у нее перемежающаяся лихорадка, и кормил ее хиной; другой же доктор, Устимович, высокий, сухощавый, нелюдимый человек, который днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по наберсж-ной и кашлял, находил, что у нее женская болезнь, и прописывал согревающие компрессы. Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Федоровны возбуждала в нем жалость и страх, теперь же и в болезни он видел ложь. Желтое, сонное лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, — все это, по его мнению, разрушало иллюзию и было протестом против любви и брака.

На второе блюдо ему подали шпинат с крутыми яйцами, а Надежде Федоровне, как больной, кисель с молоком. Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство, и он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу.

— Мерсі, голубка,— сказал он после обеда и поцеловал Надежду Федоровну в лоб.

Придя к себе в кабинет, он минут пять ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сапоги, потом сел на диван и пробормотал:

— Бежать, бежать! Выяснить отношения и бежать!

Он лег на диван и опять вспомнил, что муж Надежды Федоровны, быть может, умер по его вине.

— Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо,— убеждал он себя, лежа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги.— Любовь и ненависть не в нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть может, косвенным образом был одною из причин его смерти, но опять-таки виноват ли я в том, что полюбил его жену, а жена — меня?

Затем он встал и, отыскав свою фуражку, отправился к своему сослуживцу Шешковскому, у которого каждый день собирались чиновники играть в винт и пить холодное пиво.

«Своею нерешительностью я напоминаю Гамлета,— думал Лаевский дорогой.— Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно!»

### III

Чтобы скучно не было и снисходя к крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым, за неимением гостиницы в городе, негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое: молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и дьякон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей дьякона-старика, уехавшего лечиться. Оба они платили за обед и за ужин по двенадцать рублей в месяц, и Самойленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к двум часам.

Первым обыкновенно приходил фон Корен. Он молча садился в гостиной и, взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких панталонах и

цилиндрах и дам в кринолинах и в чепцах; Самойленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом: «Прекраснейший, величайшего ума человек!» Покончив с альбомом, фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищулив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, курчавые, как у негра, волосы, и свою рубаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожего на персидский ковер, и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Пока он рассматривал альбом и стоял перед зеркалом, в это время в кухне и около нее, в сенях, Самойленко, без сюртука и без жилетки, с голой грудью, волнуясь и обливаясь потом, суетился около столов, приготовляя салат, или какой-нибудь соус, или мясо, огурцы и лук для окрошки, и при этом злобно таращил глаза на помогавшего ему денщика и замахивался на него то ножом, то ложкой.

— Подай укус! — приказывал он. — То бишь не укус, а прованское масло! — кричал он, топая ногами. — Куда же ты пошел, скотина?

— За маслом, ваше превосходительство, — говорил оторопевший денщик надтреснутым тенором.

— Скорее! Оно в шкапу! Да скажи Дарье, чтоб она в банку с огурцами укропу прибавила! Укропу! Накрой сметану, разява, а то мухи налезут!

И от его крика, казалось, гудел весь дом. Когда до двух часов оставалось десять или пятнадцать минут, приходил дьякон, молодой человек лет двадцати двух, худощавый, длинноволосый, без бороды и с едва заметными усами. Войдя в гостиную, он крестился на образ, улыбался и протягивал фон Корену руку.

— Здравствуйте,— холодно говорил зоолог.— Где были?

— На пристани бычков ловил.

— Ну конечно... По-видимому, дьякон, вы никогда не будете заниматься делом.

— Отчего же? Дело не медведь, в лес не уйдет,— говорил дьякон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника.

— Бить вас некому! — вздыхал зоолог.

Проходило еще пятнадцать — двадцать минут, а обедать не звали, и все еще слышно было, как денщик, бегая из сеней в кухню и обратно, стучал сапогами и как Самойленко кричал:

— Поставь на стол! Куда суешь? Помой сначала!

Проголодавшиеся дьякон и фон Корен начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец дверь отворилась и замученный денщик объявлял: «Кушать готово!» В столовой встречал их багровый, распаренный в кухонной духоте и сердитый Самойленко; он злобно глядел на них и с выражением ужаса на лице поднимал крышку с супника и наливал обоим по тарелке и, только когда убеждался, что они едят с аппетитом и что кушанье им нравится, легко вздыхал и садился в свое глубокое кресло. Лицо его становилось томным, масляным... Он не спеша наливал себе рюмку водки и говорил:

— За здоровье молодого поколения!

После разговора с Лаевским Самойленко все время от утра до обеда, несмотря на прекраснейшее настроение, чувствовал в глубине души некоторую тяжесть; ему было жаль Лаевского и хотелось помочь ему. Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал:

— Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живетя человечку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное — психология одолела. Жаль парня.

— Вот уж кого мне не жаль! — сказал фон Корен.— Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони...

— Неправда. Ты бы этого не сделал.

— Почему ты думаешь? — пожал плечами зоолог. — Я так же способен на доброе дело, как и ты.

— Разве утопить человека — доброе дело? — спросил дьякон и засмеялся.

— Лаевского? Да.

— В крошке, кажется, чего-то недостает... — сказал Самойленко, желая переменить разговор.

— Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба, — продолжал фон Корен. — Утопить его — заслуга.

— Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи: за что ты его ненавидишь?

— Не говори, доктор, пустяков. Ненавидеть и презирать микробу — глупо, а считать своим ближним во что бы то ни стало всякого встречного без различия — это, покорно благодарю, это значит не рассуждать, отказаться от справедливого отношения к людям, умыть руки, одним словом. Я считаю твоего Лаевского мерзавцем, не скрываю этого и отношусь к нему, как к мерзавцу, с полною моею добросовестностью. Ну, а ты считаешь его своим ближним — и поцелуйся с ним; ближним считаешь, а это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и дьякону, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем.

— Называть человека мерзавцем! — пробормотал Самойленко, брезгливо морщась. — Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу!

— О людях судят по их поступкам, — продолжал фон Корен. — Теперь судите же, дьякон... Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Ласевского откровенно развернута перед вами, как длинная китайская грамота, и вы можете читать ее от начала до конца. Что он сделал за эти два года, пока живет здесь? Будем считать по пальцам. Во-первых, он научил жителей городка играть в винт; два года тому назад эта игра была здесь неизвестна, теперь же в винт играют от утра до поздней ночи все, даже женщины и подростки; во-вторых, он научил обывателей пить пиво, которое тоже здесь не было известно; ему же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водок, так что с завязанными глазами они могут теперь отличить водку



Кошелева от Смирнова номер двадцать один. В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно; прелюбодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ; Лаевский же явился в этом отношении пионером: он живет с чужой женой открыто. В-четвертых...

Фон Корен быстро съел свою окрошку и отдал денщику тарелку.

— Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства,— продолжал он, обращаясь к дьякону.— Мы в одно время приехали сюда. Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для винта, выпивки и закуски; к тому же они болтливы и им нужны слушатели. Мы подружились, то есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей содержанки. На первых же порах он поразил меня своею необыкновенною лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так мало культурен и мало знает,— и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или: «Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества?», или: «Мы вырождаемся...» Или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека. Причина крайней распушенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. И притом — ловкая штука! — распутен, лжив и гадок не он один, а мы... «мы люди восьмидесятих годов», «мы вялое, нервное отродье крепостного права», «нас искалечила цивилизация»... Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек,

как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он — роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с ловким мазуриком? Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.

— Замолчи! — вспыхнул Самойленко. — Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке!

— Не перебивай, Александр Давидыч, — холодно сказал фон Корен. — Я сейчас кончу. Лаевский — довольно несложный организм. Вот его нравственный остов: утром туфли, купанье и кофе, потом до обеда туфли, моцион и разговоры, в два часа туфли, обед и вино, в пять часов купанье, чай и вино, затем випт и лганье, в десять часов ужин и вино, а после полуночи сон и la femme<sup>1</sup>. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется — все сводится к вину, картам, туфлям и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что тринадцати лет он уже был влюблен; будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которой он обязан своим музыкальным образованием. Во втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил ее до себя, то есть взял в содержанки, а она пожила с ним полгода и убежала назад к хозяйке, и это бегство причинило ему немало душевных страданий. Увы, он так страдал, что должен был оставить университет и два года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на фило-

---

<sup>1</sup> женщина (франц.).

логический. Он так и сделал. Кончиз курс, он страстно полюбил теперешнюю свою... как ее?.. замужнюю, и должен был бежать с нею сюда на Кавказ, за идеалами якобы... Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами.

— А ты почему знаешь? — проворчал Самойленко, со злобой глядя на зоолога.— Ешь-ка лучше.

Подали отварных кефалей с польским соусом. Самойленко положил обоим нахлебникам по целой кефали и собственноручно полил соусом. Минуты две прошли в молчании.

— Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека,— сказал дьякон.— Ничего не поделаешь.

— Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг, у Лаевского же она — всё, и притом только любовница. Она, то есть сожительство с ней,— счастье и цель его жизни; он весел, грустен, скучен, разочарован — от женщины; жизнь опостылела — женщина виновата; загорелась заря новой жизни, нашлись идеалы — и тут ищи женщину... Удовлетворяют его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох и хуже сороковых и шестидесятых годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаваться любовному экстазу и страсти. У этих сладострастников, должно быть, в мозгу есть особый нарост вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всею психикой. Понаблюдайте-ка Лаевского, когда он сидит где-нибудь в обществе. Вы заметьте: когда при нем поднимаешь какой-нибудь общий вопрос, например, о клеточке или инстинкте, он сидит в стороне, молчит и не слушает; вид у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, все пошло и ничтожно, но как только вы заговорили о самках и самцах, о том, например, что у пауков самка после оплодотворения съедает самца,— глаза у него загораются любопытством, лицо проясняется и человек оживает, одним словом. Все его мысли, как бы благородны, возвышенны или безразличны они ни были, имеют всегда одну и ту же точку общего схода. Идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла.. «Ска-

жите, пожалуйста, спрашивает, что произойдет, если случить ослицу с верблюдом?» А сны! Он рассказывал вам свои сны? Это великолепно! То ему снится, что его женят на луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой...

Дьякон звонко захохотал; Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался и захохотал.

— И все врет! — сказал он, вытирая слезы. — Ей-богу, врет!

#### IV

Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упаду. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленка он прозвал тарантулом, его денщика селезнем и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться со смеху.

— Это развращенный и извращенный субъект, — продолжал зоолог, а дьякон, в ожидании смешных слов, впился ему в лицо. — Редко где можно встретить такое ничтожество. Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера.

Дьякон опять захохотал.

— Не смейтесь, дьякон, — сказал фон Корен, — это глупо, наконец. Я бы не обратил внимания на его ничтожество, — продолжал он, выждав, когда дьякон перестал хохотать, — я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен. Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителем в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве.

Еще год-два и — он завоюет все кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка. Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же он неудачник, лишний человек, неврастеник, жертва времени, а это значит, что ему все можно. Он милый малый, душа-человек, он так сердечно снисходит к человеческим слабостям; он сговорчив, податлив, покладист, не горд, с ним и выпить можно, и посквернословить, и посудачить... Масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех божков, которые имеют такие же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы! К тому же он недурной актер и ловкий лицемер и отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его увертки и фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации, а между тем: «Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации!» Надо понимать, видите ли, что он когда-то, во времена õны, всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; он, видите ли, Фауст, второй Толстой... А Шопенгауэра и Спенсера он третирует, как мальчишек, и отечески хлопает их по плечу: ну что, брат Спенсер? Он Спенсера, конечно, не читал, но как бывает мил, когда с легкой, небрежной иронией говорит про свою барыню: «Она читала Спенсера!» И его слушают, и никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера! Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.

— Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него,— сказал Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой,

а виновато.— Он такой же человек, как и все. Конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей, служит, приносит пользу отечеству. Десять лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек... Так вот он говаривал...

— Полно, полно! — перебил зоолог.— Ты говоришь: он служит. Но как служит? Разве оттого, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, своим авторитетом интеллигентного, университетского человека он только санкционировал их распущенность. Бывает он исправен только двадцатого числа, когда получает жалованье, в остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живет на Кавказе. Нет, Александр Давидыч, не вступайся за него. Ты неискренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.

— То есть?

— Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом...

Фон Корен провел пальцем около своей шеи.

— Или утопить, что ли...— добавил он.— В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно.

— Что ты говоришь?! — пробормотал Самойленко, поднимаясь и с удивлением глядя на спокойное, холодное лицо зоолога.— Дьякон, что он говорит? Да ты в своем уме?

— Я не настаиваю на смертной казни,— сказал фон Корен.— Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы...

— Что ты говоришь? — ужаснулся Самойленко.— С перцем, с перцем! — закричал он отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без

перца.— Ты, величайшего ума человек, что ты говоришь?! Нашего друга, гордого, интеллигентного человека, отдавать в общественные работы!!

— А если горд, станет противиться — в кандалы!

Самойленко не мог уж выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами; дьякон взглянул на его ошеломленное, в самом деле смешное лицо и захохотал.

— Перестанем говорить об этом, — сказал зоолог. — Помни только одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты.

— Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к черту твою цивилизацию, к черту человечество! К черту! Вот что я тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!

Самойленко, с тех пор как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, но, по его мнению, все зло в политике и науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко.

— Да, немцы! — повторил он еще раз. — Пойдемте чай пить.

Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник и сели там под тенью бледных кленов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамью около столика, а Самойленко опустился в плетеное кресло с широкой, покатою спинкой. Денщик подал чай, варенье и бутылку с сиропом.

Было очень жарко, градусов тридцать в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен, и длинная паутина, свесившаяся с каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась.

Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на

земле около стола, пастроил ее и зашел тихо, тонким голоском: «Отроцы семинарстии у кабака стояху...», по тотчас же замолк от жары, вытер со лба пот и взглянул вверх на синее горячее небо. Самойленко задремал; от зноя, тишины и сладкой послеобеденной дремоты, которая быстро овладела всеми его членами, он ослабел и опьянел; руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корена и дьякона и забормотал:

— Молодое поколение... Звезда науки и светильник церкви... Гляди, длиннополая аллилуйя в митрополиты выскочит, чего доброго, придется ручку целовать... Что ж... дай бог...

Скоро послышалось храпенье. Фон Корен и дьякон допили чай и вышли на улицу.

— Вы опять на пристань бычков ловить? — спросил зоолог.

— Нет, жарковато.

— Пойдемте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишите. Кстати, потолкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, дьякон. Так нельзя.

— Ваши слова справедливы и логичны, — сказал дьякон, — но леность моя находит себе извинение в обстоятельствах моей настоящей жизни. Сами знаете, неопределенность положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда прислали, или навсегда, богу одному известно; я здесь живу в неизвестности, а дьяконица моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли.

— Все вздор, — сказал зоолог. — И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать.

## V

Надежда Федоровна шла утром купаться, а за нею с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми трубами,



очевидно иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белом, в белых башмаках, ходили по пристани и громко кричали по-французски, и им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола.

«Сегодня воскресенье!» — с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна.

Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом, праздничном настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чечунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина — это она, и что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только двадцать два рубля, а между тем как мило! Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.

Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, сдержанно-вежлив и временами даже дерзок и груб; на все его выходки и презрительные, холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом, теперь же в ответ она только краснела, виновато поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней. Если бы он бранил ее или угрожал, то было бы еще лучше и приятнее, так как она чувствовала себя кругом виноватою перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда на Кавказ, и была она уверена, что сердился он на нее в последнее время именно за это. Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им

книжки; оказалось же, что Кавказ — это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить. Лаевский не торопился приобретать участок; она была рада этому, и оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. Он молчал, думала она, значит сердился на нее за то, что она молчит.

Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Ачмианова разных пустяков рублей на триста. Брала она понемножку то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг.

— Сегодня же скажу ему об этом...— решила она, но тотчас же сообразила, что при теперешнем настроении Лаевского едва ли удобно говорить ему о долгах.

В-третьих, она уже два раза в отсутствие Лаевского принимала у себя Кирилина, полицейского пристава: раз утром, когда Лаевский уходил купаться, и в другой раз в полночь, когда он играл в карги. Вспомнив об этом, Надежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала ее мысли. Длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные томительные вечера, душные ночи, и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе, и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский, честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, грызущий ногти и наскучающий своими капризами,— сделали то, что ею малопомалу овладели желания и она как сумасшедшая день и ночь думала об одном и том же. В своем дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание; шум моря говорил ей, что надо любить, вечерняя темнота — то же, горы — то же... И когда Кирилин стал ухаживать за нею, она была не в силах и не хотела, не могла противиться и отдалась ему...

Теперь иностранные пароходы и люди в белом напомнили ей почему-то огромную залу; вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса,

и грудь ее задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-французски.

Она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного. В ее измене душа не участвовала: она продолжает любить Лаевского, и это видно из того, что она ревнует его, жалеет и скучает, когда он не бывает дома. Кирилин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым, с ним все уже порвано и больше ничего не будет. Что было, то прошло, никому до этого нет дела, а если Лаевский узнает, то не поверит.

На берегу была только одна купальня для дам, мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Федоровна застала там пожилую даму, Марию Константиновну Битюгову, жену чиновника, и ее пятнадцатилетнюю дочь Катю, гимназистку; обе они сидели на лавочке и раздевались. Мария Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До тридцати двух лет она жила в гувернантках, потом вышла за чиновника Битюгова, маленького, лысого человека, зачесывавшего волосы на виски и очень смиренного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива.

— Дорогая моя! — сказала она восторженно, увидев Надежду Федоровну и придавая своему лицу выражение, которое все ее знакомые называли миндальным. — Милая, как приятно, что вы пришли! Мы будем купаться вместе — это очаровательно!

Ольга быстро сбросила с себя платье и сорочку и стала раздевать свою барыню.

— Сегодня погода не такая жаркая, как вчера, не правда ли? — сказала Надежда Федоровна, пожимаясь от грубых прикосновений голой кухарки. — Вчера я едва не умерла от духоты!

— О да, моя милая! Я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась три раза... представьте, милая, три раза! Даже Никодим Александрыч беспокоился.

«Ну, можно ли быть такими некрасивыми?» — подумала Надежда Федоровна, поглядев на Ольгу и на чиновницу; она взглянула на Катю и подумала: «Девочка недурно сложена».

— Ваш Никодим Александрыч очень, очень мил! — сказала она. — Я в него просто влюблена.

— Ха-ха-ха! — принужденно засмеялась Марья Константиновна. — Это очаровательно!

Освободившись от одежды, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх. Раздершись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. Это было неприятно, и, чтобы поднять себя в их мнении, она сказала:

— У нас в Петербурге дачная жизнь теперь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых! Надо бы съездить повидаться.

— Ваш муж, кажется, инженер? — робко спросила Марья Константиновна.

— Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых. Но, к сожалению, его мать, гордая аристократка, недалекая...

Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду; за нею полезли Марья Константиновна и Катя.

— У нас в свете очень много предрассудков, — продолжала Надежда Федоровна, — и живется не так легко, как кажется.

Марья Константиновна, служившая гувернанткой в аристократических семействах и знавшая толк в свете, сказала:

— О да! Верите ли, милая, у Гаратынских и к завтраку и к обеду требовался непременно туалет, так что я, точно актриса, кроме жалованья, получала еще и на гардероб.

Она стала между Надеждой Федоровной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды, которая омывала Надежду Федоровну. В открытую дверь, вы-

ходившую наружу в море, было видно, как кто-то плыл в ста шагах от купальни.

— Мама, это наш Костя! — сказала Катя.

— Ах, ах! — закудаhtала Марья Константиновна в испуге.— Ах! Костя,— закричала она,— вернись! Костя, вернись!

Костя, мальчик лет четырнадцати, чтобы похватать своею храбростью перед матерью и сестрой, нырнул и поплыл дальше, но утомился и поспешил назад, и по его серьезному, напряженному лицу видно было, что он не верил в свои силы.

— Беда с этими мальчиками, милая! — сказала Марья Константиновна, успокаиваясь.— Того и гляди свернет себе шею. Ах, милая, как приятно и в то же время как тяжело быть матерью! Всего боишься.

Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла сажени на четыре и легла на спину. Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, город, и все это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить... Мимо нее быстро, энергически разрезывая волны и воздух, пронеслась парусная лодка; мужчина, сидевший у руля, глядел на нее, и ей приятно было, что на нее глядят...

Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе.

— У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не хуюеу,— говорила Надежда Федоровна, облизывая свои соленые от купанья губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых.— Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнила.

— Это, милая, от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако, милая, вы измочили свою шляпу.

— Ничего, высохнет.

Надежда Федоровна опять увидела людей в белом, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски; и почему-то опять в груди у нее заволновалась радость и смутно припомнилась ей какая-то большая зала, в которой она когда-то танцевала или которая, быть может, когда-то снилась ей. И что-то в

самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина...

Марья Константиновна остановилась около своих ворот и пригласила ее зайти посидеть.

— Зайдите, моя дорогая! — сказала она умоляющим голосом и в то же время поглядела на Надежду Федоровну с тоской и с надеждой: авось откажется и не зайдет!

— С удовольствием, — согласилась Надежда Федоровна. — Вы знаете, как я люблю бывать у вас!

И она вошла в дом. Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц — барышень Гаратынских, которые уже повыходили замуж, показала также экзаменационные отметки Кати и Кости; отметки были очень хорошие, но чтобы они показались еще лучше, она со вздохом пожаловалась на то, как трудно теперь учиться в гимназии... Она ухаживала за гостьей и в то же время жалела ее и страдала от мысли, что Надежда Федоровна своим присутствием может дурно повлиять на нравственность Кости и Кати, и радовалась, что ее Никодима Александрыча не было дома. Так как, по ее мнению, все мужчины любят «таких», то Надежда Федоровна могла дурно повлиять и на Никодима Александрыча.

Разговаривая с гостьей, Марья Константиновна все время помнила, что сегодня вечером будет пикник и что фон Корен убедительно просил не говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне, но она нечаянно проговорилась, вся вспыхнула и сказала в смущении:

— Надеюсь, и вы будете!

## VI

Условились съехать за семь верст от города по дороге к югу, остановиться около духана, при слиянии двух речек — Черной и Желтой, и варить там уху. Выехали в начале шестого часа. Впереди всех, в шарабане, ехали Самойленко и Лаевский, за ними в коляске, за-

ложенной в тройку, Марья Константиновна, Надежда Федоровна, Катя и Костя; при них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кирилин и молодой Ачмианов, сын того самого купца Ачмианова, которому Надежда Федоровна была должна триста рублей, и против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрыч, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корен и дьякон; у дьякона в ногах стояла корзина с рыбой.

— Пррава! — кричал во все горло Самойленко, когда попадалась навстречу арба или абхазец верхом на осле.

— Через два года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию, — рассказывал фон Корен дьякону. — Я пройду берегом от Владивостока до Берингова пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит поехать со мною или нет.

— Это невозможно, — сказал дьякон.

— Почему?

— Я человек зависимый, семейный.

— Дьяконица вас отпустит. Мы ее обеспечим. Еще лучше, если бы вы убедили ее, для общей пользы, постричься в монахини; это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу вам устроить это.

Дьякон молчал.

— Вы свою богословскую часть хорошо знаете? — спросил зоолог.

— Плоховато.

— Гм... Я вам не могу сделать никаких указаний на этот счет, потому что я сам мало знаком с богословием. Вы дайте мне списочек книг, какие вам нужны, и я вышлю вам зимою из Петербурга. Вам также нужно будет прочесть записки духовных путешественников; между ними попадаются хорошие этнологи и знатоки восточных языков. Когда вы ознакомитесь с их манерой, вам легче будет приступить к делу. Ну,

а пока книг нет, не теряйте времени попусту, ходите ко мне, и мы займемся компасом, пройдем метеорологию. Все это необходимо.

— Так-то так... — пробормотал дьякон и засмеялся. — Я просил себе места в средней России, и мой дядя-протоиерей обещал мне поспособствовать. Если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил.

— Не понимаю я ваших колебаний. Продолжая быть обыкновенным дьяконом, который обязан служить только по праздникам, а в остальные дни почитать от дел, вы и через десять лет останетесь все таким же, какой вы теперь, и прибавятся у вас разве только усы и борода, тогда как, вернувшись из экспедиции, через эти же десять лет вы будете другим человеком, вы обогатитесь сознанием, что вами кое-что сделано.

Из дамского экипажа послышались крики ужаса и восторга. Экипажи ехали по дороге, прорытой в совершенно отвесном скалистом берегу, и всем казалось, что они скачут по полке, приделанной к высокой стене, и что сейчас экипажи свалятся в пропасть. Направо расстилалось море, налево — была неровная коричневая стена с черными пятнами, красными жилами и ползучими корневищами, а сверху, нагнувшись, точно со страхом и любопытством, смотрели вниз кудрявые хвои. Через минуту опять визг и смех: пришлось ехать под громадным нависшим камнем.

— Не понимаю, за каким таким чертом я еду с вами, — сказал Лаевский. — Как глупо и пошло! Мне надо ехать на север, бежать, спасаться, а я почему-то еду на этот дурацкий пикник.

— А ты посмотри, какая панорама! — сказал ему Самойленко, когда лошади повернули влево и открылась долина Желтой речки и блеснула сама речка — желтая, мутная, сумасшедшая...

— Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего, — ответил Лаевский. — Восторгаться постоянно природой — это значит показывать скудость своего воображения. В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы — дрянь и больше ничего.

Коляски ехали уже по берегу речки. Высокие го-



ристые берега мало-помалу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущельем; каменная гора, около которой ехали, была сколочена природою из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самойленко всякий раз невольно кряхтел. Мрачная и красивая гора местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло на ехавших влагой и таинственностью; сквозь ущелья видны были другие горы, бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням.

— Ах, проклятые горы,— вздыхал Лаевский,— как они мне надоели!

В том месте, где Черная речка впадала в Желтую и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял духан татарина Кербалая с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом: «Приятный духан»; около него был небольшой садик, обнесенный плетнем, где стояли столы и скамьи, и среди жалкого колючего кустарника возвышался один-единственный кипарис, красивый и темный.

Кербалай, маленький, юркий татарин, в синей рубахе и белом фартуке, стоял на дороге и, взявшись за живот, низко кланялся навстречу экипажам и, улыбаясь, показывал свои белые блестящие зубы.

— Здорово, Кербалайка! — крикнул ему Самойленко.— Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар и стулья! Живо!

Кербалай кивал своей стриженной головой и что-то бормотал, и только сидевшие в заднем экипаже могли слышать: «Есть форели, ваше превосходительство».

— Тащи, тащи! — сказал ему фон Корен.

Отъехав шагов пятьсот от духана, экипажи остановились. Самойленко выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сиденья, и лежало дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и с высохшими желтыми иглами. Тут через речку был перекинут жидкий бревенчатый

мост, и на другом берегу, как раз напротив, на четырех невысоких сваях стоял сарайчик, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на куриных ножках; от ее двери вниз спускалась лесенка.

Первое впечатление у всех было такое, как будто они никогда не выберутся отсюда. Со всех сторон, куда ни помотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро, быстро со стороны духана и темного кипариса набегала вечерняя тень, и от этого узкая кривая долина Черной речки становилась уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река и без умолку кричали цикады.

— Очаровательно! — сказала Марья Константиновна, делая глубокие вдохи от восторга. — Дети, посмотрите, как хорошо! Какая тишина!

— Да, в самом деле хорошо, — согласился Лаевский, которому понравился вид и почему-то, когда он посмотрел на небо и потом на синий дымок, выходящий из трубы духана, вдруг стало грустно. — Да, хорошо! — повторил он.

— Иван Андреич, опишите этот вид! — сказала слезливо Марья Константиновна.

— Зачем? — спросил Лаевский. — Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путем впечатлений, писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде.

— Будто бы? — холодно спросил фон Корен, выбрав себе самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сесть. — Будто бы? — повторил он, глядя в упор на Лаевского — А Ромео и Джульетта? А, например, Украинская ночь Пушкина? Природа должна прийти и в ножки поклониться.

— Пожалуй... — согласился Лаевский, которому было лень соображать и противоречить. — Впрочем, — сказал он немного погодя, — что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая, поэтическая, святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все.

— О чем с вами не заговоришь, вы все сводите к...  
Фон Корен оглянулся на Катю и не договорил.

— К чему я свожу? — спросил Лаевский.

— Вам говоришь, например, «как красива кисть винограда!», а вы: «да, но как она безобразна, когда ее жуют и переваривают в желудках». К чему это говорить? Не ново и... вообще странная манера.

Лаевский знал, что его не любит фон Корен, и потому боялся его и в его присутствии чувствовал себя так, как будто всем было тесно и за спиной стоял кто-то. Он ничего не ответил, отошел в сторону и пожалел, что поехал.

— Господа, марш за хворостом для костра! — командовал Самойленко.

Все разбрелось куда попало, и на месте остались только Кирилин, Ачмианов и Никодим Александрыч. Кербалай принес стулья, разостлал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кирилин, высокий, видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителя шинель, свою горделивую осанкою, важной походкой и густым, несколько хриплым голосом напоминал провинциальных полицеймейстеров из молодых. Выражение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания.

— Ты что же это, скотина, принес? — спросил он у Кербалая, медленно выговаривая каждое слово.— Я приказывал тебе подать кварели, а ты что принес, татарская морда? А? Кого?

— У нас много своего вина, Егор Алексеич,— робко и вежливо заметил Никодим Александрыч.

— Что-с? Но я желаю, чтобы и мое вино было. Я участвую в пикнике и, полагаю, имею полное право внести свою долю. По-ла-гаю! Принеси десять бутылок кварели!

— Для чего так много? — удивился Никодим Александрыч, знавший, что у Кирилина не было денег.

— Двадцать бутылок! Тридцать! — крикнул Кирилин.

— Ничего, пусть,— шепнул Ачмианов Никодиму Александрычу,— я заплачу.

Надежда Федоровна была в веселом, шаловливом настроении. Ей хотелось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. В своем дешевом платье из сит-

чика с голубыми глазками, в красных туфельках и в той же самой соломенной шляпе она казалась себе маленькой, простенькой, легкой и воздушной, как бабочка. Она пробежала по жидкому мостику и минуту глядела в воду, чтобы закружилась голова, потом вскрикнула и со смехом побежала на ту сторону к сушильне, и ей казалось, что все мужчины и даже Кербалай любовались ею. Когда в быстро наступавших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами и в окнах духана блеснул огонек, она по тропинке, которая вилась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и села на камень. Внизу уже горел костер. Около огня с засученными рукавами двигался дьякон, и его длинная черная тень радиусом ходила вокруг костра; он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самойленко, с медно-красным лицом, хлопотал около огня, как у себя в кухне, и кричал свирепо:

— Где же соль, господа? Небось забыли? Что же это все расселись, как помещики, а я один хлопочи?

На поваленном дереве рядышком сидели Лаевский и Никодим Александрыч и задумчиво смотрели на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали из корзин чайную посуду и тарелки. Фон Корен, скрестив руки и поставив одну ногу на камень, стоял на берегу около самой воды и о чем-то думал. Красные пятна от костра вместе с тенями ходили по земле около темных человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту, на сушильне; на другой стороне обрывистый, изрытый бережок весь был освещен, мигал и отражался в речке, и быстро бегущая бурливая вода рвала на части его отражение.

Дьякон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и мыл Кербалай, но на полдороге остановился и посмотрел вокруг.

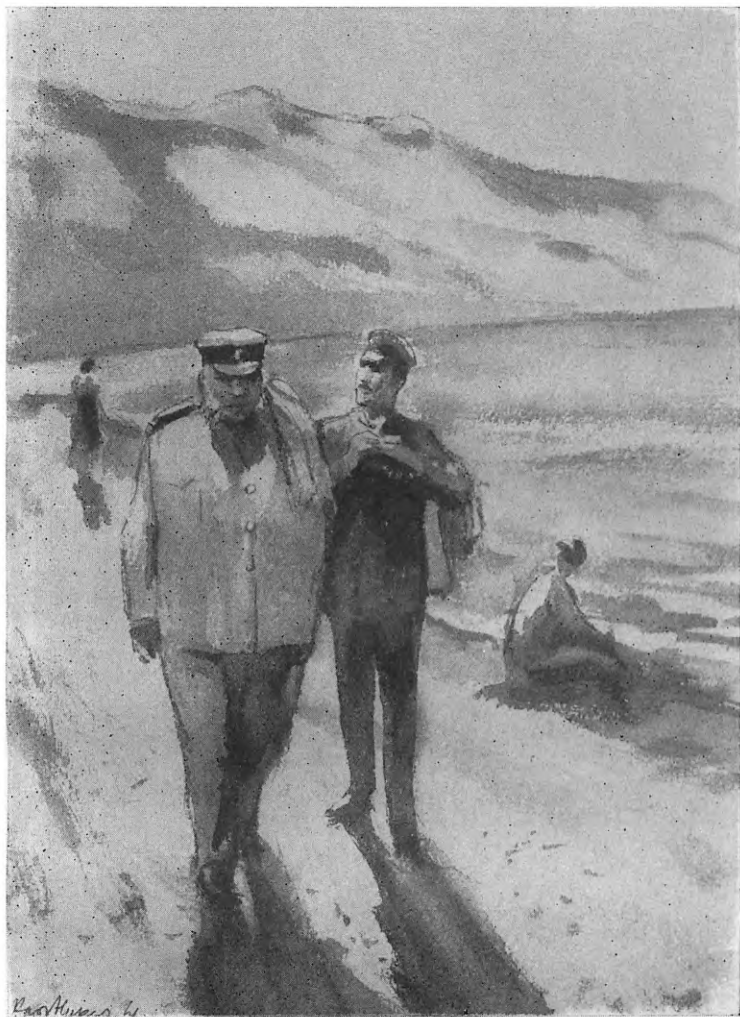
«Боже мой, как хорошо! — подумал он. — Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево — ничего больше, но как хорошо!»

На том берегу около сушильни появились какие-то незнакомые люди. Оттого, что свет мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть

всех этих людей сразу, а видны были по частям то мохнатая шапка и седая борода, то синяя рубаха, то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперек живота, то молодое смуглое лицо с черными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны углем. Человек пять из них сели в кружок на земле, а остальные пять пошли в сушильню. Один стал в дверях спиной к костру и, заложив руки назад, стал рассказывать что-то, должно быть очень интересное, потому что, когда Самойленко подложил хворосту и костер вспыхнул, брызнул искрами и ярко осветил сушильню, было видно, как из дверей глядели две физиономии, спокойные, выражавшие глубокое внимание, и как те, которые сидели в кружок, обернулись и стали прислушиваться к рассказу. Немного погодя сидевшие в кружок тихо запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную песню... Слушая их, дьякон вообразил, что будет с ним через десять лет, когда он вернется из экспедиции: он — молодой иеромонах-миссионер, автор с именем и великолепным прошлым; его посвящают в архимандриты, потом в архиереи; он служит в кафедральном соборе обедню; в золотой митре, с панагией выходит на амвон и, осеняя массу народа трикирием и дикирием, возглашает: «Призри с небесе, боже, и виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя!» А дети ангельскими голосами поют в ответ: «Святой боже...»

— Дьякон, где же рыба? — послышался голос Самойленка.

Вернувшись к костру, дьякон вообразил, как в жаркий июльский день по пыльной дороге идет крестный ход; впереди мужики несут хоругви, а бабы и девки — иконы, за ними мальчишки-певчие и дьячок с подвязанной щекой и с соломой в волосах, потом, по порядку, он, дьякон, за ним поп в скуфейке и с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек; тут же в толпе попадаья и дьяконица в платочках. Поют певчие, режут дети, кричат перепела, заливаются жаворонок... Вот остановились и покропили святой



К повести «Дуэль».

Художники Кукрыниксы, 1961.



водой стадо... Пошли дальше и с коленопреклонением попросили дождя. Потом закуска, разговоры...

«И это тоже хорошо...» — подумал дьякон.

### III

Кирилин и Ачмианов взбирались на гору по тропинке. Ачмианов отстал и остановился, а Кирилин подошел к Надежде Федоровне.

— Добрый вечер! — сказал он, делая под козырек.

— Добрый вечер.

— Да-с! — сказал Кирилин, глядя на небо и думая.

— Что — да-с? — спросила Надежда Федоровна, помолчав немного и замечая, что Ачмианов наблюдает за ними обоими.

— Итак, значит, — медленно выговорил офицер, — наша любовь увяла, не успев расцвести, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны в своем роде или же вы считаете меня шлопаем, с которым можно поступать как угодно?

— Это была ошибка! Оставьте меня! — сказала резко Надежда Федоровна, в этот прекрасный, чудесный вечер глядя на него со страхом и спрашивая себя в недоумении: неужели в самом деле была минута, когда этот человек нравился ей и был близок?

— Так-с! — сказал Кирилин; он молча постоял немного, подумал и сказал: — Что ж? Подождем, когда вы будете в лучшем настроении, а пока смею вас уверить, я человек порядочный и сомневаться в этом никому не позволю. Мной играть нельзя! Adieu! <sup>1</sup>

Он сделал под козырек и пошел в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя нерешительно подошел Ачмианов.

— Хороший вечер сегодня! — сказал он с легким армянским акцентом.

Он был недурен собой, одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша, но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу триста рублей; ей неприятно было также, что на

<sup>1</sup> Прощайте! (франц.)



пикник пригласили лавочника, и было неприятно, что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у нее было так чисто.

— Вообще пикник удался,— сказал он, помолчав.

— Да,— согласилась она и, как будто только что вспомнив про свой долг, сказала небрежно: — Да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреич и заплатит там триста... или не помню сколько.

— Я готов дать еще триста, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долге. К чему проза?

Надежда Федоровна засмеялась; ей пришла в голову смешная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то в одну минуту могла бы отделаться от долга. Если бы, например, этому красивому, молодому дурачку вскружить голову! Как бы это, в сущности, было смешно, нелепо, дико! И ей вдруг захотелось влюбить, обобрать, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет.

— Позвольте дать вам один совет,— робко сказал Ачмианов.— Прошу вас, остерегайтесь Кирилина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи.

— Мне неинтересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак,— сказала холодно Надежда Федоровна, и ею овладело беспокойство, и смешная мысль поиграть молодым, хорошеньким Ачмиановым вдруг потеряла свою прелесть.

— Надо вниз идти,— сказала она.— Зовут.

Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках; и все находили, что уха очень вкусна и что дома они никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, а кругом было темно, и костер горел уже не так ярко, и каждому было лень встать и подложить хворосту. Все пили вино, и Косте, и Кате дали по полустакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кирилина.

— Роскошный пикник, очаровательный вечер,— сказал Лаевский, веселя от вина,— но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник».

— У всякого свой вкус,— заметил фон Корен.

Лаевский почувствовал неловкость: в спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо — ненависть фон Корена; эта ненависть порядочного, умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и он, не будучи в силах противостоять ей, сказал заискивающим тоном:

— Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам.

— Ну, а я не жалею и не завидую,— сказала Надежда Федоровна.— Я не понимаю, как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ.

Лаевский разделял ее мнение. Он был совершенно незнаком с естественными науками и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и ученым, глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками, и ему всегда было досадно, что эти люди на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы (он почему-то воображал ее в виде устрицы) берутся решать вопросы, охватывающие собою происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Федоровны ему послышалась ложь, и он сказал только для того, чтобы противоречить ей:

— Дело не в козявках, а в выводах!

### VIII

Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой, поздно, часу в одиннадцатом. Все сели, и недоставало только Надежды Федоровны и Ачмианова, которые по ту сторону реки бегали вперегонки и хохотали.

— Господа, поскорей! — крикнул им Самойленко.

— Не следовало бы дамам давать вино,— тихо сказал фон Корен.

Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корена и своими мыслями, пошел к Надежде Федоровне навстречу, и когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как перышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово:

— Ты ведешь себя, как... кокотка.

Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало жаль ее. На его сердитом, утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя, и вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно, и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым. Лаевский сел с Кирилиным, зоолог с Самойленком, дьякон с дамами, и поезд тронулся.

— Вот они каковы, макаки...— начал фон Корен, кутаясь в плащ и закрывая глаза.— Ты слышал, она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Племя рабское, лукавое, в десяти поколениях запуганное кнутом и кулаком; оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед насиллием, но впусти макаку в свободную область, где ее некому брать за шиворот, там она разворачивается и дает себя знать. Посмотри, как она смела на картинных выставках, в музеях, в театрах или когда судит о науке: она топорщится, становится на дыбы, ругается, критикует... И непременно критикует — рабская черта! Ты прислушайся: людей свободных профессий ругают чаще, чем мошенников,— это оттого, что общество на три четверти состоит из рабов, из таких же вот макак. Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренно спасибо за то, что ты работаешь.

— Не знаю, что ты хочешь! — сказал Самойленко, зевая.— Бедненькой по простоте захотелось поговорить с тобой об умном, а ты уж заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее за компанию. А она прекрасная женщина!

— Э, полно! Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александр Давидыч, когда

ты встречаешь простую бабу, которая не живет с мужем, ничего не делает и только хи-хи да ха-ха, ты говоришь ей: ступай работать. Почему же ты тут робеешь и боишься говорить правду? Потому только, что Надежда Федоровна живет на содержании не у матроса, а у чиновника?

— Что же мне с ней делать? — рассердился Самойленко. — Бить ее, что ли?

— Не льстить пороку. Мы проклинаем порок только за глаза, а это похоже на кукиш в кармане. Я зоолог, или социолог, что одно и то же, ты — врач; общество нам верит; мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существование господж вроде этой Надежды Ивановны.

— Федоровны, — поправил Самойленко. — А что должно делать общество?

— Оно? Это его дело. По-моему, самый прямой и верный путь, это — насилие. *Manu militari*<sup>1</sup> ее следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение.

— Уф! — вздохнул Самойленко; он помолчал и спросил тихо: — Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожить надо... Скажи мне, если бы того... положим, государство или общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы... решился?

— Рука бы не дрогнула.

## IX

Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая манти и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.

Он понял, что она ждет от него объяснения; но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомитель-

---

<sup>1</sup> Военною силою (лат.).

но, и на душе было тяжело оттого, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей, и подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону.

«Пора уж выяснить отношения,— подумал он.— Дам ей; что будет, то будет».

Он вынул письмо и подал ей.

— Прочти. Это тебя касается.

Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках, без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась три раза и проговорила:

— Упокой господи... упокой господи...

И заплакала.

— Ваня! — позвала она.— Иван Андреич!

Ответа не было. Думая, что Лаевский вошел и стоит у нее за стулом, она всхлипывала, как ребенок, и говорила:

— Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно... Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех! Спаси меня, Ваня, спаси меня... Я обезумела... Я пропала...

Лаевский слышал ее всхлипыванья. Ему было нестерпимо душно, и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел.

«Это тюрьма...— подумал он.— Надо уйти... Я не могу...»

Идти играть в карты было уже поздно, ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать всхлипываний, и вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Федоровны, он через окно пробрался в садик, перелез через палисадник и пошел по улице. Было темно. Только что пришел какой-то пароход, судя по огням — большой пассажирский... Загременно

ла якорная цепь. От берега по направлению к пароходу быстро двигался красный огонек: это плыла таможенная лодка.

«Спят себе пассажиры в каютах...» — подумал Лаевский и позавидовал чужому покою.

Окна в доме Самойленка были открыты. Лаевский поглядел в одно из них, потом в другое: в комнатах было темно и тихо.

— Александр Давидыч, ты спишь? — позвал он. — Александр Давидыч!

Послышался кашель и тревожный окрик:

— Кто там? Какого черта?

— Это я, Александр Давидыч. Извини.

Немного погодя отворилась дверь; блеснул мягкий свет от лампадки, и показался громадный Самойленко, весь в белом и в белом колпаке.

— Что тебе? — спросил он, тяжело дыша спросонок и почесываясь. — Погоди, я сейчас отопру.

— Не трудись, я в окно...

Лаевский влез в окошко и, подойдя к Самойленку, схватил его за руку.

— Александр Давидыч, — сказал он дрожащим голосом, — спаси меня! Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня! Положение мое мучительно. Если оно продолжится еще хотя день-два, то я задушу себя, как... как собаку!

— Постой... Ты насчет чего, собственно?

— Зажги свечу.

— Ох, ох... — вздохнул Самойленко, зажигая свечу. — Боже мой, боже мой... А уже второй час, брат.

— Извини, но я не могу дома сидеть, — сказал Лаевский, чувствуя большое облегчение от света и присутствия Самойленка. — Ты, Александр Давидыч, мой единственный, мой лучший друг... Вся надежда на тебя. Хочешь не хочешь, бога ради выручай. Во что бы то ни стало я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы!

— Ох, боже мой, боже мой!.. — вздохнул Самойленко, почесываясь. — Засыпаю и слышу: свисток, пароход пришел, а потом ты... Много тебе нужно?

— По крайней мере рублей триста. Ей нужно оставить сто и мне на дорогу двести... Я тебе должен уже около четырехсот, но я всё вышлю... всё...

Самойленко забрал в одну руку оба бакена, расставил ноги и задумался.

— Так...— пробормотал он в раздумье.— Триста... Да... Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь.

— Займи, бога ради! — сказал Лаевский, видя по лицу Самойленка, что он хочет дать ему денег и непременно даст.— Займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен. Вот что, Саша,— сказал он оживляясь,— давай выпьем вина!

— Так... Можно и вина.

Оба пошли в столовую.

— А как же Надежда Федоровна? — спросил Самойленко, ставя на стол три бутылки и тарелку с персиками.— Она останется разве?

— Все устрою, все устрою...— сказал Лаевский, чувствуя неожиданный прилив радости.— Я потом вышлю ей денег, она и придет ко мне... Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, друже.

— погоди! — сказал Самойленко.— Сначала ты этого выпей... Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наваридзе, а это Ахатулова... Попробуй все три сорта и скажи откровенно... Мое как будто с кислотцей. А? Не находишь?

— Да. Утешил ты меня, Александр Давидыч. Спасибо... Я ожил.

— С кислотцей?

— А черт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек!

Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корена, что таких уничтожать нужно, и Лаевский показался ему слабым, беззащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.

— А ты, когда поедешь, с матерью помирись,— сказал он.— Нехорошо.

— Да, да, непременно.

Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказал:

— Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а глядите друг на дружку, как волки.

— Да, он прекраснейший, умнейший человек,— согласился Лаевский, готовый теперь всех хвалить и прощать.— Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно. Нет! Наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная: быгь может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня... с презрением.

Лаевский хлебнул вина, прошелся из угла в угол и продолжал, стоя посреди комнаты:

— Я отлично понимаю фон Корена. Это натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал, он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь; кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и не спит только один он и, как Стенли, сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет, в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни, так как крест у его могилы виден караванам за тридцать—сорок миль и царит над пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе. Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты, а такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я его отлично понимаю! Скажи: зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно?

— Он морскую фауну изучает.

— Нет. Нет, брат, нет!— вздохнул Лаевский.— Мне на пароходе один проезжий ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной и что на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьезные зоологи работают



на биологических станциях в Неаполе или Villefranche<sup>1</sup>. Но фон Корен самостоятелен и упрям: он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает; он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. И из него, увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел; он держит всех жителей в ежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела, все ему нужно, и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?

— Да,— засмеялся Самойленко.

Лаевский тоже засмеялся и выпил вина.

— И идеалы у него деспотические,— сказал он, смеясь и закусывая персиком.— Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом человека. Для фон Корена же люди — щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы, мясо для пушек, вьючные животные; одних бы он уничтожил или законопатил на каторгу, других скрутил бы дисциплиной, заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, поставил бы евнухов, чтобы стеречь наше целомудрие и нравственность, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой, консервативной морали,

---

<sup>1</sup> Вильфранш (франц.) — небольшой город во Франции.

и все это во имя улучшения человеческой породы... А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж... Деспоты всегда были иллюзионистами. Я, брат, отлично понимаю его. Я ценю его и не отрицаю его значения; на таких, как он, этот мир держится, и если бы мир был предоставлен только одним нам, то мы, при всей своей доброте и благих намерениях, сделали бы из него то же самое, что вот мухи из этой картины. Да.

Лаевский сел рядом с Самойленком и сказал с искренним увлечением:

— Я пустой, ничтожный, падший человек! Воздух, которым дышу, это вино, любовь, одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценою лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя, я страдал от этого, и страдания мои были дешевы и пошлы. Перед ненавистью фон Корена я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя.

Лаевский опять в волнении прошелся из угла в угол и сказал:

— Я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их. Это поможет мне воскреснуть и стать другим человеком. Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какою тоской я жажду своего обновления. И, клянись тебе, я буду человеком! Буду! Не знаю, вино ли во мне заговорило, или оно так и есть на самом деле, но мне кажется, что я давно уже не переживал таких светлых, чистых минут, как сейчас у тебя.

— Пора, братец, спать...— сказал Самойленко.

— Да, да... Извини. Я сейчас.

Лаевский засуетился около мебели и окон, ища своей фуражки.

— Спасибо...— бормотал он вздыхая.— Спасибо... Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживил меня.

Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленка.

— Александр Давидыч! — сказал он умоляющим голосом.

— Что?

— Позволь, голубчик, остаться у тебя ночевать!

— Сделай милость... отчего же?

Лаевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором.

## Х

Дня через три после пикника к Надежде Федоровне неожиданно пришла Марья Константиновна и, нездороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении:

— Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный доктор вчера передавал моему Никодиму Александрычу, что будто скончался ваш муж. Скажите, дорогая... Скажите, это правда?

— Да, правда, он умер,— ответила Надежда Федоровна.

— Это ужасно, ужасно, дорогая! Но нет худа без добра. Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле.

На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголочки, она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь:

— Итак, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Отныне бог и люди благословят ваш союз с Иваном Андреичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости, не нахожу слов. Милая, я буду вашею свахой... Мы с Никодимом Александрычем так любили вас, вы позвольте нам благословить ваш законный, чистый союз. Когда, когда вы думаете венчаться?

— Я и не думала об этом,— сказала Надежда Федоровна, освобождая свои руки.

— Это невозможно, милая. Вы думали, думали!

— Ей-богу, не думала,— засмеялась Надежда Федоровна.— К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой надобности. Будем жить, как жили.

— Что вы говорите!— ужаснулась Марья Константиновна.— Ради бога, что вы говорите!

— Оттого, что мы повенчаемся, не станет лучше. Напротив, даже хуже. Мы потеряем свою свободу.

— Милая! Милая, что вы говорите! — вскрикнула Марья Константиновна, отступая назад и всплескивая руками. — Вы экстравагантны! Опомнитесь! Угломнитесь!

— То есть как угломниться? Я еще не жила, а вы — угломнитесь!

Надежда Федоровна вспомнила, что она в самом деле еще не жила. Закончила курс в институте и вышла за нелюбимого человека, потом сошлась с Лаевским и все время жила с ним на этом скучном, пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего. Разве это жизнь?

«А повенчаться бы следовало...» — подумала она, но вспомнила про Кирилина и Ачмианова, покраснела и сказала:

— Нет, это невозможно. Если бы даже Иван Андреич стал просить меня об этом на коленях, то и тогда бы я отказалась.

Марья Константиновна минуту сидела молча на диване, печальная, серьезная, и глядела в одну точку, потом встала и проговорила холодно:

— Прощайте, милая! Извините, что побеспокоила. Хотя это для меня и не легко, но я должна сказать вам, что с этого дня между нами все кончено и, несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреичу, дверь моего дома для вас закрыта.

Она проговорила это с торжественностью, и сама же была подавлена своим торжественным тоном; лицо ее опять задрожало, приняло мягкое, миндальное выражение, она протянула испуганной, сконфуженной Надежде Федоровне обе руки и сказала умоляюще:

— Милая моя, позвольте мне хотя одну минуту побыть вашею матерью или старшей сестрой! Я буду откровенна с вами, как мать.

Надежда Федоровна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла ее мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицом к ее плечу. Обе заплакали. Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя

друг на друга и будучи не в силах выговорить ни одного слова.

— Милая, дитя мое,— начала Марья Константиновна,— я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас.

— Ради бога, ради бога!

— Доверьтесь мне, милая. Вы вспомните, из всех здешних дам только я одна принимала вас. Вы ужаснули меня с первого же дня, но я была не в силах отнестись к вам с пренебрежением, как все. Я страдала за милого, доброго Ивана Андреича, как за сына. Молодой человек на чужой стороне, неопытен, слаб, без матери, и я мучилась, мучилась... Муж был против знакомства с ним, но я уговорила... убедила... Мы стали принимать Ивана Андреича, а с ним, конечно, и вас, иначе бы он оскорбился. У меня дочь, сын... Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце... аще кто соблазнит единого из малых сих... Я принимала вас и дрожала за детей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную, намекали мне... ну конечно, сплелли, гипотезы... В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала от жалости.

— Но почему? Почему? — спросила Надежда Федоровна, дрожа всем телом.— Что я кому сделала?

— Вы страшная грешница. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем. Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который, быть может, если бы не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга и был бы теперь, как все. Вы погубили его молодость. Не гворите, не говорите, милая! Я не поверю, чтобы в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленны, живут умом, а не сердцем, не понимают многого, но женщина все понимает. От нее все зависит. Ей много дано, с нее много и взыщется. О милая, если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то бог не вверил бы ей воспитания мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы вступили на сте-

зю порока, забыв всякую стыдливость; другая в вашем положении укрылась бы от людей, сидела бы дома запершись, и люди видели бы ее только в храме божием, бледную, одетую во все черное, плачущую, и каждый бы в искреннем сокрушении сказал: «Боже, это согрешивший ангел опять возвращается к тебе...» Но вы, милая, забыли всякую скромность, жили открыто, экстравагантно, точно гордились грехом, вы резвились, хохотали, и я, глядя на вас, дрожала от ужаса и боялась, чтобы гром небесный не поразил нашего дома в то время, когда вы сидите у нас. Милая, не говорите, не говорите! — вскрикнула Марья Константиновна, заметив, что Надежда Федоровна хочет говорить. — Доверьтесь мне, я не обману вас и не скрою от взоров вашей души ни одной истины. Слушайте же меня, дорогая... Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны!

Надежда Федоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрела на нее с удивлением.

— Да, ужасны! — продолжала Марья Константиновна. — По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала... И, простите меня, милая, вы нечистоплотны! Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка, сорочка... милая, я краснею! Бедному Ивану Андреичу тоже никто не завяжет галстука как следует, и по белью, и по сапогам бедняжки видно, что дома за ним никто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден, и в самом деле, если дома некому позаботиться насчет самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне половину своего жалованья. А дома у вас просто ужас, ужас! Во всем городе ни у кого нет мух, а у вас от них отбою нет, все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах, посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы... К чему тут стаканы? И, милая, до сих пор у вас со стола не убрано. А в спальню к вам войти стыдно: разбросано

езде белье, висят на стенах эти ваши разные каучуки, стоит какая-то посуда... Милая! Муж ничего не должен знать, и жена должна быть перед ним чистой, как ангельчик! Я каждое утро просыпаюсь чуть свет и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодим Александрыч не заметил, что я заспанная.

— Это все пустяки,— зарыдала Надежда Федоровна.— Если бы я была счастлива, но я так несчастна!

— Да, да, вы очень несчастны! — вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать.— И вас ожидает в будущем страшное горе! Одинокая старость, болезни, а потом ответ на страшном судилище... Ужасно, ужасно! Теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Венчайтесь, скорее венчайтесь!

— Да, надо, надо,— сказала Надежда Федоровна,— но это невозможно!

— Почему же?

— Невозможно! О, если б вы знали!

Надежда Федоровна хотела рассказать про Кирилина и про то, как она вчера вечером встретила на пристани с молодым, красивым Ачмиановым и как ей пришла в голову сумасшедшая, смешная мысль отделаться от долга в триста рублей, ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось. И ей хотелось теперь поклясться перед Марьей Константиновной, что она непременно отдаст долг, но рыдания и стыд мешали ей говорить.

— Я уеду,— сказала она.— Иван Андреич пусть остается, а я уеду.

— Куда?

— В Россию.

— Но чем вы будете там жить? Ведь у вас ничего нет.

— Я буду переводами заниматься или... или открою библиотечку...

— Не фантазируйте, моя милая. На библиотечку деньги нужны. Ну, я вас теперь оставляю, а вы успо-

койтесь и подумайте, а завтра приходите ко мне веселенькая. Это будет очаровательно! Ну, прощайте, мой ангелочек. Дайте я вас поцелую.

Марья Константиновна поцеловала Надежду Федоровну в лоб, перекрестила ее и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа, она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. Ей хотелось пить, и некому было подать.

— Я отдам! — говорила она себе, и ей в бреду казалось, что она сидит возле какой-то больной и узнает в ней самое себя. — Я отдам. Было бы глупо думать, что я из-за денег... Я уеду и вышлю ему деньги из Петербурга. Сначала сто... потом сто... и потом — сто...

Поздно ночью пришел Лаевский.

— Сначала сто... — сказала ему Надежда Федоровна, — потом сто...

— Ты бы приняла хины, — сказал он и подумал: «Завтра среда, отходит пароход, и я не еду. Значит, придется жить здесь до субботы».

Надежда Федоровна поднялась в постели на колени.

— Я ничего сейчас не говорила? — спросила она, улыбаясь и щурясь от свечи.

— Ничего. Надо будет завтра утром за доктором послать. Спи.

Он взял подушку и пошел к двери. После того как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины; ему было в ее присутствии немножко совестно, как в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить. Он остановился в дверях и оглянулся на нее.

— На пикнике я был раздражен и сказал тебе грубость. Ты извини меня, бога ради.

Сказавши это, он пошел к себе в кабинет, лег и долго не мог уснуть.

Когда на другой день утром Самойленко, одетый,



по случаю табельного дня, в полную парадную форму с эполетами и орденами, пощупав у Надежды Федоровны пульс и поглядев ей на язык, выходил из спальни, Лаевский, стоявший у порога, спросил его с тревогой:

— Ну, что? Что?

Лицо его выражало страх, крайнее беспокойство и надежду.

— Успокойся, ничего опасного,— сказал Самойленко.— Обыкновенная лихорадка.

— Я не о том,— нетерпеливо поморщился Лаевский.— Достал денег?

— Душа моя, извини,— зашептал Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь.— Бога ради, извини! Ни у кого нет свободных денег, и я собрал пока по пяти да по десяти рублей— всего-навсе сто десять. Сегодня еще кое с кем поговорю. Потерпи.

— Но крайний срок суббота!— прошептал Лаевский, дрожа от нетерпения.— Ради всех святых, до субботы! Если я в субботу не уеду, то ничего мне не пужно... ничего! Не понимаю, как это у доктора могут не быть деньги!

— Да, господи, твоя воля,— быстро и с напряжением зашептал Самойленко, и что-то даже пискнуло у него в горле,— у меня всё разобрали, должны мне семь тысяч, и я кругом должен. Разве я виноват?

— Значит, к субботе достанешь? Да?

— Посгараюсь.

— Умоляю, голубчик! Так, чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были.

Самойленко сел и прописал хину в растворе *kalii bromati*, ревенной настойки, *tincturae gentianae aquae foeniculi*— все это в одной микстуре, прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и ушел.

## XI

— У тебя такой вид, как будто ты идешь арестовать меня,— сказал фон Корен, увидев входившего к нему Самойленка в парадной форме.

— А я иду мимо и думаю: дай-ка зайду, зоологию проведу,— сказал Самойленко, садясь у большого стола, сколоченного самим зоологом из простых досок.— Здравствуй, святой отец!— кивнул он дьякону, который сидел у окна и что-то переписывал.— Посижу минуту и побегу домой распорядиться насчет обеда. Уже пора... Я вам не помешал?

— Нисколько,— ответил зоолог, раскладывая по столу мелко исписанные бумажки.— Мы перепиской занимаемся.

— Так... Ох, боже мой, боже мой...— вздохнул Самойленко; он осторожно потянул со стола запыленную книгу, на которой лежала мертвая сухая фаланга, и сказал:— Однако! Представь, идет по своим делам какой-нибудь зелененький жучок и вдруг по дороге встречает такую анафему. Воображаю, какой ужас!

— Да, полагаю.

— Ей яд дан, чтобы защищаться от врагов?

— Да, защищаться и самой нападать.

— Так, так, так... И все в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо,— вздохнул Самойленко.— Только вот чего я не понимаю. Ты, величайшего ума человек, объясни-ка мне, пожалуйста. Бывают, знаешь, зверьки, не больше крысы, на вид красивенькие, но в высочайшей степени, скажу я тебе, подлые и безнравственные. Идет такой зверек, положим, по лесу; увидал птичку, поймал и съел. Идет дальше и видит в траве гнездышко с яйцами; жрать ему уже не хочется, сыт, но все-таки раскусывает яйцо, а другие вышвыривает из гнезда лапкой. Потом встречает лягушку и давай с ней играть. Замучил лягушку, идет и облизуется, а навстречу ему жук. Он жука лапкой... И все он портит и разрушает на своем пути... Залезает и в чужие норы, разрывает зря муравейники, раскусывает улиток... Встретится крыса — он с ней в драку; увидит змейку или мышонка — задушить надо. И так целый день. Ну, скажи, для чего такой зверь нужен? Зачем он создан?

— Я не знаю, про какого зверька ты говоришь,— сказал фон Корен,— вероятно, про какого-нибудь из насекомоядных. Ну, что ж? Птица попалась ему, по-

тому что неосторожна; он разрушил гнездо с яйцами, потому что птица не искусна, дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его. У лягушки, вероятно, какой-нибудь изъян в цветовой окраске, иначе бы он не увидел ее, и так далее. Твой зверь сокрушает только слабых, неискусных, неосторожных — одним словом, имеющих недостатки, которые природа не находит нужным передавать в потомство. Остаются в живых только более ловкие, осторожные, сильные и развитые. Таким образом, твой зверек, сам того не подозревая, служит великим целям усовершенствования.

— Да, да, да... Кстати, брат,— сказал Самойленко развязно,— дай-ка мне займы рублей сто.

— Хорошо. Между насекомоядными попадаются очень интересные субъекты. Например, крот. Про него говорят, что он полезен, так как истребляет вредных насекомых. Рассказывают, что будто какой-то немец прислал императору Вильгельму Первому шубу из кротовых шкур и будто император приказал сделать ему выговор за то, что он истребил такое множество полезных животных. А между тем крот в жестокости нисколько не уступит твоему зверьку и к тому же очень вреден, так как страшно портит луга.

Фон Корен отпер шкатулку и достал оттуда сто-рублевую бумажку.

— У крота сильная грудная клетка, как у летучей мыши,— продолжал он, запирая шкатулку,— страшно развитые кости и мышцы, необыкновенное вооружение рта. Если бы он имел размеры слона, то был бы всесокрушающим, непобедимым животным. Интересно, когда два крота встречаются под землей, то они оба, точно сговорившись, начинают рыть площадку; эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав ее, они вступают в жестокий бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший. Возьми же сто рублей,— сказал фон Корен, понизив тон,— но с условием, что ты берешь не для Лаевского.

— А хоть бы и для Лаевского! — вспыхнул Самойленко.— Тебе какое дело?

— Для Лаевского я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать займы. Ты дал бы и разбойнику Кериму, если бы он попросил у тебя, но, извини, помогать тебе в этом направлении я не могу.

— Да, я прошу для Лаевского! — сказал Самойленко, вставая и размахивая правой рукой. — Да! Для Лаевского! И никакой ни черт, ни дьявол не имеет права учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами. Вам не угодно дать? Нет?

Дьякон захохотал.

— Ты не кипятись, а рассуждай, — сказал зоолог. — Благодетельствовать господину Лаевскому так же не умно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу.

— А по-моему, мы обязаны помогать нашим ближним! — крикнул Самойленко.

— В таком случае помоги вот этому голодному турку, что лежит под забором! Он работник и нужнее, полезнее твоего Лаевского. Отдай ему эти сто рублей. Или пожертвуй мне сто рублей на экспедицию!

— Ты дашь или нет, я тебя спрашиваю?

— Ты скажи откровенно: на что ему нужны деньги?

— Это не секрет. Ему нужно в субботу в Петербург ехать.

— Вот как! — сказал протяжно фон Корен. — Ага... Понимаем. А она с ним поедет, или как?

— Она пока здесь остается. Он устроит в Петербурге свои дела и пришлет ей денег, тогда и она поедет.

— Ловко!.. — сказал зоолог и засмеялся коротким теноровым смехом. — Ловко! Умно придумано.

Он быстро подошел к Самойленку и, став лицом к лицу, глядя ему в глаза, спросил:

— Ты говори откровенно: он разлюбил? Да? Говори: разлюбил? Да?

— Да, — выговорил Самойленко и вспотел.

— Как это отвратительно! — сказал фон Корен, и по лицу его видно было, что он чувствовал отвращение. — Что-нибудь из двух, Александр Давидыч: или ты с ним в заговоре, или же, извини, ты простофиля. Не

ужели ты не понимаешь, что он проводит тебя, как мальчишку, самым бессовестным образом? Ведь ясно как день, что он хочет отделаться от нее и бросить ее здесь. Она останется на твоей шее, и ясно как день, что тебе придется отправлять ее в Петербург на свой счет. Неужели твой прекрасный друг до такой степени ослепил тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самых простых вещей?

— Это одни только предположения,— сказал Самойленко, садясь.

— Предположения? Но почему он едет один, а не вместе с ней? И почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после? Продувная бестия!

Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчет своего приятеля, Самойленко вдруг ослабел и понизил тон.

— Но это невозможно! — сказал он, вспоминая ту ночь, когда Лаевский ночевал у него.— Он так страдает!

— Что ж из этого? Воры и поджигатели тоже страдают!

— Положим даже, что ты прав...— сказал в раздумье Самойленко.— Допустим... Но он молодой человек, на чужой стороне... студент, мы тоже студенты, и, кроме нас, тут некому оказать ему поддержку.

— Помогать ему делать мерзости только потому, что ты и он в разное время были в университете и оба там ничего не делали! Что за вздор!

— Пстой, давай хладнокровно рассудим. Можно будет, полагаю, устроить вот как...— соображал Самойленко, шевеля пальцами.— Я, понимаешь, дам ему деньги, но возьму с него честное благородное слово, что через неделю же он пришлет Надежде Федоровне на дорогу.

— И он даст тебе честное слово, даже прослезится и сам себе поверит, но цена-то этому слову? Он его не сдержит, и когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку с новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина. Брось ты его, бога ради! Уйди от грязи и не копайся в ней обеими руками!

Самойленко подумал минуту и сказал решительно:  
— Но я все-таки дам ему денег. Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений.

— И превосходно. Поцелуйся с ним.

— Так дай же мне сто рублей,— робко попросил Самойленко.

— Не дам.

Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел; лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выражение, и как-то странно было видеть это жалкое, детски-сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами.

— Здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади,— сказал дьякон, кладя перо.— Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия.

— Он хороший человек? — спросил фон Корен, который рад был переменить разговор.

— А то как же? Если б не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиереи?

— Между архиереями встречаются очень хорошие и даровитые люди,— сказал фон Корен.— Жаль только, что у многих из них есть слабость — воображать себя государственными мужами. Один занимается обрусением, другой критикует науки. Это не их дело. Они бы лучше почаще в консисторию заглядывали.

— Светский человек не может судить архиереев.

— Почему же, дьякон? Архиерей такой же человек, как и я.

— Такой, да не такой,— обиделся дьякон, принимаясь за перо.— Ежели бы вы были такой, то на вас почил бы благодать и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей, то, значит, не такой.

— Не мели, дьякон! — сказал Самойленко с тоской.— Послушай, вот что я придумал,— обратился он к фон Корену.— Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца, так вот дай мне вперед за три месяца.

— Не дам.

Самойленко замигал глазами и побагровел; он машинально потянул к себе книгу с фалангой и посмотрел на нее, потом встал и взялся за шапку. Фон Корену стало жаль его.

— Вот извольте жить и дело делать с такими господами! — сказал зоолог и в негодовании швырнул ногой в угол какую-то бумагу.— Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушие, распущенность, яд! Что делает разум, то разрушают ваши дряблые, никуда не годные сердца! Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тетушка из сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты вместе с тетушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в поянице, а вот здесь!

Фон Корен хлопнул себя по лбу.

— Возьми! — сказал он и швырнул сторублевую бумажку.

— Напрасно ты сердисься, Коля,— кротко сказал Самойленко, складывая бумажку.— Я тебя отлично понимаю, но... войди в мое положение.

— Баба ты старая, вот что!

Дьякон захохотал.

— Послушай, Александр Давидыч, последняя просьба! — горячо сказал фон Корен.— Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условие: пусть уезжает вместе со своей барыней или же отошлет ее вперед, а иначе не давай. Церемониться с ним нечего. Так ему и скажи, а если не скажешь, то, даю тебе честное слово, я пойду к нему в присутствии и спущу его там с лестницы, а с тобою знаться не буду. Так и знай!

— Что ж? Если он уедет вместе с ней или вперед ее отправит, то для него же удобнее,— сказал Самойленко.— Он даже рад будет. Ну, прощай.

Он нежно простился и вышел, но, прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корена, сделал страшное лицо и сказал:

— Это тебя, брат, немцы испортили! Да! Немцы!

## ХП

На другой день, в четверг, Марья Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Когда вечером пришли Лаевский и Надежда Федоровна, зоолог, уже сидевший в гостиной и пивший шоколад, спросил у Самойленка:

— Ты говорил с ним?

— Нет еще.

— Смотри же, не церемонься. Не понимаю я наглости этих господ! Ведь отлично знают взгляд здешней семьи на их сожительство, а между тем лезут сюда.

— Если обращать внимание на каждый предрассудок, — сказал Самойленко, — то придется никуда не ходить.

— Разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности предрассудок?

— Конечно. Предрассудок и ненавистничество. Солдаты, как увидят девицу легкого поведения, то хохочут и свищут, а спроси-ка их: кто они сами?

— Недаром они свищут. То, что девки душат своих незаконноприжитых детей и идут на каторгу, и что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой, неизвестно почему, нравится в Кате ее чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет, — разве все это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора, и, не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господу Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года.

Лаевский вошел в гостиную; со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корену, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку:

— Извини, Александр Давидыч, мне нужно сказать тебе два слова.

Самойленко встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александровича.



— Завтра пятница...— сказал Лаевский, грызя ногти.— Ты достал, что обещал?

— Достал только двести десять. Остальные сегодня достану или завтра. Будь покоен.

— Слава богу!..— вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости.— Ты меня спасаешь, Александр Давидыч, и, клянусь тебе богом, своим счастьем и чем хочешь, эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде. И старый долг вышлю.

— Вот что, Ваня...— сказал Самойленко, беря его за пуговицу и краснея.— Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но... почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной?

— Чудак, но разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей семьсот, если не больше. Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выедет отсюда.

— Так... Но почему бы тебе не отправить ее вперед?

— Ах, боже мой, разве это возможно? — ужаснулся Ласвский.— Ведь она женщина, что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег.

«Резонно...» — подумал Самойленко, но вспомнил разговор свой с фон Кореном, потупился и сказал угрюмо:

— С тобою я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней, или же отправь ее вперед, иначе... иначе я не дам тебе денег. Это мое последнее слово...

Он попятился назад, навалился спиной на дверь и вышел в гостиную красный, в страшном смущении.

«Пятница... пятница,— думал Лаевский, возвращаясь в гостиную.— Пятница...»

Ему подали чашку шоколаду. Он ожег губы и язык горячим шоколадом и думал:

«Пятница... пятница...»

Слово «пятница» почему-то не выходило у него из головы; он ни о чем, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял

Никодим Александрыч, аккуратненький, с зачесанными височками, и просил:

— Кушайте, покорнейше прошу-с...

Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно:

— Теперь ужасно, ужасно трудно учиться! Так много требуют...

— Мама! — стонала Катя, не зная, куда спрятаться от стыда и похвал.

Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил. Закон божий, русский язык, поведение, пятерки и четверки запрыгали в его глазах, и все это вместе с привязавшейся к нему пятницей, с зачесанными височками Никодима Александрыча и с красными щеками Кати представилось ему такой необъятной, непобедимой скукой, что он едва не вскрикнул с отчаяния и спросил себя: «Неужели, неужели я не уеду?»

Поставили рядом два ломберных стола и сели играть в почту. Лаевский тоже сел.

«Пятница... пятница...— думал он, улыбаясь и вынимая из кармана карандаш.— Пятница...»

Он хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя. Всякий раз, думая о своем будущем, он не давал своим мыслям полной свободы. Он сядет в вагон и поедет — этим решался вопрос его жизни, и дальше он не пускал своих мыслей. Как далекий тусклый огонек в поле, так изредка в голове его мелькала мысль, что где-то в одном из переулков Петербурга, в отдаленном будущем, для того чтобы разойтись с Надеждой Федоровной и уплатить долги, ему придется прибегнуть к маленькой лжи; он солжет только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо: ценою маленькой лжи он купит большую правду.

Теперь же, когда доктор своим отказом грубо намекнул ему на обман, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только в отдаленном будущем, но и сегодня, и завтра, и через месяц и, быть может, даже до конца жизни. В самом деле, чтобы уехать, ему нужно будет солгать Надежде Федоровне, кредиторам и

начальству; затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной; и мать не даст ему больше пятисот рублей,— значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург придет Надежда Федоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней; и опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяние, и, значит, никакого обновления не будет. Обман и больше ничего. В воображении Лаевского выросла целая гора лжи. Чтобы перескочить ее в один раз, а не лгать по частям, нужно было решиться на крутую меру — например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тотчас же уехать без денег, не говоря ни слова, но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно.

«Пятница, пятница...— думал он.— Пятница...»

Писали записки, складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима Александрыча, и, когда скоплялось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дьякон, Катя и Костя, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге.

«Нам надо поговорить»,— прочла Надежда Федоровна на записочке. Она переглянулась с Марьей Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой.

«О чем же говорить? — подумала Надежда Федоровна.— Если нельзя рассказать всего, то и говорить незачем».

Перед тем как идти в гости, она завязала Лаевскому галстук, и это пустое дело наполнило ее душу нежностью и печалью. Тревога на его лице, рассеянные взгляды, бледность и непонятная перемена, происшедшая с ним в последнее время, и то, что она имела от него страшную, отвратительную тайну, и то, что у нее дрожали руки, когда она завязывала галстук,— все это почему-то говорило ей, что им обоим уже недолго осталось жить вместе. Она глядела на него, как на икону, со страхом и раскаянием, и думала: «Прости,

прости...» Против нее за столом сидел Ачмианов и не отрывал от нее своих черных влюбленных глаз; ее волновали желания, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают ей уступить нечистой страсти, не сегодня, так завтра,— и что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться.

Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нее и оскорбительной для Лаевского, она решила уехать. Она будет с плачем умолять его, чтобы он отпустил ее, и если он будет противиться, то она уйдет от него тайно. Она не расскажет ему о том, что произошло. Пусть он сохранит о ней чистое воспоминание.

«Люблю, люблю, люблю»,— прочла она.— Это от Ачмианова.

Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому «от неизвестного» деньги, вышитые сорочки, табак и вернется к нему только в старости и в случае, если он опасно заболит и понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась быть его женой и оставила его, он оценит ее жертву и простит.

«У вас длинный нос».— Это, должно быть, от дьякона или от Кости.

Надежда Федоровна вообразила, как, прощаясь с Лаевским, она крепко обнимет его, поцелует ему руку и поклянется, что будет любить его всю, всю жизнь, а потом, живя в глуши, среди чужих людей, она будет каждый день думать о том, что где-то у нее есть друг, любимый человек, чистый, благородный и возвышенный, который хранит о ней чистое воспоминание.

«Если вы сегодня не назначите мне свидания, то я приму меры, уверяю честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять».— Это от Кирилина.

### ХIII

Лаевский получил две записки; он развернул одну и прочел: «Не уезжай, голубчик мой».

«Кто бы это мог написать? — подумал он.— Конечно, не Самойленко... И не дьякон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фон Корен разве?»

Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются.

«Вероятно, Самойленко проболтался...» — подумал Лаевский.

На другой записке тем же самым изломанным почерком с длинными хвостами и закорючками было написано: «А кто-то в субботу не уедет».

«Глупое издевательство,— подумал Лаевский.— Пятница, пятница...»

Что-то подступило у него к горлу. Он погрогал воротничок и кашлянул, но вместо кашля из горла вырвался смех.

— Ха-ха-ха! — захохотал он.— Ха-ха-ха! «Чему это я?» — подумал он.— Ха-ха-ха!

Он попытался удержать себя, закрыл рукою рот, но смех давил ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта.

«Как это, однако, глупо! — думал он, покатываясь со смеху.— Я с ума сошел, что ли?»

Хохот становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лаевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались и правая рука как-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел удивленные взгляды, серьезное, испуганное лицо Самойленка и взгляд зоолога, полный холодной насмешки и гадливости, и понял, что с ним истерика.

«Какое безобразие, какой стыд,— думал он, чувствуя на лице теплоту от слез...— Ах, ах, какой срам! Никогда со мною этого не было...»

Вот взяли его под руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то; вот стакан блеснул перед глазами и стукнул по зубам, и вода пролилась на грудь; вот маленькая комната, посреди две постели рядом, покрытые чистыми, белыми, как снег, покрывалами. Он повалился на одну постель и зарыдал.

— Ничего, ничего...— гсворил Самойленко.— Это бывает... Это бывает...

Похолодевшая от страха, дрожа всем телом и пред-

чувствуя что-то ужасное, Надежда Федоровна стояла у постели и спрашивала:

— Что с тобой? Что? Ради бога, говори...

«Не написал ли ему чего-нибудь Кирилин?» — думала она.

— Ничего... — сказал Лаевский, смеясь и плача. — Уйди отсюда... голубка.

Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращения: значит, он ничего не знает; Надежда Федоровна немного успокоилась и пошла в гостиную.

— Не волнуйтесь, милая! — сказала ей Марья Константиновна, садясь рядом и беря ее за руку. — Это пройдет. Мужчины так же слабы, как и мы, грешные. Вы оба теперь переживаете кризис... это так понятно! Ну, милая, я жду ответа. Давайте поговорим.

— Нет, не будем говорить... — сказала Надежда Федоровна, прислушиваясь к рыданиям Лаевского. — У меня тоска... Позвольте мне уйти.

— Что вы, что вы, милая! — испугалась Марья Константиновна. — Неужели вы думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим, тогда и с богом.

— У меня тоска... — прошептала Надежда Федоровна и, чтобы не упасть, взялась обеими руками за ручку кресла.

— У него родимчик! — сказал весело фон Корен, входя в гостиную, но, увидев Надежду Федоровну, смутился и вышел.

Когда кончилась истерика, Лаевский сидел на чужой постели и думал:

«Срам, разревелся, как девчонка! Должно быть, я смешон и гадок. Уйду черным ходом... Впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьезное значение. Следовало бы ее разыграть в шутку...»

Он посмотрелся в зеркало, посидел немного и вышел в гостиную.

— А вот и я! — сказал он улыбаясь; ему было мучительно стыдно, и он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии. — Бывают же такие истории, — сказал он, садясь. — Сидел я и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в боку... невыноси-

мую, нервы не выдержали, и... и вышла такая глупая штука. Наш нервный век, ничего не поделаешь!

За ужином он пил вино, разговаривал и изредка, судорожно вздыхая, поглаживал себе бок, как бы показывая, что боль еще чувствуется. И никто, кроме Надежды Федоровны, не верил ему, и он видел это.

В десятом часу пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с нею не заговорил Кирилин, все время старалась держаться около Марии Константиновны и детей. Она ослабела от страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, так как была уверена, что за нею пойдет Кирилин или Ачмианов, или оба вместе. Кирилин шел сзади, рядом с Никодимом Александрычем, и напевал вполголоса:

— Я игра-ать мной не позво-олю! Не позво-олю!

С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу и долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корен стал рассказывать, отчего оно фосфорится,

#### XIV

— Однако мне пора винтить... Меня ждут,— сказал Лаевский.— Прощайте, господа.

— И я с тобой, погоди,— сказала Надежда Федоровна и взяла его под руку.

Они простились с обществом и пошли. Кирилин тоже простился, сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними.

«Что будет, то будет...— думала Надежда Федоровна.— Пусть...»

Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. «Если Кирилин,— думала она,— сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а она одна. Ведь было время, когда ни один мужчина не разговаривал с нею так, как Кирилин, и сама она порвала это время, как нитку, и погубила его без-

возвратно — кто же виноват в этом? Одурманенная своими желаниями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человеку только потому, вероятно, что он статен и высок — ростом, в два свидания он наскучил ей, и она бросила его, и разве поэтому, — думала она теперь, — он не имеет права поступить с нею, как ему угодно?»

— Тут, голубка, я с тобой прошусь, — сказал Лаевский, останавливаясь. — Тебя проводит Илья Михайлыч.

Он поклонился Кирилину и быстро пошел поперек бульвара, прошел через улицу к дому Шешковского, где светились окна, и слышно было затем, как он стукнул калиткой.

— Позвольте мне объясниться с вами, — начал Кирилин. — Я не мальчишка, не какой-нибудь Ачкасов или Лачкасов, Зачкасов... Я требую серьезного внимания!

У Надежды Федоровны сильно забилося сердце. Она ничего не ответила.

— Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством, — продолжал Кирилин, — теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой армянином, но я порядочный человек и требую, чтобы с мной поступали, как с порядочным человеком. Итак, я к вашим услугам...

— У меня тоска... — сказала Надежда Федоровна и заплакала и, чтобы скрыть слезы, отвернулась.

— У меня тоже тоска, но что же из этого следует?

Кирилин помолчал немного и сказал отчетливо, с расстановкой:

— Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидания, то сегодня же я сделаю скандал.

— Отпустите меня сегодня, — сказала Надежда Федоровна и не узнала своего голоса, до такой степени он был жалобен и тонок.

— Я должен проучить вас... Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Да-с, к сожалению, я должен проучить вас. Я требую два свидания:



сегодня и завтра. Послезавтра вы совершенно свободны и можете идти на все четыре стороны с кем вам угодно. Сегодня и завтра.

Надежда Федоровна подошла к своей калитке и остановилась.

— Отпустите меня! — шептала она, дрожа всем телом и не видя перед собою в потемках ничего, кроме белого кителя.— Вы правы, я ужасная женщина... я виновата, но отпустите... Я вас прошу...— она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула,— я вас умоляю...

— Увы! — вздохнул Кирилин.— Увы! Не в моих планах отпускать вас, я только хочу проучить вас, дать понять, и к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам.

— У меня тоска...

Надежда Федоровна прислушалась к ровному шуму моря, поглядела на небо, усыпанное звездами, и ей захотелось скорее покончить все и отделаться от проклятого ощущения жизни с ее морем, звездами, мужчинами, лихорадкой...

— Только не у меня дома...— сказала она холодно.— Уведите меня куда-нибудь.

— Пойдемте к Мюридову. Самое лучшее.

— Где это?

— Около старого вала.

Она быстро пошла по улице и потом повернула в переулок, который вел к горам. Было темно. Кое-где на мостовой лежали бледные световые полосы от освещенных окон, и ей казалось, что она, как муха, то падает в чернила, то опять выползает из них на свет. Кирилин шел за нею. На одном месте он споткнулся, едва не упал и засмеялся.

«Он пьян...— подумала Надежда Федоровна.— Все равно... все равно... Пусть».

Ачмианов тоже скоро простился с компанией и пошел вслед за Надеждой Федоровной, чтобы пригласить ее покататься на лодке. Он подошел к ее дому и посмотрел через палисадник: окна были открыты настежь, огня не было.

— Надежда Федоровна! — позвал он.

Прошла минута. Он опять позвал.

— Кто там? — слышался голос Ольги.

— Надежда Федоровна дома?

— Нету. Еще не приходила.

«Странно... Очень странно,— подумал Ачмианов, начиная чувствовать сильное беспокойство.— Она пошла домой...»

Он прошелся по бульвару, потом по улице и заглянул в окна к Шешковскому. Лаевский без сюртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты.

— Странно, странно... — пробормотал Ачмианов, и при воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, ему стало стыдно.— Если она не дома, то где же?

Он опять пошел к квартире Надежды Федоровны и посмотрел на темные окна.

«Это обман, обман...» — думал он, вспоминая, что она же сама, встретясь с ним сегодня в полдень у Билюговых, обещала вместе кататься вечером на лодке.

Окна в том доме, где жил Кирилин, были темны, и у ворот на лавочке сидел городской и спал. Ачмианову, когда он посмотрел на окна и на городского, стало все ясно. Он решил идти домой и пошел, но очутился опять около квартиры Надежды Федоровны. Тут он сел на лавочку и снял шляпу, чувствуя, что его голова горит от ревности и обиды.

В городской церкви били часы только два раза в сутки: в полдень и в полночь. Вскоре после того, как они пробили полночь, слышались торопливые шаги.

— Значит, завтра вечером опять у Мюридова! — услышал Ачмианов и узнал голос Кирилина.— В восемь часов. До свиданья-с!

Около палисадника показалась Надежда Федоровна. Не замечая, что на лавочке сидит Ачмианов, она прошла тенью мимо него, отворила калитку и, оставив ее отпертою, вошла в дом. У себя в комнате она зажгла свечу, быстро разделась, но не легла в постель, а опустилась перед стулом на колени, обняла его и припала к нему лбом.

Лаевский вернулся домой в третьем часу.

Решив лгать не сразу, а по частям, Лаевский на другой день, во втором часу, пошел к Самойленку попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжелому состоянию его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться в городе было невысказано. Если Самойленко будет настаивать на своих условиях, думал он, то можно будет согласиться на них и взять деньги, а завтра, в самый час отъезда, сказать, что Надежда Федоровна отказалась ехать; с вечера ее можно будет уговорить, что все это делается для ее же пользы. Если же Самойленко, находящийся под очевидным влиянием фон Корена, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то он, Лаевский, сегодня же уедет на грузовом пароходе, или даже на паруснике, в Новый Афон или Новороссийск, пошлет оттуда матери унижительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу.

Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Корена. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чепцах.

«Как некстати,— подумал Лаевский, увидев его.— Он может помешать».

— Здравствуйте!

— Здравствуйте,— ответил фон Корен, не глядя на него.

— Александр Давидыч дома?

— Да. В кухне.

Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся, что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил:

— Как вы себя чувствуете после вчерашнего?

— Превосходно,— ответил Лаевский, краснея.— В сущности, ведь ничего не было особенного...

— До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам, и потому думал сначала, что у вас пляска святого Витта.

Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал:

«Как это неделикатно с его стороны. Ведь он отлично знает, что мне тяжело...»

— Да, смешная была история,— сказал он, продолжая улыбаться.— Я сегодня все утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе и в то же время рыдаешь. В наш нервный век мы рабы своих нервов; они наши хозяева и делают с нами, что хотят. Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежью услугу...

Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корен серьезно и внимательно слушает его и глядит на него внимательно, не мигая, точно изучает; и досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь к фон Корену, он никак не мог согнать со своего лица заискивающей улыбки.

— Хотя, надо сознаться,— продолжал он,— были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье... отсутствие людей и общих интересов... Положение хуже губернаторского.

— Да, ваше положение безвыходно,— сказал фон Корен.

Эти покойные, холодные слова, содержавшие в себе не то насмешку, не то непрошеное пророчество, оскорбили Лаевского. Он вспомнил вчерашний взгляд зоолога, полный насмешки и гадливости, помолчал немного и спросил, уже не улыбаясь:

— А вам откуда известно мое положение?

— Вы только что говорили о нем сами, да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас.

— Какие друзья? Самойленко, что ли?

— Да, и он.

— Я попросил бы Александра Давидыча и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться.

— Вот идет Самойленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился.

— Я не понимаю вашего тона...— пробормотал Лаевский; его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что зоолог ненавидит его, презирает и издевается над ним и что зоолог самый злейший и непримиримый враг его.— Приберегите этот тон для кого-нибудь другого,— сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться.

Вошел Самойленко, без сюртука, потный и багровый от кухонной духоты.

— А, ты здесь?— сказал он.— Здравствуй, голубчик. Ты обедал? Не церемонься, говори: обедал?

— Александр Давидыч,— сказал Лаевский, вставая,— если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны.

— Что такое?— удивился Самойленко.

— Если у тебя нет денег,— продолжал Лаевский, возвышая голос и от волнения переминаясь с ноги на ногу,— то не давай, откажи, но зачем благовестить в каждом переулке о том, что мое положение безвыходно и прочее? Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не могу! Можешь хвастать своими благодеяниями, сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны!

— Какие тайны?— спросил Самойленко, недоумевая и начиная сердиться.— Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь!

Он вспомнил правило, что когда гневаешься на ближнего, то начни мысленно считать до ста и успокойсь; и он начал быстро считать.

— Прошу вас обо мне не заботиться!— продолжал Лаевский.— Не обращайтесь на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать! Да, я делаю долги, пью, живу с чужой женой, у меня истерика, я пошел, не так глубокомыслен, как

некоторые, но кому какое дело до этого? Уважайте личность!

— Ты, братец, извини,— сказал Самойленко, сосчитав до тридцати пяти,— но...

— Уважайте личность! — перебил его Лаевский.— Эти постоянные разговоры на чужой счет, охи да ахи, постоянные выслеживания, подслушивания, эти сочувствия дружеские... к черту! Мне дают деньги займы и предлагают условия, как мальчишке! Меня третируют, как черт знает что! Ничего я не желаю! — крикнул Лаевский, шатаясь от волнения и боясь, как бы с ним опять не приключилась истерика. «Значит, в субботу я не уеду»,— мелькнуло у него в мыслях.— Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня от опеки. Я не мальчишка и не сумасшедший и прошу снять с меня этот надзор!

Вошел дьякон и, увидев Лаевского, бледного, размахивающего руками и обращающегося со своею странною речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери как вкопанный.

— Постоянные заглядывания в мою душу,— продолжал Лаевский,— оскорбляют во мне человеческое достоинство, и я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство! Довольно!

— Что ты... что вы сказали? — спросил Самойленко, сосчитав до ста, багровея и подходя к Лаевскому.

— Довольно! — повторил Лаевский, задыхаясь и беря фуражку.

— Я русский врач, дворянин и статский советник! — сказал с расстановкой Самойленко.— Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять! — крикнул он дребезжащим голосом, делая ударение на последнем слове.— Замолчать!

Дьякон, никогда не видавший доктора таким величественным, надутым, багровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там со смеху. Словно в тумане, Лаевский видел, как фон Корен встал и, заложив руки в карманы панталон, остановился в такой позе, как будто ждал, что будет дальше; эта покойная поза показалась Лаевскому в высшей степени дерзкой и оскорбительной.

— Извольте взять ваши слова назад! — крикнул Самойленко.

Лаевский, уже не помнивший, какие он слова говорил, отвечал:

— Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое! Иначе я приму меры! Я драться буду!

— Теперь понятно, — сказал фон Корен, выходя из-за стола. — Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов.

— Вызов? — проговорил тихо Лаевский, подходя к зоологу и глядя с ненавистью на его смуглый лоб и курчавые волосы. — Вызов? Извольте! Я ненавижу вас! Ненавижу!

— Очень рад. Завтра утром пораньше около Кербала, со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь.

— Ненавижу! — говорил Лаевский тихо, тяжело дыша. — Давно ненавижу! Дуэль! Да!

— Убери его, Александр Давидыч, а то я уйду, — сказал фон Корен. — Он меня укусит.

Покойный тон фон Корена охладил доктора; он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забормотал ласковым, дрожащим от волнения голосом:

— Друзья мои... хорошие, добрые... Погорячились и будет... и будет... Друзья мои...

Услышав мягкий, дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что произошло что-то небывалое, чудовищное, как будто его чуть было не раздавил поезд; он едва не заплакал, махнул рукой и выбежал из комнаты.

«Испытать на себе чужую ненависть, выказать себя перед ненавидящим человеком в самом жалком, презренном, беспомощном виде, — боже мой, как это тяжело! — думал он немного погодя, сидя в павильоне и чувствуя точно ржавчину на теле от только

что испытанной чужой ненависти.— Как это грубо, боже мой!»

Холодная вода с коньяком подбодрила его. Он с ясностью представил себе покойное, надменное лицо фон Корена, его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые руки, и тяжелая ненависть, страстная, голодная, заворочалась в его груди и потребовала удовлетворения. В мыслях он повалил фон Корена на землю и стал топтать его ногами. Он вспоминал в мельчайших подробностях все происшедшее и удивлялся, как это он мог заискивающе улыбаться ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких, никому не известных людишек, живущих в ничтожнейшем городе, которого, кажется, нет даже на карте и о котором в Петербурге не знает ни один порядочный человек. Если бы этот городишко вдруг провалился или сгорел, то телеграмму об этом прочли бы в России с такою же скукой, как объявление о продаже подержанной мебели. Убить завтра фон Корена или оставить его в живых — это все равно, одинаково бесполезно и неинтересно. Выстрелить в ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним, и как насекомое с оторванной ножкой теряется в траве, так пусть он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же ничтожных людей, как он сам.

Лаевский пошел к Шешковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в секунданты; потом оба они отправились к начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили и его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и смеялись; Лаевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять, и называл себя королевским стрелком и Вильгельмом Теллем.

— Надо этого господина проучить...— говорил он.

После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще глупа и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее иногда нельзя обойтись. Например, в данном случае: ведь не подашь же на фон Корена мировому! И предстоящая дуэль еще



тем хороша, что после нее ему уж нельзя будет оставаться в городе. Он слегка опьянел, развлекся картами и чувствовал себя хорошо.

Но когда зашло солнце и стало темно, им овладело беспокойство. Это был не страх перед смертью, потому что в нем, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то уверенность, что дуэль кончится ничем; это был страх перед чем-то неизвестным, что должно случиться завтра утром первый раз в его жизни, и страх перед наступающею ночью... Он знал, что ночь будет длинная, бессонная и что придется думать не об одном только фон Корене и его ненависти, но и о той горе лжи, которую ему предстояло пройти и обойти которую у него не было сил и умения. Похоже было на то, как будто он заболел внезапно; он потерял вдруг всякий интерес к картам и людям, засуетился и стал просить, чтобы его отпустили домой. Ему хотелось поскорее лечь в постель, не двигаться и приготовить свои мысли к ночи. Шешковский и почтовый чиновник проводили его и отправились к фон Корену, чтобы поговорить насчет дуэли.

Около своей квартиры Лаевский встретил Ачмианова. Молодой человек запыхался и был возбужден.

— А я вас ищу, Иван Андреич! — сказал он. — Прошу вас, пойдите скорее...

— Куда?

— Вас желает видеть один незнакомый вам господин, который имеет до вас очень важное дело. Он убедительно просит вас прийти на минутку. Ему нужно о чем-то поговорить с вами... Для него это все равно как жизнь и смерть...

Волнуясь, Ачмианов проговорил это с сильным армянским акцентом, так что у него вышло не «жизнь», а «жизень».

— Кто он такой? — спросил Лаевский.

— Он просил не говорить его имени.

— Скажите ему, что я занят. Завтра, если угодно...

— Как можно! — испугался Ачмианов. — Он хочет сказать вам такое очень важное для вас... очень важное! Если не пойдете, то случится несчастье.

— Странно...— пробормотал Лаевский, не понимая, почему Ачмианов так возбужден и какие это тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке.— Странно,— повторил он в раздумье.— Впрочем, пойдемте. Все равно.

Ачмианов быстро пошел вперед, а он за ним. Прошли по улице, потом переулком.

— Как это скучно,— сказал Лаевский.

— Сейчас, сейчас... Близко.

Около старого вала они прошли узким переулком между двумя огороженными пустырями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику...

— Это дом Мюридова, что ли? — спросил Лаевский.

— Да.

— Но зачем мы идем задворками, не понимаю? Могли бы и улицей. Там ближе...

— Ничего, ничего...

Лаевскому показалось также странным, что Ачмианов повел его к черному ходу и замахал ему рукой, как бы приглашая его идти потише и молчать.

— Сюда, сюда...— сказал Ачмианов, осторожно отворяя дверь и входя в сени на цыпочках.— Тише, тише, прошу вас... Могут услышать.

Он прислушался, тяжело перевел дух и сказал шепотом:

— Отворите вот эту дверь и войдите... Не бойтесь.

Лаевский, недоумевая, отворил дверь и вошел в комнату с низким потолком и занавешенными окнами. На столе стояла свеча.

— Кого нужно? — спросил кто-то в соседней комнате.— Ты, Мюридка?

Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кирилина, а рядом с ним Надежду Федоровну.

Он не слышал, что ему сказали, попятился назад и не заметил, как очутился на улице. Ненависть к фон Корену и беспокойство — все исчезло из души. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по

гладкому. Дома, в кабинете, он, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, как будто ему было тесно в пиджаке и сорочке, прошелся из угла в угол, потом зажег свечу и сел за стол...

## XVI

— Гуманитарные науки, о которых вы говорите, тогда только будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом, или в монологах нового Гамлета, или в новой религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной корой раньше, чем это случится. Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний, это, конечно, учение Христа, но посмотрите, как даже оно различно понимается! Одни учат, чтобы мы любили всех ближних, и делают при этом исключение для солдат, преступников и безумных: первых они разрешают убивать на войне, вторых изолировать или казнить, а третьим запрещают вступление в брак. Другие толкователи учат любить всех ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходит бугорчатный, или убийца, или эпилептик и сватает вашу дочь — отдавайте; если кретины идут войной на физически и умственно здоровых — подставляйте головы. Эта проповедь любви ради любви, как искусства для искусства, если бы могла иметь силу, в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию, и таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле. Толкований очень много, а если их много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни одним из них, и к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное. Поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую или так называемую христианскую почву; этим вы только отдаляетесь от решения вопроса.

Дьякон внимательно выслушал зоолога, подумал и спросил:

— Нравственный закон, который свойственен каждому из людей, философы выдумали или же его бог создал вместе с телом?

— Не знаю. Но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что, мне кажется, его следует признать органически связанным с человеком. Он не выдуман, а есть и будет. Я не скажу вам, что его увидят когда-нибудь под микроскопом, но органическая связь его уже доказывается очевидностью: серьезное страдание мозга и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно.

— Хорошо-с. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних. Так? Но естественная природа наша по себялюбии противится голосу совести и разума, и потому возникает много головоломных вопросов. К кому же мы должны обращаться за разрешением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву?

— Обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у нас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Правда, это скучно, но зато не так зыбко и расплывчато, как философия. Нравственный закон, положим, требует, чтобы вы любили людей. Что ж? Любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем. Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы и умения обезвредить их, то есть уничтожить.

— Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?

— Несомненно.

— Но ведь сильные распяли господу нашего Иисуса Христа! — сказал горячо дьякон.

— В том-то и дело, что распяли его не сильные, а слабые. Человеческая культура ослабила и стре-

мится свести к нулю борьбу за существование и подбор; отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными. Вообразите, что вам удалось внушить пчелам гуманные идеи в их неразработанной, рудиментарной форме. Что произойдет от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых, будут съедать мед, развращать и душить пчел — в результате преобладание слабых над сильными и вырождение последних. То же самое происходит теперь и с человечеством: слабые гнетут сильных. У дикарей, которых еще не коснулась культура, самый сильный, мудрый и самый нравственный идет впереди; он вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать. Значит, у нас чего-то недостает... И это «что-то» мы должны восстановить у себя, иначе конца не будет этим недоразумениям.

— Но какой у вас есть критерий для различения сильных и слабых?

— Знание и очевидность. Бугорчатных и золотушных узнают по их болезням, а безнравственных и сумасшедших по поступкам.

— Но ведь возможны ошибки!

— Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп.

— Это философия, — засмеялся дьякон.

— Нисколько. Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философией, что во всем хотите видеть один только туман. Отвлеченные науки, которыми набита ваша молодая голова, потому и называются отвлеченными, что они отвлекают ваш ум от очевидности. Смотрите в глаза черту прямо, и если он черт, то и говорите, что это черт, а не лезьте к Канту или к Гегелю за объяснениями.

Зоолог помолчал и продолжал:

— Дважды два есть четыре, а камень есть камень. Завтра вот у нас дуэль. Мы с вами будем говорить, что это глупо и нелепо, что дуэль уже отжила свой век, что аристократическая дуэль ничем по существу не отличается от пьяной драки в кабаке, а все-таки мы не остановимся, поедem и будем драться. Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений.

Мы кричим, что война — это разбой, варварство, ужас, братоубийство, мы без обморока не можем видеть крови; но стоит только французам или немцам оскорбить нас, как мы тотчас же почувствуем подъем духа, самым искренним образом закричим «ура» и бросимся на врага, вы будете призывать на наше оружие благословение божие, и наша доблесть будет вызывать всеобщий, и притом искренний, восторг. Опять-таки, значит, есть сила, которая если не выше, то сильнее нас и нашей философии. Мы не можем остановить ее так же, как вот этой тучи, которая подвигается из-за моря. Не лицемерьте же, не показывайте ей кукиша в кармане и не говорите: «Ах, глупо! ах, устарело! ах, не согласно с писанием!», а глядите ей прямо в глаза, признавайте ее разумную законность, и когда она, например, хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого евангелия. У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного и кормит, и греет его во имя любви и Христа. Если бы этот Данила в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокаженного подальше от города и бросил его в ров, а сам пошел бы служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную.

— Экой вы какой! — засмеялся дьякон. — В Христа же вы не веруете, зачем же вы его так часто упоминаете?

— Нет, верую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему. Ах, дьякон, дьякон! — засмеялся зоолог; он взял дьякона за талию и сказал весело: — Ну, что ж? Поедем завтра на дуэль?

— Сан не позволяет, а то бы поехал.

— А что значит — сан?

— Я посвященный. На мне благодать.

— Ах, дьякон, дьякон, — повторил фон Корен смеясь. — Люблю я с вами разговаривать.

— Вы говорите — у вас вера, — сказал дьякон. — Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя

просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да... Вера горами двигает.

Дьякон засмеялся и похлопал зоолога по плечу.

— Так-то...— продолжал он.— Вот вы всё учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете — и все остается на своем месте; а глядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово, или из Аравии прискачет на коне новый Магомет с шашкой, и полетит у вас все вверх торамашкой, и в Европе камня на камне не останется.

— Ну, это, дьякон, на небе вилами писано!

— Вера без дел мертва есть, а дела без веры — еще хуже, одна только трата времени и больше ничего.

На набережной показался доктор. Он увидел дьякона и зоолога и подошел к ним.

— Кажется, все готово,— сказал он, запыхавшись.— Секундантами будут Говоровский и Бойко. Заедут утром в пять часов. Наворотило-то как! — сказал он, посмотрев на небо.— Ничего не видать. Сейчас дождик будет.

— Ты, надеюсь, поедешь с нами? — спросил фон Корен.

— Нет, боже меня сохрани, я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет. Я уже говорил с ним.

Далеко над морем блеснула молния и послышались глухие раскаты грома.

— Как душно перед грозой! — сказал фон Корен.— Бьюсь об заклад, что ты уже был у Лаевского и плакал у него на груди.

— Зачем я к нему пойду? — ответил доктор, смутившись.— Вот еще!

До захода солнца он несколько раз прошелся по бульвару и по улице в надежде встретиться с Лаевским. Ему было стыдно за свою вспышку и за вне-

запный порыв доброты, который последовал за этой вспышкой. Он хотел извиниться перед Лаевским в шуточном тоне, пожуричь его, успокоить и сказать ему, что дуэль — остатки средневекового варварства, но что само провидение указало им на дуэль как на средство примирения: завтра оба они, прекраснейшие, величайшего ума люди, обменявшись выстрелами, оценят благородство друг друга и сделаются друзьями. Но Лаевский ни разу не встретился.

— Зачем я к нему пойду? — повторил Самойленко. — Не я его оскорбил, а он меня. Скажи на милость, за что он на меня набросился? Что я ему дурного сделал? Вхожу в гостиную и вдруг, здорово живешь: шпион! Вот-те на! Ты скажи: с чего у вас началось? Что ты ему сказал?

— Я ему сказал, что его положение безвыходно. И я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход из всякого положения, а тот, кто хочет в одно и то же время быть честным и мошенником, не имеет выхода. Однако, господа, уж одиннадцать часов, а завтра нам рано вставать.

Внезапно налетел ветер; он поднял на набережной пыль, закружил ее вихрем, заревел и заглушил шум моря.

— Шквал! — сказал дьякон. — Надо идти, а то глаза запорошило.

Когда пошли, Самойленко вздохнул и сказал, придерживая фуражку:

— Должно быть, я не буду нынче спать.

— А ты не волнуйся, — засмеялся зоолог. — Можешь быть покоен, дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно в воздух выстрелит, он иначе не может, а я, должно быть, и совсем стрелять не буду. Попадать под суд из-за Лаевского, терять время — не стоит игра свеч. Кстати, какая ответственность полагается за дуэль?

— Арест, а в случае смерти противника заключение в крепости до трех лет.

— В Петропавловской?

— Нет, в военной, кажется.

— Хотя следовало бы проучить этого молодца!



Позади на море сверкнула молния и на мгновение осветила крыши домов и горы. Около бульвара приятели разошлись. Когда доктор исчез в потемках и уже стихали его шаги, фон Корен крикнул ему:

— Как бы погода не помешала нам завтра!

— Чего доброго! А дал бы бог!

— Спокойной ночи!

— Что — ночь? Что ты говоришь?

За шумом ветра и моря и за раскатами грома трудно было расслышать.

— Ничего! — крикнул зоолог и поспешил домой.

## ХVII

...в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток;  
И, с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуюсь и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

*Пушкин*

Убьют ли его завтра утром, или посмеются над ним, то есть оставят ему эту жизнь, он все равно погиб. Убьет ли себя с отчаяния и стыда эта опозоренная женщина, или будет влачить свое жалкое существование, она все равно погибла...

Так думал Лаевский, сидя за столом поздно вечером и все еще продолжая потирать руки. Окно вдруг отворилось и хлопнуло, в комнату ворвался сильный ветер, и бумаги полетели со стола. Лаевский запер окно и нагнулся, чтобы собрать с полу бумаги. Он чувствовал в своем теле что-то новое, какую-то неловкость, котсрой раньше не было, и не узнавал своих движений; ходил он несмело, тыча в стороны локтями и подергивая плечами, а когда сел за стол, то опять стал потирать руки. Тело его потеряло гибкость.

Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский помнил об этом. Он взял перо и написал дрожащим почерком:

«Матушка!»

Он хотел написать матери, чтобы она во имя милосердного бога, в которого она верует, дала бы приют и согрела лаской несчастную, обесчещенную им женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила все, все, все и жертвою хотя отчасти искупила страшный грех сына; но он вспомнил, как его мать, полная, грузная старуха, в кружевном чепце, выходит утром из дома в сад, а за нею идет приживалка с болонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу и как гордо, надменно её лицо,— он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово.

Во всех трех окнах ярко блеснула молния, и вслед за этим раздался оглушительный, раскатистый удар грома, сначала глухой, а потом грохочущий и с треском, и такой сильный, что зазвенели в окнах стекла. Лаевский встал, подошел к окну и припал лбом к стеклу. На дворе была сильная, красивая гроза. На горизонте молнии белыми лентами непрерывно бросались из туч в море и освещали на далекое пространство высокие черные волны. И справа, и слева, и, вероятно, также над домом сверкали молнии.

— Гроза! — прошептал Лаевский; он чувствовал желание молиться кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнии или тучам.— Милая гроза!

Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: «Свят, свят, свят...» О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной, чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного

деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал...

«Что в моем прошлом не порок?» — спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь светлое воспоминание, как падающий в пропасть цепляется за кусты.

Гимназия? Университет? Но это обман. Он учился дурно и забыл то, чему его учили. Служение обществу? Это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалованье получал даром и служба его — это гнусное казнокрадство, за которое не отдадут под суд.

Истина не нужна была ему, и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала; он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, непошлой строчки, не сделал людям ни на один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь...

Он ясно вспомнил то, что видел вечером в доме Мюридова, и ему было невыносимо жутко от омерзения и тоски. Кирилин и Ачмианов отвратительны, но ведь они продолжали то, что он начал; они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда — в зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь — и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался все крепче опутать ее лганьем, как паутиной... Остальное доделали эти люди.

Лаевский то садился у стола, то опять уходил к окну; он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения; несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал: «Матушка!»

Кроме матери, у него не было никого родных и близких; но как могла помочь ему мать? И где она? Он хотел бежать к Надежде Федоровне, чтобы пасть к ее ногам, целовать ее руки и ноги, умолять о прощении, но она была его жертвой, и он боялся ее, точно она умерла.

— Погибла жизнь! — бормотал он, потирая руки.— Зачем же я еще жив, боже мой!..

Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночью тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность — трудом, скуку — радостью, он вернул бы чистоту тем, у кого взял ее, нашел бы бога и справедливость, но это так же невозможно, как закатившуюся звезду вернуть опять на небо. И оттого что это невозможно, он приходил в отчаяние.

Когда прошла гроза, он сидел у открытого окна и покойно думал о том, что будет с ним. Фон Корен, вероятно, убьет его. Ясное, холодное мирозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных; если же оно изменит в решительную минуту, то помогут ему ненависть и чувство гадливости, какис возбуждает в нем Лаевский. Если же он промахнется, или, для того чтобы посмеяться над ненавистным противником, только ранит его, или выстрелит в воздух, то что тогда делать? Куда идти?

— Ехать в Петербург? — спрашивал себя Лаевский.— Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаяю. И кто ищет спасения в перемене места, как перелетная птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова. Искать спасения в людях? В ком искать и как? Доброта и великодушие Самойленка так же мало спаси-

тельны, как смешливость дьякона или ненависть фон Корена. Спасения надо искать только в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и все...

Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое.

— Погодите, я сейчас! — сказал им Лаевский в окно. — Я не сплю. Разве уже пора?

— Да. Четыре часа. Пока доедем...

Лаевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье; ему казалось, что нужно было сделать еще что-то. На улице тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади, и эти звуки в раннее сырое утро, когда все спят и чуть брезжит небо, наполнили душу Лаевского унынием, похожим на дурное предчувствие. Он постоял немного в раздумье и пошел в спальню.

Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головою в плед; она не двигалась и напоминала, особенно головою, египетскую мумию. Глядя на нее молча, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть бог, то он сохранит ее; если же бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем.

Она вдруг вскочила и села в постели. Подняв свое бледное лицо и глядя с ужасом на Лаевского, она спросила:

— Это ты? Гроза прошла?

— Пршла.

Она вспомнила, положила обе руки на голову и вздрогнула всем телом.

— Как мне тяжело! — проговорила она. — Если бы ты знал, как мне тяжело! Я ждала, — продолжала она жмурясь, — что ты убьешь меня или прогонишь из дому под дождь и грозу, а ты медлишь... медлишь...

Он порывисто и крепко обнял ее, осыпал поцелуями ее колени и руки, потом, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала от воспоминаний, он пригласил

дил ее волосы и, всматриваясь ей в лицо, понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человек.

Когда он, выйдя из дому, сел в коляску, ему хотелось вернуться домой живым.

## ХVIII

Дьякон встал, оделся, взял свою толстую суковатую палку и тихо вышел из дому. Было темно, и дьякон в первые минуты, когда пошел по улице, не видел даже своей белой палки; на небе не было ни одной звезды, и походило на то, что опять будет дождь. Пахло мокрым песком и морем.

«Пожалуй, не напали бы чеченцы»,— думал дьякон, слушая, как его палка стучала о мостовую и как звонко и одиноко раздавался в ночной тишине этот стук.

Выйдя за город, он стал видеть и дорогу и свою палку; на черном небе кое-где показались мутные пятна и скоро выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом. Дьякон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря; оно засыпало внизу, и невидимые волны его лениво и тяжело ударились о берег и точно вздыхали: уф! И как медленно! Ударилась одна волна, дьякон успел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов третья. Так же точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый, сонный шум моря, слышалось бесконечно далекое, невообразимое время, когда бог носился над хаосом.

Дьякону стало жутко. Он подумал о том, как бы бог не наказал его за то, что он водит компанию с неверующими и даже идет смотреть на их дуэль. Дуэль будет пустяковая, бескровная, смешная, но как бы то ни было, она — зрелище языческое и присутствовать на ней духовному лицу совсем неприлично. Он остановился и подумал: не вернуться ли? Но сильное, беспокойное любопытство взяло верх над сомнениями, и он пошел дальше.

«Они хотя неверующие, но добрые люди и спасутся», — успокаивал он себя. — Обязательно спасутся! — сказал он вслух, закуривая папиросу.

Какою мерою нужно измерять достоинства людей, чтобы судить о них справедливо? Дьякон вспомнил своего врага, инспектора духовного училища, который и в бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целомудрии, но когда-то кормил дьякона хлебом с песком и однажды едва не оторвал ему уха. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казенную муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фон Корен и Лаевский, только потому, что они неверующие? Дьякон стал решать этот вопрос, но ему вспомнилось, какая смешная фигура была сегодня у Самойленка, и это прервало течение его мыслей. Сколько завтра будет смеху! Дьякон воображал, как он засядет под куст и будет подсматривать, а когда завтра за обедом фон Корен начнет хвастать, то он, дьякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли.

«Откуда вы все знаете?» — спросит зоолог. «То-то вот и есть. Дома сидел, а знаю».

Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесть будет читать и смеяться, тестя же кашей не корми, а только расскажи или напиши ему что-нибудь смешное.

Открылась долина Желтой речки. От дождя речка стала шире и злее, и уж она не ворчала, как прежде, а редела. Начинался рассвет. Серое тусклое утро, и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые деревья — все показалось дьякону некрасивым и сердитым. Он умылся из ручья, прочел утренние молитвы, и захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестя к столу. Вспомнилась ему дьяконица и «Невозвратное», которое она играет на фортепиано. Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней в одну неделю; пожил он с нею меньше месяца, и его команди-

ровали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А все-таки без нее скучновато.

«Надо ей письмишко написать...» — думал он.

Флаг на духане размок от дождя и повис, и сам духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба; Кербалай, каких-то два абхазца и молодая татарка в шароварах, должно быть жена или дочь Кербалая, выносили из духана мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов.

«Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон.

Вот поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от костра. Припомнился пикник со всеми его подробностями, огонь, пение абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном ходе... Черная речка от дождя стала чернее и шире. Дьякон осторожно прошел по жидкому мостику, до которого уже дохватывали грязные волны своими гривами, и взобрался по лесенке в сушильню.

«Славная голова! — думал он, растягиваясь на соломе и вспоминая о фон Корене.— Хорошая голова, дай бог здоровья. Только в нем жестокость есть...»

За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете! Правда, Лаевский шалый, распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену: «Лопаешь, а ра-



ботать не хочешь», — не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной, — неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вместо того чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождения, вымирания, наследственности и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга...

Послышался стук экипажа и прервал мысли дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих: Лаевского, Шешковского и начальника почтово-телеграфной конторы.

— Стоп! — сказал Шешковский.

Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга.

— Их еще нет, — сказал Шешковский, стряхивая с себя грязь. — Что ж? Пока суд да дело, пойдем поищем удобного места. Здесь повернуться негде.

Они пошли дальше вверх по реке и скоро скрылись из виду. Кучер татарин сел в коляску, склонил голову на плечо и заснул. Подождав минут десять, дьякон вышел из сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу меж кустами и полосами кукурузы; с деревьев и с кустов сыпались на него крупные капли, трава и кукуруза были мокры.

— Срамота! — бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. — Знал бы, не пошел.

Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед по небольшой поляне; его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы.

«Странно... — подумал дьякон, не узнавая походки Лаевского. — Будто старик».

— Как это невежливо с их стороны! — сказал почтовый чиновник, глядя на часы. — Может быть,

по-ученому и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство.

Шешковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал:

— Едут!

## ХІХ

— Первый раз в жизни вижу! Как славно! — сказал фон Корен, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку.— Посмотрите: зеленые лучи!

На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, и это в самом деле было красиво. Восходило солнце.

— Здравствуйте! — продолжал зоолог, кивнув головой секундантам Лаевского.— Я не опоздал?

За ним шли его секунданты, два очень молодых офицера одинакового роста, Бойко и Говоровский, в белых кителях, и тощий, нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад; по обыкновению, вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и ни с кем не здороваясь, он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляне.

Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который, быть может, скоро умрет и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни; это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными и стесняли его; все это не имело никакой связи с пережитою ночью, с его мыслями и с чувством вины, и потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли.

Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать.

— Я полагаю, господа, что идти дальше нам незачем,— сказал Шешковский.— И здесь ладно.

— Да, конечно,— согласился фон Корен.

Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо:

— Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по пятнадцати рублей, а в случае смерти одного из противников, оставшийся в живых платит все тридцать.

Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую, чахоточную шею: ростовщик, а не доктор! Дыхание его имело неприятный, говяжий запах.

«Каких только людей не бывает на свете»,— подумал Лаевский и ответил:

— Хорошо.

Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли и теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шешковский подошел к ним и сказал тихо:

— Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их.

Он покраснел и продолжал:

— Вчера у меня был Кирилин и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной и всякая штука.

— Да, нам тоже это известно,— сказал Бойко.

— Ну, вот видите ли... У Лаевского дрожат руки и всякая штука... Он и пистолета теперь не поднимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли... Такая чертовщина, что не глядел бы.

— Вы поговорите с фон Кореном.

— Я правил дуэли не знаю, черт их подери совсем, и знать не желаю; может быть, он подумает, что

Лаевский струсил и меня подослал к нему. А впрочем, как ему угодно, я поговорю.

Шешковский нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу, направился к фон Корену, и, пока он шел и побрякивал, вся его фигура дышала ленью.

— Вот что я должен вам сказать, сударь мой,— начал он, внимательно рассматривая цветы на рубашке зоолога.— Это конфиденциально... Я правил дуэли не знаю, черт их побери совсем, и знать не желаю и рассуждаю не как секундант и всякая штука, а как человек, и всё.

— Да. Ну?

— Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают, смотрят, как на формальность. Самолюбие и все. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, не в своем уме и жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен,— Шешковский покраснел и оглянулся,— но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. Вчера вечером он в доме Мюридова застал свою маму с... одним господином.

— Какая гадость! — пробормотал зоолог; он побледнел, поморщился и громко сплюнул.— Тьфу!

Нижняя губа у него задрожала; он отошел от Шешковского, не желая дальше слушать, и, как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за все утро взглянул на Лаевского. Его возбуждение и неловкость прошли, он встряхнул головой и сказал громко:

— Господа, что же это мы ждем, спрашивается? Почему не начинаем?

Шешковский переглянулся с офицерами и пожал плечами.

— Господа! — сказал он громко, ни к кому не обращаясь.— Господа! Мы предлагаем вам помириться!

— Покончим скорее с формальностями,— сказал фон Корен.— О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? Поскорее бы, господа, а то время не ждет.

— Но мы все-таки настаиваем на примирении,— сказал Шешковский виноватым голосом, как человек, который вынужден вмешиваться в чужие дела; он покраснел, приложил руку к сердцу и продолжал: — Господа, мы не видим причинной связи между оскорблением и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человеческой наносим друг другу, и у дуэли нет ничего общего. Вы люди университетские и образованные и, конечно, сами видите в дуэли одну только устарелую, пустую формальность и всякая штука. Мы так на нее и смотрим, иначе бы не поехали, так как не можем допустить, чтобы в нашем присутствии люди стреляли друг в друга, и все.— Шешковский вытер с лица пот и продолжал: — Покончите же, господа, ваше недоразумение, подайте друг другу руки и поедem домой пить мировую. Честное слово, господа!

Фон Корен молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрят, сказал:

— Я ничего не имею против Николая Васильевича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним.

Фон Корен обиделся.

— Очевидно, господа,— сказал он,— вам угодно, чтобы господин Лаевский вернулся домой великодушным и рыцарем, но я не могу доставить вам и ему этого удовольствия. И не было надобности вставать рано и ехать из города за десять верст для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мне, что дуэль устарелая формальность. Дуэль есть дуэль, и не следует делать ее глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться!

Наступило молчание. Офицер Бойко достал из ящика два пистолета: один подали фон Корену, другой Лаевскому, и затем произошло замешательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантов. Оказалось, что из всех присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни и никто не знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил и, улыбаясь, стал объяснять.

— Господа, кто помнит, как описано у Лермон-

това? — спросил фон Корен смеясь. — У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там...

— К чему тут помнить? — сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь. — Отмерьте расстояние — вот и все.

И он раза три шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать. Бойко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шашку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер.

Противники, при всеобщем молчании, заняли свои места.

«Кроты», — вспомнил дьякон, сидевший в кустах.

Что-то говорил Шешковский, что-то объяснял опять Бойко, но Лаевский не слышал, или, вернее, слышал, но не понимал. Он, когда настало для этого время, взвел курок и поднял тяжелый холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и под мышкой, и рука поднималась с такою неловкостью, как будто рукав был сшит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам и подумал, что даже вчера, в минуту сильной ненависти и гнева, он не смог бы выстрелить в человека. Боясь, чтобы пуля как-нибудь невзначай не попала в фон Корена, он поднимал пистолет все выше и выше и чувствовал, что это слишком показное великодушие неделикатно и невеликодушно, но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбавшееся лицо фон Корена, который, очевидно, с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский думал, что сейчас, слава богу, все кончится и что вот только нужно надавить покрепче собачку...

Сильно отдало в плечо, раздался выстрел, и в горах ответило эхо: пах-тах!

И фон Корен взвел курок и посмотрел в сторону Устимовича, который по-прежнему шагал, заложив руки назад и не обращая ни на что внимания.

— Доктор, — сказал зоолог, — будьте добры, не ходите, как маятник. У меня от вас мелькает в глазах.

Доктор остановился. Фон Корен стал прицеливаться в Лаевского.

«Кончено!» — подумал Лаевский.

Дуло пистолета, направленное прямо в лицо выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корена и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и эта тишина, и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать, — как все это таинственно, и непонятно, и страшно! Время, пока фон Корен прицеливался, показалось Лаевскому длиннее ночи. Он умоляюще взглянул на секундантов; они не шевелились и были бледны.

«Скорей же стреляй!» — думал Лаевский и чувствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Корене еще большую ненависть.

«Я его сейчас убью, — думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. — Да, конечно, убью...»

— Он убьет его! — послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко.

Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими ко лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шешковский засмеялся от радости, заплакал и отошел в сторону...

## XX

Немного погодя фон Корен и дьякон сошлись около мостика. Дьякон был взволнован, тяжело дышал и избегал смотреть в глаза. Ему было стыдно и за свой страх, и за свою грязную, мокрую одежду.

— Мне показалось, что вы хотели его убить... — бормотал он. — Как это противно природе человеческой! До какой степени это противоестественно!

— Как вы сюда попали, однако? — спросил зоолог.

— Не спрашивайте! — махнул рукой дьякон. — Нечистый попутал: иди да иди... Вот и пошел, и чуть

в кукурузе не помер от страха. Но теперь, слава богу, слава богу... Я весьма вами доволен,— бормотал дьякон.— И наш дедка-тарантул будет доволен... Смеху-то, смеху! А только я прошу вас убедительно, никому не говорите, что я был тут, а то мне, пожалуй, влетит в загривок от начальства. Скажут: дьякон секундантом был.

— Господа! — сказал фон Корен.— Дьякон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Могут выйти неприятности.

— Как это противно природе человеческой! — вздохнул дьякон.— Извините меня великодушно, но у вас такое было лицо, что я думал, что вы непременно его убьете.

— У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца,— сказал фон Корен,— но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня, дьякон. Я ужасно ослабел. Поедемте...

— Нет, уж дозвоьте мне пешком идти. Мне продохнуть надо, а то я измок и прозяб.

— Ну, как знаете,— сказал томным голосом ослабевший зоолог, садясь в коляску и закрывая глаза.— Как знаете...

Пока ходили около экипажей и усаживались, Кербалай стоял у дороги и, взявшись обеими руками за живот, низко кланялся и показывал зубы; он думал, что господа приехали наслаждаться природой и пить чай, и не понимал, почему это они садятся в экипажи. При общем безмолвии поезд тронулся, и около духана остался один только дьякон.

— Ходил духан, пил чай,— сказал он Кербалаю.— Мой хочет кушать.

Кербалай хорошо говорил по-русски, но дьякон думал, что татарин скорее поймет его, если он будет говорить с ним на ломаном русском языке.

— Яичницу жарил, сыр давал...

— Иди, иди, поп,— сказал Кербалай, кланяясь.— Все дам... И сыр есть и вино есть... Кушай, чего хочешь.



— Как по-татарски — бог? — спрашивал дьякон, входя в духан.

— Твой бог и мой бог все равно,— сказал Кербалай, не поняв его.— Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английски — всяких людей много, а бог один.

— Хорошо-с. Если все народы поклоняются единому богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан, как на вековечных врагов своих?

— Зачем сердиться? — сказал Кербалай, хватаясь обеими руками за живот.— Ты поп, я мусульман, ты говоришь — кушать хочу, я даю... Только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой, а для бедного все равно. Кушай, пожалуста.

Пока в духане происходил богословский разговор, Лаевский ехал домой и вспоминал, как жутко ему было ехать на рассвете, когда дорога, скалы и горы были мокры и темны и неизвестное будущее представлялось страшным, как пропасть, у которой не видно дна, а теперь дождевые капли, висевшие на траве и на камнях, сверкали от солнца, как алмазы, природа радостно улыбалась и страшное будущее оставалось позади. Он посматривал на угрюмое, заплаканное лицо Шешковского и вперед на две коляски, в которых сидели фон Корен, его секунданты и доктор, и ему казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить.

«Все кончено»,— думал он о своем прошлом, осторожно поглаживая пальцами шею.

У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиной с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузила пуля.

Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытье, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нем живую, детскую радость, какой он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно

похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и странной походки; она торопилась рассказать ему все, что с нею было... Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что если он все узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей лицо и волосы, смотрел ей в глаза и говорил:

— У меня нет никого, кроме тебя...

Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие, отрывистые фразы, и ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво.

## XXI

Прошло три месяца с лишним.

Наступил день, назначенный фон Кореном для отъезда. С раннего утра шел крупный, холодный дождь, дул норд-остовый ветер и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был прийти в десятом часу утра, но фон Корен, выходявший на набережную в полдень и после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт.

К концу дня дождь перестал и ветер начал заметно стихать. Фон Корен уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самойленком в шахматы; но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету.

Фон Корен заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с дьяконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шел он рядом с Самойленком, за ними дьякон с ящиком, а позади всех денщик с двумя чемоданами. Только Самойленко и денщик различали тусклые огоньки на море, остальные же

смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега.

— Скорее, скорее,— торопился фон Корен.— Я боюсь, что он уйдет!

Проходя мимо трехконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиною к окну, и писал.

— Я удивляюсь,— тихо сказал зоолог.— Как он скрутил себя!

— Да, удивления достойно,— вздохнул Самойленко.— Так с утра до вечера сидит, все сидит и работает. Долги хочет выплатить. А живет, брат, хуже ничего!

Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и все смотрели на Лаевского.

— Так и не уехал отсюда, бедняга,— сказал Самойленко.— А помнишь, как он хлопотал?

— Да, сильно он скрутил себя,— повторил фон Корен.— Его свадьба, эта целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на его лице и даже его походка — все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это,— зоолог взял Самойленко за рукав и продолжал с волнением в голосе: — Ты передай ему и его жене, что, когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего... и попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом.

— Ты зайди к нему, простишь.

— Нет. Это неудобно.

— Отчего? Бог знает, может, больше уж никогда не увидишься с ним.

Зоолог подумал и сказал:

— Это правда.

Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся.

— Ваня, Николай Васильич желает с тобой проститься,— сказал Самойленко.— Он сейчас уезжает.

Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и дьякон вошли в дом.

— Я на одну минутку,— начал зоолог, снимая в сенях калоши и уже жалея, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения. «Я как будто навязываюсь,— подумал он,— а это глупо».— Простите, что я беспокою вас,— сказал он, входя за Лаевским в его комнату,— но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще.

— Очень рад... Покорнейше прошу,— сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки.

«Напрасно я не оставил свидетелей на улице»,— подумал фон Корен и сказал твердо:

— Не поминайте меня лихом, Иван Андреич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, оно слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор... Правда, как вижу теперь, к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды.

— Да, никто не знает правды...—сказал Лаевский.

— Ну, прощайте... Дай бог вам всего хорошего.

Фон Корен подал Лаевскому руку; тот пожал ее и поклонился.

— Не поминайте же лихом,— сказал фон Корен.— Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней.

— Она дома.

Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату:

— Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься.

Вошла Надежда Федоровна; она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее

было виноватое и испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор.

— Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, — сказал фон Корен, — и пришел проститься.

Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился.

«Как они, однако, оба жалки! — подумал фон Корен. — Недешево достается им эта жизнь».

— Я буду в Москве и в Петербурге, — спросил он, — не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?

— Что же? — сказала Надежда Федоровна и встревоженно переглянулась с мужем. — Кажется, ничего...

— Да, ничего... — сказал Лаевский, потирая руки. — Кланяйтесь.

Фон Корен не знал, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством.

— Какие люди! — говорил дьякон вполголоса, идя сзади. — Боже мой, какие люди! Воистину десница божия насадила виноград сей! Господи, господи! Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай Васильич, — сказал он восторженно, — знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!

— Полно, дьякон! Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне... мне грустно.

Сзади слышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько поодаль — четыре гребца.

— Однако подует... бррр! — сказал Самойленко. — В море, должно быть, теперь штормяга — ой, ой! Не в пору ты едешь, Коля.

— Я не боюсь морской болезни.

— Не в том... Не опрокинули бы тебя эти дураки. Следовало бы на агентской шлюпке доехать. Где агентская шлюпка? — крикнул он гребцам.

— Ушла, ваше превосходительство.

— А таможенная?

— Тоже ушла.

— Отчего же не доложили? — рассердился Самойленко.— Остолопы!

— Все равно, не волнуйся...— сказал фон Корен.— Ну, прощай. Храни вас бог.

Самойленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза.

— Не забывай же, Коля... Пиши... Будущей весной ждать будем.

— Прощайте, дьякон,— сказал фон Корен, пожимая дьякону руку.— Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте.

— Да, господа, хоть на край света! — засмеялся дьякон.— Разве я против?

Фон Корен узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя мол загоразживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля.

— Пиши! — крикнул ему Самойленко.— Здоровье береги!

«Никто не знает настоящей правды»,— думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм, так что можно было различить и людей и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назад сажени на две.

— Пиши! — крикнул Самойленко.— Понесла тебя нелегкая в такую погоду!

«Да, никто не знает настоящей правды...» — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море.

«Лодку бросает назад,— думал он,— делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не вид-

но, а пройдет с полчасика, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...»

— Проща-а-ай! — крикнул Самойленко.

— Не видать и не слышать, — сказал дьякон. — Счастливей дороги!

Стал накрапывать дождь.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**





## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1888, № 4253, 1 января, под заглавием «Сказка». С новым заглавием и стилистическими исправлениями рассказ вошел в литературно-художественный сборник «Помощь пострадавшим от неурожая», издание газеты «Курьер», М. 1899, и перепечатан во 2-ом издании этого сборника, М. 1900. Включен без изменений автором в том IV собрания сочинений.

При переработке рассказа для сборника Чехов стремился к лаконичности, делал фразу более четкой, сжатой. Например, в газетном тексте было: «Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивала зелень пальм и смоковниц, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц, набивали оскомину плоды, но таланты старика настоятеля, подобно хлебу, нужны были каждый день, и не было минуты, когда бы кто из слушателей подумал про себя «довольно!» В сборнике стало: «Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц, но таланты старика настоятеля, подобно хлебу, нужны были каждый день» (стр. 6). Было: «...горько заплакал и не вымолвил ни одного слова. Монахи не могли не заметить, что он сильно состарился и похудел...» — стало: «...горько заплакал и не сказал ни одного слова. Монахи заметили: он сильно состарился и похудел...» (стр. 7).

Об успехе рассказа у читателей Чехова известил Я. П. Лонский: «К Новому году Вы подарили нас двумя рассказами: «Каштанка» и «Восточная сказка», и мне приятно сообщить

Вам, что оба рассказа Ваши всем здесь понравились У обоих рассказов конец не только неожиданный, но и *знаменательный*, а это главное. Колорит языка вполне соответствует месту, времени и Вашим действующим лицам» (8 января 1888 г.— «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 223).

Ал. П. Чехов написал брату, что познакомился с Н. С. Лесковым, «каковой тебе кланяется и считает тебя гением. Твоя сказка в 1-м № произвела подавляющий эффект» (8 января 1888 г.— «Письма А. П. Чехову его брата, Александра Чехова», М. 1939, стр. 191).

Рассказы «Без заглавия», «Пари» и «Воры» послужили поводом к запрещению в 1905 г. Ученым комитетом Министерства народного просвещения четвертого тома собрания сочинений Чехова для народных библиотек и читален (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде — ЦГИАЛ).

#### СПАТЬ ХОЧЕТСЯ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1888, № 24, 25 января, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте. Рассказ включен в сборник Чехова «Хмурые люди», Спб. 1890, посвященный П. И. Чайковскому, и перепечатан в последующих, 2—10, его изданиях (1890—1899). С небольшими изменениями включен автором в том V собрания сочинений.

Включая рассказ в сборник, Чехов незначительно сократил его и закончил новой фразой (со слов «Задушив его...», стр. 15).

Рассказ был написан в период работы над повестью «Степь». Чехов писал А. Н. Плещееву, предложившему ему сотрудничать в «Северном вестнике»: «Ввиду предстоящего первого числа с его платежами я смалодушествовал и сел за срочную работу. Но это не беда. На рассказ потребовалось не больше полудня, теперь же я могу продолжать свою «Степь» (23 января 1888 г.).

Рассказ получил высокую оценку Л. Н. Толстого. Об этом свидетельствует запись в дневнике А. Б. Гольденвейзера от 5 июля 1900 г. (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, Гослитиздат, М. 1959, стр. 68). И. Л. Толстой сообщил Чехову, что рассказ «Спать хочется» назван Л. Н. Толстым в числе лучших рассказов писателя (см. прим. к рассказу «Маска» в томе 2 наст. изд., стр. 577).

## СТЕПЬ

*История одной поездки*

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1888, № 3, март. С незначительными исправлениями повесть вошла в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и перепечатана в последующих, 2—13, его изданиях (1889—1899). В переработанном виде включена автором в том IV собрания сочинений.

Во 2—5 главах собрания сочинений значительно сокращено изображение переживаний и сна Егорушки, не вносящих новых мотивов в повествование.

Приводим одно из снятых в последней редакции мест. В четвертой главе после слов «...и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!» (стр. 52) в сборнике следовало: «Под влиянием ночи Егорушка загрустил. Он думал о том, что в такую погоду хорошо ехать не учиться, а домой — ужинать и спать. И он воображал, как он едет домой, но уж не в тряской бричке, а в графининой коляске, которую он недавно видел. В коляске мягко, уютно, просторно, а главное, есть где облокотиться и положить голову; он сидит рядом с графиней и дремлет, потом кладет на ее колени руки и голову, — так хорошо и удобно... Мало-помалу он засыпает, а рессорная коляска мягко шуршит по пыльной дороге, покачивается и мчится с невероятной быстротой. Прежде чем совсем уснуть, Егорушка поднимает голову и, взглянув на лунную ночь, послушав трескотню, улыбается и опять кладет свою голову на колени ласковой, красивой дамы. А какая чудная езда! Постоялый двор Мойсея Мойсеича, мельница и бугор с ручьем давно уже остались позади. Вот знакомый тополь на холме; едва промелькнул он, как уж видны кирпичные заводы с облаками черного дыма, кладбище, где спит бабушка, кузницы, острог, а вот, наконец, и дом...

Тпррр!

Из дома выбегает мамаша и кухарка Людмила. Обрадованная мамаша здоровается и спрашивает шепотом: «Кто же эта дама?» Егорушка отвечает, что это та самая графиня, у которой в гостиной стоят часы с золотым всадником. В благодарность за свое возвращение домой он бросается графине на шею и целует ее в глаза, в лоб, в виски... «А он не шалил дорогой?» — спрашивает мамаша. «Нет, — отвечает графиня, — он всю дорогу спал». Поговоривши немного, графиня Драницкая прощается и хочет уехать, но мамаша мешает ей сесть в коляску и просит:

«Будьте добры, оставайтесь у нас ночевать!» Графиня соглашается, и Людмила бежит постлать для нее постель в гостиной на диване. А Егорушка идет к себе в детскую, бросается, не раздеваясь, в постель и спит, спит, спит и только чувствует, как что-то острое режет его правое бедро — это еврейский пряник, который лежит в кармане. Егорушка жадно спит и улыбается от удовольствия, но вдруг над самым его ухом раздаются громкие, резкие голоса.

В повести отразились детские и юношеские воспоминания Чехова о поездках в степь к дедушке, а также впечатления от посещения родных мест весной 1887 г. Об этой поездке Чехов писал А. С. Суворину 10 февраля 1887 г.: «Чтобы не высохнуть, в конце марта уеду на юг, в Донскую область, в Воронежскую губернию и проч., где встречу весну и возобновлю в памяти то, что уже начало тускнеть. Тогда, думаю, работа пойдет живее».

Работая над повестью, Чехов испытывал большой творческий подъем. Начатая в конце 1887 г. («Пишу степной рассказ», — сообщил Чехов И. Л. Леонтьеву-Щеглову 1 января 1888 г.), она была отослана в «Северный вестник» уже 3 февраля 1888 г.

Дебюту в «толстом» журнале Чехов придавал большое значение: «Мысль, что я пишу для толстого журнала и что на мой пустяк взглянут серьезнее, чем следует, толкает меня под локоть, как черт монаха» (в том же письме И. Л. Леонтьеву-Щеглову).

Д. В. Григорович и В. Г. Короленко настойчиво советовали Чехову серьезнее отнестись к своему большому таланту и бросить работу наспех. Эти советы произвели большое впечатление на молодого писателя. Посылая Короленко копию письма Григоровича от 30 декабря 1887 г., Чехов писал: «Из письма Вам станет также известно, что не Вы один от чистого сердца наставляли меня на путь истинный, и поймете, как мне стыдно» (9 января 1888 г.).

Работа над большим произведением давалась нелегко. «Вы прочтете и увидите, — писал Чехов А. Н. Плещееву 19 января 1888 г., — какую уйму трудностей пришлось пережить моему неопытному мозгу». Чехов жаловался Короленко и Григоровичу на то, что писание мелочей внушило ему чувство «привычного страха не написать лишнее» и что поэтому он пишет слишком «компактно» (письма 9 и 12 января 1888 г.). Он опасался также сбиться с «тона», в котором начал свою повесть (А. Н. Плещееву, 19 января 1888 г.).

Но в то же время работа над «Степью» приносила Чехову большое удовлетворение. В своих письмах он сообщал: «Пи-

шется весело» (В. Г. Короленко, 9 января 1888 г.), «Пока писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью» (А. Н. Плещееву, 3 февраля 1888 г.).

Чехов сознавал, что тема его «Степи» свежа, а художественная манера оригинальна. 12 января 1888 г. он писал Григоровичу: «Для дебюта в толстом журнале я взял степь, которую давно уже не описывали. Я изображаю равнину, лиловую даль, овцеводов, жидов, попов, ночные грозы, постоянные дворы, обозы, степных птиц и проч. Каждая отдельная глава составляет особый рассказ, и все главы связаны, как пять фигур в кадрили, близким родством. Я стараюсь, чтобы у них был общий запах и общий тон, что мне может удаться тем легче, что через все главы у меня проходит одно лицо. Я чувствую, что многое и поборол, что есть места, которые пахнут сеном, но в общем выходит у меня нечто странное и не в меру оригинальное... В общем получается не картина, а сухой, подробный перечень впечатлений, что-то вроде конспекта; вместо художественного, цельного изображения степи я преподношу читателю «степную энциклопедию». Первый блин комом. Но я не робею. И энциклопедия авось сгодится. Быть может, она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще не тронутыми и как еще не тесно русскому художнику. Если моя повестушка напомнит моим коллегам о степи, которую забыли, если хоть один из слегка и сухо намеченных мною мотивов даст какому-нибудь поэтику случай призадуматься, то и на этом спасибо». Мысль о своеобразии повести Чехов высказал и М. В. Киселевой в письме от 3 февраля 1888 г.: «Давно уж в толстых журналах не было таких повестей; выступаю я оригинально, но за оригинальность мне достанется так же, как за «Иванова». Разговоров будет много»

По окончании «Степи» Чехов писал своим корреспондентам: «Удалась она (повесть.— К. М.) или нет, не знаю, но, во всяком случае, она мой шедевр, лучше сделать не умею» (А. С. Лазареву-Грузинскому, 4 февраля 1888 г.); «Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится. В нашей литературе он степной царь. Я залез в его владения с добрыми намерениями, но наерундил немало. Три четверти повести не удалась мне» (Д. В. Григоровичу, 5 февраля 1888 г.).

Собираясь продолжить работу над повестью, Чехов стремился к тому, «чтобы она давала впечатление незаконченного труда» (там же). В этом же письме Григоровичу он опреде-

лил дальнейшую судьбу Егорушки, который, «попав в будущем в Питер или в Москву, кончит непременно плохим», а А. Н. Плещееву писатель сообщал и о судьбе других героев повести: «Глупенький о. Христофор уже помер. Гр. Драницкая (Браницкая) живет прескверно. Варламов продолжает кружиться. Вы пишете, что Вам понравился Дымов, как материал... Такие натуры, как озорник Дымов, создаются жизнью не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого житья, а прямехонько для революции... Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сопьется или попадет в острог. Это лишний человек» (9 февраля 1888 г.). Замысел продолжить «Степь» не был осуществлен.

Повесть Чехова получила восторженную оценку многих современников. А. Н. Плещеев писал о полученной им рукописи: «Прочитал я ее с жадностью. Не мог оторваться, начавши читать. Короленко тоже... Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать Вам не могу и никаких замечаний не могу сделать — кроме того, что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность. Что за бесподобные описания природы, что за рельефные симпатичные фигуры... Пускай в ней нет того внешнего содержания — в смысле фабулы, — которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неисчерпаемый родник. Поэты, художники с поэтическим чутьем должны просто с ума сойти. И сколько разбросано тончайших психологических штрихов» (8 февраля 1888 г.— «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 238).

Об отзыве М. Е. Салтыкова-Щедрина известил Чехова сын А. Н. Плещеева, А. А. Плещеев (8 апреля 1888 г.): «Был отец у Салтыкова, который в восторге от «Степи». «Это прекрасно»,— говорит он отцу и вообще возлагает на Вас великие надежды. Отец говорит, что он редко кого хвалит из новых писателей, но от Вас в восторге» (Центральный государственный архив литературы и искусства — ЦГАЛИ).

Н. К. Михайловский, прочитав «Степь», счел необходимым написать Чехову: «Читая «Степь», я все время думал, какой грех Вы совершили, разрываясь на клочки, и какой это будет уж совсем страшный, незамолимый грех, если Вы и теперь будете себя рвать. Читая, я точно видел силача, который идет по дороге, сам не зная куда и зачем, так, кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая об ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет, все с одинаковою легкостью и даже

разницы между этими действиями не чувствует. Много Вам от бога дано, Антон Павлович, много и спросится.. Вы не должны, не смеете быть дилетантом в литературе. Вы в нее должны душу положить» (15 февраля 1888 г.— «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 216).

В то же время вокруг «Степи» разгорелись ожесточенные споры. Подобный спор, возникший на квартире одного художника при чтении В. М. Гаршиным только что опубликованной повести, вспоминает И. Е. Репин: «Чехов был еще совсем неизвестное, новое явление. Большинство слушателей, и я в том числе, нападали на Чехова и его новую манеру писать. Нечто бессюжетное, бессодержательное... Тогда еще тургеневскими канонами жили литераторы. «Что это: ни цельности, ни идеи во всем этом!» — говорили мы. Со слезами в своем симпатичном голосе отстаивал Вс. Мих. (Гаршин.— К. М.) красоты Чехова, говорил, что таких перлов языка, жизни, непосредственности еще не было в русской литературе. Как он восхищен был техникой, красою и особенно поэзией этого восходящего, тогда нового светила русской литературы!!» (И. Е. Репин, Письма к писателям и литературным деятелям, 1880—1929, «Искусство», М. 1950, стр. 168).

Многие столичные газеты откликнулись на «Степь». Не отрицая талантливости автора (она была отмечена во всех статьях), критики тем не менее сурово отнеслись к повести. От больших произведений они требовали подчеркнутого раскрытия основной идеи и ясного выявления, «в каком из действующих лиц она наиболее пластически выражается» (Е. Гаршин — «Биржевые ведомости», 1888, № 70, 11 марта). Повесть Чехова не отвечала, на их взгляд, этим требованиям. Критики порицали автора за «неумелую» композицию и за отступление от принятых литературных канонов.

Газеты утверждали, что Чехов не соразмерил своих сил с задачами большой повествовательной формы: он создал не повесть, а ряд отдельных очерков и сенок, лишь внешне скрепленных образом Егорушки.

Стремление Чехова к лаконичному, но в то же время многогранному раскрытию жизненных явлений критикой не было понято. Она считала, что в повести нет «действия» и слишком бегло обрисованы фигуры. «Одно из главнейших действующих лиц, дающих направление и движение действию, богатый купец Варламов, только и является, чтобы проехать мимо читателя на лошадке — и больше ничего», — писал Арнстархов (псевдоним



А. Введенского) («Русские ведомости», 1888, № 89, 31 марта). Единство тона, о котором так заботился Чехов, работая над повестью, ускользнуло от внимания критики так же, как и основной лейтмотив «Степи» — тема родины. Повесть Чехова — «вещь скорее этнографическая, нежели беллетристическая, и носит чисто описательный характер», — утверждал Н. Ладожский (псевдоним В. Петерсона) («С.-Петербургские ведомости», 1888, № 70, 11 марта). Упрекнув современных писателей в пренебрежении традициями русского романа, критик «Недели» Р. Дистерло, подобно другим, не увидел в «Степи» ничего, кроме «эпического пафоса» в изображении природы, «пейзажного творчества» («Неделя», 1888, № 13, 27 марта).

Отдавая должное поэтичности нового произведения и высокому мастерству изображения степи, критики различных лагерей отказывались признать повесть новаторским явлением в литературе. Это — «новый шаг по старой дороге», избранной Чеховым, мастером миниатюры, — писал К. Арсеньев («Вестник Европы», 1888, № 7, стр. 259). Близки к этой оценке и другие критики. Своеобразие Чехова-художника они восприняли как непреодоленное еще увлечение писателя малой формой.

Во многих отзывах, посвященных «Степи», прозвучал снисходительно-одобрительный тон. Так, например, Н. Ладожский писал, что со временем из Чехова «кое-что выработается». Особенно возмутил Чехова отзыв Аристархова, критика «Русских ведомостей», который всячески стремился подчеркнуть, что «Степь» написана начинающим автором. В письме к Плещееву от 31 марта Чехов дал следующую оценку критике своей повести: «Какое лакейство перед именами и какое отечески-снисходительное бормотанье, когда дело касается начинающих! Все эти критики и подхалимы и трусы: они боятся и хвалить и бранить, а кружатся в какой-то жалкой, серой середине. А главное, не верят себе... Моя «Степь» утомила его (Аристархова.— К. М.), но разве он сознается в этом, если другие кричат: «талант! талант!»?»

При последующих переработках «Степи» Чехов не принял во внимание замечания, сделанные критиками по поводу отдельных мест в повести.

В дальнейшем «Степь» вызывала многочисленные восторженные отклики. М. Горький, говоря о прославленных авторах, «которые рисуют словами», ссылаясь на эту повесть. Приведя отрывок из «Степи», Горький писал: «Это сделано А. П. Чеховым в его рассказе «Степь», и по этой картине можно учиться писать: все —

ясно, все слова — просты, каждое — на своем месте» (Собрание сочинений в тридцати томах, т. 26, Гослитиздат, М. 1953, стр. 406). По словам Горького, «А. П. Чехов «Степь» свою точно цветным бисером вышил» (там же, т. 24, стр. 265).

Высокая оценка писательского труда Чехова была дана М. И. Калининным в беседе с М. А. Шолоховым: «Хорошая книга, по-моему, та, у которой под обложкой жизнь пульсирует, как кровь под кожей, которая запоминается если не навсегда, то надолго, которую еще раз захочется перечитать... Чеховскую «Степь» вы помните?» («Октябрь», 1946, № 6, стр. 9).

Стр. 107. *Саул* — первый царь Израильско-Иудейского царства (XI в до н. э.).

#### НЕПРИЯТНОСТЬ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1888, № 4404, 4408, 3 и 7 июня, под заглавием «Житейская мелочь». С новым заглавием и стилистическими исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Хмурые люди», Спб. 1890, и перепечатан в последующих, 2—10, его изданиях (1890—1899). После новой стилистической правки включен автором в том V собрания сочинений.

При переработке рассказа для сборника Чехов значительно сократил его, в частности устранил некоторые рассуждения Овчинникова, детали его характеристики. Например, после слов «...поднесут ему сочувственный адрес...» (стр. 119) — в газетном тексте было: «И пока он мечтал таким образом, ему было жаль себя до слез». После слов: «Дуэлей вы не признаете...» (стр. 124) было: «Говорил доктор, задыхаясь, дрожа и не своим, а каким-то визгливым голосом и громче, чем следует, и думал: «Не то я ему говорю!» После слов: «Это она к тетушке. Пусть!» (стр. 125) — ранее следовало: «Вчерашний день и бессонная ночь так утомили его нервы, что он даже не заметил, как фельдшер, встретясь с ним, не снял шапки.

— Что будет, то будет...— думал оч.— Ну их всех к черту! Брошу все, наплюю и уйду...

Куда уйти? Когда люди, привыкшие быть довольными, вдруг становятся недовольны собой и окружающими и не знают, как избавиться от этого тяжелого недовольства, когда они сами и весь мир кажутся им виноватыми, то первое, в чем находят они успокоение, это — детские, несбыточные мечты. Доктор думал о том, что хорошо бы теперь уехать куда-нибудь очень, очень далеко, хотя бы, например, на кавказский берег Черного моря,

купить там полоску земли и обрабатывать ее своими руками; он не будет видеть людей, люди — его... Хорошо также упрятать себя на всю жизнь в келью какого-нибудь монастыря; так как он университетский и, стало быть, для монастыря не совсем обыкновенный человек, то ему охотно дадут разные льготы: не будут посылать его к утрени, к обедне и на работы, позволят есть скромное и проч.; день и ночь будет он сидеть в башенке с одним окошком, прислушиваться к печальному звону и писать историю медицины в России...»

Рассказ Чехова вызвал одобрителную оценку писателя А. И. Эртеля в письме к В. Г. Короленко (26 января 1891 г.): «Помнится мне, что прошлой весною я Вам резко отозвался об А. Чехове. Нынешним летом я имел случай познакомиться с книжкою его последних рассказов, и, что вам скажу, большой это талант. Мало того, в нем есть и серьезное содержание, хотя оно не всегда уловляется казенною меркою «направления». Так, во многих рассказах последнего томика с такою силою указана трагическая власть «мелочей» — в «Почтальоне», в докторе, давшем пощечину фельдшеру, — что, право, стоит всякого «направления».

Стр. 119. «Врач» — еженедельная медицинская газета, выходила в Петербурге в 1880—1918 гг.

## ОГНИ

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1888, № 6, июнь.

В повести нашли отражение таганрогские впечатления писателя.

Во время работы над повестью Чехов писал, что она не дается ему, приходится много сокращать и шлифовать. «Я перекладывал *весь* корпус повести, — писал он А. Н. Плещееву, — оставив в целости только один фундамент. Мне не правилась *вся* повесть, а не в деталях... Достоинство повести: краткость и кое-что новенькое...» (17 апреля 1888 г.) Чехов не был удовлетворен повестью и после окончания работы над ней.

Печать встретила повесть неодобрительно. Так, В. Буренин писал в «Новом времени» (1888, № 4487, 26 августа), что «Огни» являются новой неудачной попыткой Чехова преодолеть рамки маленького рассказа. Упрекая автора в нарочитой искусственности и морализировании, критики утверждали, что рассказ инженера в «Огнях» слишком мелок для доказательства вреда

пессимизма. «История инженера,— писал Аристархов,— ровно никакого действительного отношения к пессимизму не имеет... Ананьев в обрисовке автора мало характерен, его дама — еще менее, сама история — верх бесцеремонной непринужденности» («Русские ведомости», 1888, № 179, 1 июля). Р. Дистерло назвал вторую часть повести «притчей о раскаявшемся пессимисте» («Неделя», 1888, № 37, 11 сентября). Одни критики утверждали, что содержание повести незначительно; другие говорили, что оно серьезно, но Чехов не справился с темой, что ему не следовало «говорить о том, чего он не понимает» (Н. Ладожский — «С.-Петербургские ведомости», 1888, № 193, 15 июля).

Писатели, корреспонденты Чехова, дали «Огням» противоречивые оценки. А. Н. Плещесв назвал повесть «прекрасной вещью» (10 мая 1888 г.); И. Л. Леонтьев-Щеглов, считая, что Чехов недостаточно разработал идею, положенную в основу повести, отрицал право автора утверждать: «Ничего не разберешь на этом свете!» (Письмо от 29 мая 1888 г.) А. С. Суворин, очевидно, тоже сделал Чехову несколько отрицательных замечаний по поводу повести. Взволнованный этими отзывами, Чехов в письме Суворину от 30 мая 1888 г. раскрывает свое понимание задачи художника: «Вы пишете, что ни разговор о пессимизме, ни повесть Кисочки нимало не подвигают и не решают вопроса о пессимизме. Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как бог, пессимизм и т. п. Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о боге или пессимизме. Художник должен быть не судьей своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т. е. читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от не важных, уметь освещать фигуры и говорить их языком. Щеглов-Леонтьев ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой: «Ничего не разберешь на этом свете!» По его мнению, художник-психолог *должен* разобрать, на то он психолог. Но я с ним не согласен. Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает; и чем она глупее, тем, кажется, шире ее кругозор. Если же художник, кото-

рому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед».

Утверждение, что писатель должен быть беспристрастным свидетелем, а не судьей, во многом определялось стремлением Чехова отмежеваться от тех литераторов, в том числе и либеральных народников, которые подчиняли изображение жизненных явлений своим общественным взглядам. Однако художественная практика Чехова не подтверждала его полемического выступления в защиту объективизма. Читателю «Огней» было ясно, что писатель осуждал широко пропагандируемую в те годы философию пессимизма.

Стр. 136. *...о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подрасть с Саулом или Давидом.*— Давид — второй царь Израильско-Иудейского царства (XI в. до н. э.). Саул (см. прим. к стр. 107) и Давид вели длительные войны с филистимлянами, которые в XII—XI вв. до н. э. владели Палестиной. Амалекитяне — древнее арабское племя, обитавшее на юго-западе Палестины и враждовавшее с израильтянами.

Стр. 138. *...«спускаться в долину преклонных лет»...*— слова из трагедии В. Шекспира «Отелло» (действие третье, сцена третья).

#### КРАСАВИЦЫ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1888, № 4513, 21 сентября. В переработанном виде рассказ вошел в сборник «Между прочим», издание журнала «Артист», М. 1894 (2-е изд. М. 1894). С стилистическими исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

Перерабатывая рассказ для сборника, Чехов стилистически исправил и сократил его. Был, например, снят текст, который автор, видимо, счел несколько противоречащим образу старого армянина. После слов: «...молчал и задумчиво поглядывал на Машу» (стр. 177) — в газетном варианте рассказа было: «Это наше молчание не казалось неловким, потому что молчал и сам хозяин. Он знал, что его дочь прекрасна. В ответ на наше молчание он как-то неловко кричал, и лицо его выражало: «Она очень красива и необыкновенна, но будем делать вид, что не замечаем этого». Чехов снял также некоторые подробности. Например, после слов «...и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль» (стр. 181) опущено: «Все пассажиры смотрели

на красавицу молча, и только, помнится, сзади меня какая-то дама сказала кому-то: «Ничего я, Саша, не вижу в ней особенного: миловиденькая — вот и все». А мужской голос ей ответил: «Значит, ты ничего не понимаешь».

В первой главе отображены впечатления Чехова-гимназиста. Г. М. Чехов, двоюродный брат А. П. Чехова, писал, прочитав рассказ: «Спасибо за рассказ «Красавицы», который напомнил мне моего и твоего дедушку, Карпа-кучера, который тоже приезжал к нам с дедушкой. Помню, бывало, я с Карпом проводил по целым дням в конюшне около лошадей и с ним носил обед отцу в лавку. В образе армянина, к которому ты ездил с дедушкой, я сразу представил себе Назара Минаича Назарова, с настойчивым и безрассудительным характером, представил себе, как он, бывало, хаживал по вечерам к отцу в лавку» (11 октября 1888 г.).

#### ИМЕНИНЫ

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1888, № 11, ноябрь. В переработанном виде рассказ отдельным изданием вышел в «Посреднике», М. 1893, а затем дважды переиздан в 1894 и 1899 гг. После новой переработки включен автором в том IV собрания сочинений.

Приводим наиболее существенные изъятия текста, сделанные Чеховым для издания «Посредника».

В первой главе опущены некоторые размышления Ольги Михайловны о своем муже и характеристика ее отношения к нему, которые позволили критикам говорить о сильном воздействии на Чехова художественной манеры Л. Н. Толстого. Например, после слов «...как будто был очень доволен и собой, и обедом, и пищеварением, и природой...» (стр. 190—191) ранее следовало: «Когда — бывают такие минуты — ненавидишь сытого, тяжелого и упрямого человека, то самую некрасивую часть его тела почему-то представляется затылок. Ольга Михайловна ненавидела теперь в муже именно его затылок, барский, красиво подстриженный, лоснящийся, и ей казалось, что раньше она не замечала у мужа этого затылка».

После слов «...откуда все эти «что-с», «и-да-с» и «батенька?»» (стр. 191) в журнальной редакции следовал текст, снятый Чеховым в два приема — в редакции 1893 г. и при переработке для собрания сочинений: «Откуда величественная поза и чрезмерный апломб? Да, ему можно теперь так шагать и крив-

латься, когда он взял за мной, кроме земли, триста тысяч! — подумала Ольга Михайловна. — Если б не я, воображаю, как бы он шагал со своей заложенной Кошевкой!»

Но тотчас же она испугалась своей нечистой мысли о деньгах, невзначай и непрошено, бог весть откуда, промелькнувшей в ее мозгу. «У меня бабья логика!» — подумала она и прогнала эту мысль.

«Напускная поза, напускной тон, каждый шаг и каждое слово,— все это в пределах роли. Шагает так, а не иначе, потому что знает, что на него смотрят, что это ему к лицу. Тщеславие, мелочность и ложь, ложь, ложь без конца. Но, боже мой, перед кем лгать, перед кем играть роль, перед кем ломаться? Перед людьми, половина которых не умна и ничтожна, а половина несчастна...» А ведь было время, не дальше как год тому назад, когда солидная походка, напускная поза и начальническая вибрация в голосе нравились и принимались за чистую монету. Когда Петр Дмитрич влюбился в Ольгу Михайловну и ухаживал за нею, то от него веяло на нее чем-то новым, молодым и бодрым. Бывая у нее в Москве на квартире и встречаясь там только со студентами и курсистками, он держал себя точно так же, как сегодня за обедом. Не стесняясь ничьим присутствием, он высказывал самые консервативные идеи: отрицал суд присяжных, земство, городское положение, бранил адвокатуру, шутил над женским вопросом... В кружке Ольги Михайловны, где, казалось, даже воздух сперся и застыл оттого, что все мыслили на один образец, говорили изо дня в день одно и то же, молились все одним и тем же богам, такая смелость не могла не иметь успеха. Когда Петр Дмитрич, молодой, умный, окончивший в университете, отрицал, например, присяжных или трунил над курсистками, или, швыряя газету, говорил: «Охота вам читать эту дрянь!», или принимался доказывать, что тот или другой любимец и полубог кружка — шарлатан и бездарность, то все это выходило у него дико, ново, оригинально, смело и даже пикантно! Как худеньким, не всегда сытым, небогато одетым и робким студентам и курсисткам были к лицу либеральные идеи, так и к нему, плотному, высокому, сытому, всегда одетому модно и с иголки, шел консерватизм. Либеральная Ольга Михайловна на первых порах объявила своим подругам, что она с «этим красивым будочником» не имеет ничего общего, но, влюбившись в него и сделавшись потом невестой, она не без гордости называла его так: «мой монстр» или «мой Савонарола».

Выйдя же замуж, она скоро поняла, что все то, что она раньше принимала за взгляды и убеждения Петра Дмитрича, было напускное и лишнее. Он был умный, образованный, не злой, честный, красивый и остроумный человек, но оказалось, что он так же, как и там, в московском кружке, изо дня в день говорил все одно и то же, одно и то же... Если бы можно было записать и потом сосчитать те слова, какие он употреблял для выражения своих консервативных идей, то лексикон получился бы самый скромный и небогатый. Как там, в московском кружке, много изо дня в день говорили о науке, о народе и о честном образе мыслей, но ничего не делали ни для науки, ни для народа, ни для мысли, так и Петр Дмитрич много говорил о вреде либеральных учреждений, но в то же время преспокойно служил по выборам, живо интересовался уездными сплетнями, интриговал и мало чем отличался от тех обывателей, которым нет никакого дела ни до суда присяжных, ни до печати, ни до женского образования».

В третьей главе сняты характеристики ряда гостей (см. переписку Чехова с А. Н. Плещеевым по этому поводу, стр. 507—508). Так, после слов «...через год поверит тому, что земство никуда не годится» (стр. 202) ранее следовало: «Вот другой гребец, бородастый, серьезный, всегда нахмуренный; он мало говорит, никогда не улыбается, а все думает, думает, думает... Он одет в рубаху с шитьем, какое носил гетман Полуботок, и мечтает об освобождении Малороссии из-под русского ига; кто равнодушен к его шитью и мечтам, того он третирует как рутинера и пошляка».

После слов «...закладывает по частям землю» (стр. 202) в журнальной редакции был текст: «Как разбойник, опустошил он землю, доставшуюся ему после отца: нет уж ни леса, ни старых садов, земля наполовину заложена и истощена. А вот пожилой, но еще не поседевший человек в крылатке и в порыжелой шляпе, с желтым, полинявшим лицом. Каким Ольга Михайловна знала его еще в детстве, таков он и теперь — даже плешь не стала больше. Говорит он всегда длинно, монотонно и с претензией на литературность. Почему-то он называет себя человеком шестидесятых годов (таких полинявших субъектов, монополизирующих шестидесятые годы, в каждом городе и уезде имеется по одному). За обедом, за чаем, на гулянье, в экипаже, в лодке — всегда неизменно говорит он об идеалах, об эмансипации женщин, о прогрессе, о темных силах, о науке, о литературе, деклами-



рует с чувством стихи, в которых встречаются часто слова: заря, закат, факел, рокот, судит о газетах и журналах, издателях и редакторах, одних хваля, других обвиняя в изменничестве, третьих величая подлыми. На правах человека шестидесятых годов он грустит о светлом прошлом и отрицает настоящее. В Петре Дмитриче видит он опасного ретрограда, перед Ольгой же Михайловной благоговеет за то, что она либеральна и была на курсах. Язык его вычурен и изыскан. Так, будущее называет он грядущим, молодых людей — молодой силой или подрастающим поколением, мужиков — народной нивою и т. п. Не говорит он, в сущности, ничего дурного и, вероятно, всегда искренен, но почему-то всякий раз, едва он откроет рот и своим замогильным тенорком заведет речь об эмансипации или идеалах, как от всей его фигуры начинает веять старым, заброшенным погребом. А этот либеральный дядюшка Николай Николаевич, скучающий от безделья и радующийся, когда судьба посылает ему какого-нибудь завалящего консерватора; с каким петушиным задором бросается он на свою жертву и с каким аппетитом чешет свой язык!»

В этой же главе сняты размышления Ольги Михайловны о будущем ребенке и ее разговор с женой земского деятеля.

В пятой главе снята сцена прощания Петра Дмитрича с доктором (см. переписку с А. Н. Плещеевым, стр. 507). После слов «Он махнул рукой и вышел из спальни» (стр. 217) ранее следовало: «Немного погодя он опять вошел, взял что-то со стола и, не взглянув ни разу на жену, вышел в другую дверь.

— Вы уезжаете, доктор? — спросил он за дверью громко и таким тоном, как будто говорил с судебным приставом или со свидетелем.— Кончили одно дело и едете приниматься за другое? Что ж? У каждого пахаря свое поле... Каждый должен трудиться...

Вероятно, он дал доктору гонорар, потому что тот сказал застенчиво:

— Напрасно вы беспокоитесь...

— Что-с? Всякий труд должен быть вознаграждаем... Очень вам благодарен, доктор! Прошу и впредь не забывать нас, грешных...

Слово «благодарен» Петр Дмитрич выговорил так: «бла-а-да-эн». И ни по голосу, ни по тону, ни по тяжелой, солидной походке нельзя было догадаться, что этот человек минуту тому назад плакал! Проводив доктора, Петр Дмитрич быстро прошел через спальню к себе в кабинет. Проходя мимо жены, он взглянул на нее мельком, виновато и умоляюще. Он как будто хотел ей

сказать: «Не могу я не лгаты! Нет у меня сил бороться с собой. Помогите мне!»

А для Ольги Михайловны было уже решительно все равно, лжет он или нет».

Для собрания сочинений текст вновь был стилистически исправлен и значительно сокращен.

«Именины» были начаты Чеховым 10 и закончены 30 сентября 1888 г. По окончании «Именин» Чехов сообщил А. Н. Плещееву (30 сентября 1888 г.): «Рассказ вышел немножко длинный... немножко скучный, но жизненный и, представьте, с «направлением»; и в другом письме: «Я просил не вычеркивать в моем рассказе ни одной строки. Эта моя просьба имеет в основании не упрямство и не каприз, а страх, чтобы через помарки мой рассказ не получил той окраски, какой я всегда боялся» (4 октября 1888 г.).

Прочитав рукопись, А. Н. Плещеев послал Чехову 6 октября 1888 г. развернутый отзыв. Утверждая, что повесть свидетельствует о хорошем «знании жизни и большой наблюдательности» автора, он вместе с тем не нашел в ней какого бы то ни было «направления». «В принципиальном отношении тут нет ничего ни против либерализма, ни против консерватизма», — писал Плещеев. Он советовал Чехову выбросить фигуры украинифила и человека шестидесятых годов, осмеяние которых не проясняло, по его мнению, авторскую позицию и исчезновение которых не повредило бы «объективизму повести». Плещеев нашел середину «Именин» скучноватой, указал на психологическую неубедительность образа Петра Дмитриевича в конце повести (сцена с доктором, снятая затем Чеховым, см. стр. 506) и отметил, что «разговор Ольги Михайловны с бабами о родах и та подробность, что затылок мужа вдруг бросился ей в глаза, — отзывается подражанием Анне Карениной, где Долли также разговаривает в подобном положении с бабами и где Анна вдруг замечает уродливые уши у мужа» («Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 256—258).

В письмах от 7 и 9 октября 1888 г. Чехов подробно ответил на все замечания Плещеева, в том числе и об общественной направленности «Именин». Он спрашивал: «Разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?» — и подчеркивал, что не скрывает своей симпатии к героине, не прячет своего уважения к земству и суду присяжных. Поясняя свое отношение к людям, подобным украинифилу, Чехов писал, что он имел в виду не любовь украинцев к своему

«языку, к родной земле», а «тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки». Чехов поясняет также свое отношение к людям шестидесятых годов: «Шестидесятые годы — это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его — значит опошлять его. Нет, не вычеркну я ни украинофила, ни этого гуся, который мне надоел!.. Когда я изображаю подобных субъектов или говорю о них, то не думаю ни о консерватизме, ни о либерализме, а об их глупости и претензиях». В образе «человека шестидесятых годов» Чехов разоблачал либеральное народничество, стремившееся представить себя носителем идей шестидесятых годов, а на самом деле фальсифицировавшее и опошлявшее эти идеи.

По поводу указания на переключку с Толстым, Чехов ответил: «Насчет затылка Вы правы. Я это чувствовал, когда писал, но отказаться от затылка, который я наблюдал, не хватило мужества: жалко было».

10 октября Чехов попросил А. Н. Плещеева выслать ему корректуру, чтобы «кое-что» исправить и вычеркнуть. Однако большая часть повести уже была отпечатана, и Плещеев счел посылку корректуры бесполезной (письмо к Чехову от 15 октября). При переработке повести Чехов принял во внимание большинство критических замечаний Плещеева.

Чехов не был удовлетворен своим произведением. Он писал А. С. Суворину, что срочность работы и боязнь растянуть «Именины» заставляют его портить хороший материал. «Поневоле, делая рассказ, хлопчешь прежде всего о его рамках: из массы героев и полугероев берешь только одно лицо — жену или мужа, — кладешь это лицо на фон и рисуешь только его, его и подчеркиваешь, а остальных разбрасываешь по фону, как мелкую монету, и получается нечто вроде небесного свода: одна большая луна и вокруг нее масса очень маленьких звезд. Луна же не удается, потому что ее можно понять только тогда, если понятны и другие звезды, а звезды не отделаны» (27 октября 1888 г.).

«Именины» заставили критику внимательнее отнестись к художественным приемам Чехова. Она вынуждена была признать, что тонкий психологический анализ, умелое использование деталей, богатство языка и тщательность художественной отделки со-

ставляют отличительную особенность творчества молодого писателя. Но вместе с тем критика продолжает сетовать на его отступления от привычных норм художественного изображения жизни.

Так, критик «Русских ведомостей» Аристархов писал, что в «Именинах», «по обыкновению, нет почти фабулы, и психологический анализ, весьма яркий и глубокий, составляет всю суть, все значение произведения... Нам кажется несомненным его (Чехова.— К. М.) неумение или нежелание писать так, как требуется художественною теорией...» («Русские ведомости», 1888, № 333, 3 декабря.)

Отметив талантливую обрисовку персонажей «Именин», некоторые критики в то же время упрекали писателя в увлечении деталями. Они находили, что «рассказ в целом длинноват и скучноват.» («С.-Петербургские ведомости», 1888, № 326, 25 ноября.)

В связи с «Именинами» критика подняла разговор о мировоззрении Чехова и влиянии на него Л. Н. Толстого. Критик «Недели» Р. Дистерло утверждал, например, что «Именины» по своей художественной манере и по тону чрезвычайно напоминают «Смерть Ивана Ильича» и что оба рассказа «одинаково вызывают отвращение к изображаемой жизни» («Неделя», 1889, № 1, 1 января).

К оценке Дистерло был близок и критик «Биржевых ведомостей» Е. Гаршин, который писал: «В живом изображении талантливого автора, беспощадно раскрывающего подоплеку своих героев, рисуется такая душевная пустота, что, как говорится, за человека становится страшно» («Биржевые ведомости», 1888, № 304, 6 ноября).

Читатели встретили «Именины» восторженно. В письмах к А. Н. Плещееву (13 ноября 1888 г.) и А. С. Суворину Чехов сообщал об успехе рассказа у артистов Малого театра и у читателей. «Своими «Именинами» я угодил дамам. Куда ни приду, везде славословят. Право, недурно быть врачом и понимать то, о чем пишешь. Дамы говорят, что роды описаны *верно*» (15 ноября 1888 г.).

Стр. 199. *...по мнению Прудона... собственность есть воровство.*— Речь идет о книге французского мелкобуржуазного публициста и социолога, одного из основоположников анархизма Пьера Прудона (1809—1865) «Что такое собственность?» (1840), где он критиковал право частной собственности и утверждал, что «собственность — это кража».

Впервые напечатано в литературно-художественном сборнике «Памяти В. М. Гаршина», Спб. 1889 (сборник вышел в декабре 1888 г.). После сокращения и со стилистическими исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Хмурые люди», Спб. 1890, и перепечатан в последующих, 2—10, его изданиях (1890—1899). С незначительными исправлениями включен в сборник «Проблемски», изд. «Посредник», М. 1895. С новыми исправлениями вошел в том V собрания сочинений.

Сотрудники газеты «Новости» и журнала «Северный вестник» с целью почтить память В. М. Гаршина, трагическая смерть которого произвела сильное впечатление на современников, предприняли издание двух сборников. С просьбой написать рассказ к Чехову обратились К. С. Баранцевич и А. Н. Плещеев. Чехов уклонился от участия в первом сборнике, на вторичную же просьбу Плещеева ответил: «Не дать рассказа — не хочется. Во-первых, таких людей, как покойный Гаршин, я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним; во-вторых, Гаршин в последние дни своей жизни много занимался моей особой, чего я забыть не могу; в-третьих — отказаться от участия в сборнике — значит поступить не по-товарищески, сиречь, по-свински. Все это я чувствую до мозга костей, но представьте мое нелепое положение! У меня решительно нет тем, сколько-нибудь годных для сборника... Впрочем, есть у меня еще одна тема: молодой человек гаршинской закваски, недюжинный, честный и глубоко чуткий, попадает первый раз в жизни в дом терпимости. Так как о серьезном нужно говорить серьезно, то в рассказе этом все вещи будут названы настоящими их именами. Быть может, мне удастся написать его так, что он произведет, как бы я хотел, гнетущее впечатление; быть может, он выйдет хорош и сгодится для сборника, но поручитесь ли Вы, милый, что цензура или сама редакция не выхватят из него то, что в нем я считаю за важное? Ведь сборник иллюстрированный, стало быть, цензурный. Если поручитесь, что *ни одно* слово не будет вычеркнуто, то я напишу рассказ в два вечера: если же ручаться нельзя, то погодите недельку, я дам Вам мой окончательный ответ: авось надумаю сюжет!» (15 сентября 1888 г.)

Такой гарантии Плещеев дать не мог. Опасаясь «прицепок» цензуры, он посоветовал Чехову шекотливого касаться в своем рассказе поосторожнее (4—5 ноября 1888 г.).

Отсылая «Припадок», Чехов так оценил его в сопроводительном письме к Плещееву: «Рассказ совсем неподходящий для альманашно-семейного чтения, неграциозный и отдает сыростью водосточных труб. Но совесть моя по крайней мере покойна: во-первых, обещание сдержал, во-вторых, воздал покойному Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки» (13 ноября).

16 ноября 1888 г. Плещеев сообщил Чехову, что ему в рассказе «понравилась его серьезность, сдержанность, понравился и самый мотив», но что он, редактор, как и ранее боится цензуры, которая «не любит, чтоб касались этого предмета». Однако рассказ в сборнике появился без цензурных урезок.

В декабре 1888 г. «Припадок» был прочитан артистом Давыдовым в Литературном обществе. Слушатели тепло встретили рассказ.

Вскоре после этого чтения Д. В. Григорович писал Чехову, что возмущение некоторых «цинизмом» темы — «суший вздор», а обвинение в немотивированности поведения героя не оправдано и свидетельствует об отсутствии «верного литературного чутья». Суть «Припадка», его «главное лицо» Григорович увидел в «высоком человеческом чувстве, которое от начала до конца повести все в ней освещает и все оправдывает...» Анализируя рассказ, Григорович обратил особое внимание на описание снега: «Вечер с сумрачным небом, только что выпавшим и падающим мокрым снегом, — выбран необыкновенно счастливо; он служит как бы аккордом меланхолическому настроению, разлитому в повести, и поддерживает его от начала до конца... Я бесился, что никто не оценил строчку 6-ю на 308-й странице («И как не стыдно снегу падать в этот переулоч!» — К. М.); и были, говорили мне, еще поэты при чтении в Литературном обществе!» (27 декабря 1888 г. — «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 214—215.) Отмеченная Григоровичем фраза была при переработке несколько изменена: «И как может снег падать в этот переулоч!» (стр. 231).

По поводу оценок своего рассказа Чехов сообщил А. С. Суворину: «Литературное общество, студенты, Евреинова (издательница журнала «Северный вестник». — К. М.), Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой «Припадок» всюю, а описание первого снега заметил один только Григорович (23 декабря 1888 г.).

И. И. Горбунов-Посадов, восхищенный рассказом, «производящим такое глубоко нравственное впечатление», в письме от 13 сентября 1891 г. просил разрешения опубликовать его в сбор-

нике «За падших». Сборник не был издан, но рассказ Горбунов-Посадов все же опубликовал в 1895 г. в сборнике «Проблески».

Стр. 219 *«Невольно к этим грустным берегам...»* — ария князя из оперы А. С. Даргомыжского «Русалка» (1855).

Стр. 226. *Базен* Ашиль Франсуа (1811—1888) — французский маршал.

Стр. 232. *«Нива»* — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1870—1918 гг. в издательстве А. Ф. Маркса.

#### САПОЖНИК И НЕЧИСТАЯ СИЛА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1888, № 355, 25 декабря. В переработанном виде включено автором в том I собрания сочинений.

Рассказ был написан для рождественского номера «Петербургской газеты» по просьбе ее редактора С. Н. Худекова. Чехов был недоволен своей работой, в письмах к А. С. Суворину он назвал тему рассказа «жалкой» (19 декабря 1888 г.) и просил не читать его: «Мне стыдно за него» (23 декабря 1888 г.).

Современниками отмечалось некоторое сходство чеховского произведения с народными рассказами Л. Н. Толстого. Так, Н. А. Лейкин, давая положительную оценку рассказу, говорил, что он написан «не в чеховском духе, а в толстовском» (30—31 декабря 1888 г.).

#### ПАРИ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1889, № 4613, 1 января, под заглавием «Сказка». В исправленном виде включено автором в том IV собрания сочинений.

При переработке рассказа для собрания сочинений Чехов изменил заглавие, внес стилистические исправления, снял некоторые детали, вычеркнул ряд фраз о поведении узника и характере его чтения. Например, первая глава ранее заканчивалась фразой: «Последнюю книгой, которую он прочел, был «Дон-Кихот» Сервантеса, а предпоследнюю «В чем моя вера» гр. Толстого...» Вычеркнув данный текст, Чехов уничтожил тем самым намек о воздействии на узника учения Толстого.

Во второй редакции Чехов опустил третью, заключительную главу рассказа. Приводим ее текст:

«Прошел год. Банкир давал вечер. На этом вечере было

много умных людей и велись интересные разговоры. Между прочим, шла речь о целях жизни и назначении человека. Говорили о богатом юноше, о совершенстве, евангельской любви, о суете сует и т. п. Гости, состоявшие в большинстве из очень богатых людей, почти все отрицали богатство. Один из них сказал:

— Среди тех людей, которых мы считаем святыми или гениальными, богачи так же редки, как на небе кометы. Из этого следует, что при усовершенствовании человеческой породы богатство не составляет необходимого условия, или, короче говоря, оно совершенно не нужно. А все, что не нужно, то мешает...

— Конечно! — согласился другой. — Поэтому самым высшим выражением человеческого совершенства, хотя и в грубой форме (более тонкая еще не придумана), является монашеский аскетизм, то есть полнейшее отречение от жизни ради идеи. Нельзя в одно и то же время служить идее и бирже.

— Не понимаю, почему это так! — перебил раздраженно третий гость. — По-моему, в отречении от жизни нет ничего похожего на высшее совершенство. Поймите вы меня! Отрицать картины — значит отрицать художника; отрицать женщин, благородные металлы, вино, хороший климат — значит отречься от бога, потому что все это создавал бог! А ведь аскеты служат богу!

— Совершенно верно! — сказал старик миллионер, соперник банкира по бирже. — Прибавьте еще к этому, что аскеты существуют только в воображении. Их нет на земле. Правда, случается, что старики отказываются от женщин, пресыщенные люди — от денег, разочарованные — от славы, но я живу на свете шестьдесят шесть лет и ни разу в жизни не видел такого здорового, сильного и не глупого человека, который отказался бы, например, от миллиона.

— Такие люди существуют, — сказал хозяин-банкир.

— Вы их видели?

— К счастью, да...

— Не может быть, — усомнился миллионер

— Уверю вас. Я знаю одного такого бедняка, который из принципа отказался от двух миллионов.

Миллионер засмеялся и сказал:

— Вас мистифицировали. Повторяю, таких людей нет, и я так глубоко убежден в этом, что готов держать с вами пари на сколько угодно, хоть на миллион.

— Держу на три миллиона! — крикнул банкир.

— Согласен! Господа, я ставлю три миллиона!



У банкира закружилась голова. Он так был уверен в победе, что уж жалел, что не запросил пяти миллионов. Этой суммы достаточно было бы для того, чтобы поправить свои дела на бирже!

— По рукам! — крикнул миллионер. — Когда же вы представите мне доказательства?

— Сейчас! — сказал банкир торжественно.

Он хотел уж отправиться к себе в кабинет, чтобы достать из несгораемого шкафа лист с отречением, но вошел лакей и сказал ему:

— Там какой-то господин желает вас видеть.

Банкир извинился перед гостями и вышел. Едва он вошел в приемную, как на него бросился какой-то прилично одетый человек, поразительно бледный, и со слезами на глазах схватил его за руки и начал дрожащим голосом:

— Простите... простите...

— Что вам угодно? — спросил банкир. — Кто вы?

— Я тот самый глупец, который потерял пятнадцать лет жизни и отказался от двух миллионов.

— Что же вам угодно? — повторил банкир, бледнея.

— Я так ошибался! Не смеет судить о жизни тот, кто не видит ее или не имеет силы пользоваться ее благами! Солнце так ярко светит! Женщины так обаятельно хороши! Вино так вкусно! Деревья прекрасны! Книги — это слабая тень жизни, и эта тень меня обокрала! Дорогой мой, — продолжал юрист, падая на колени, — я не прошу у вас двух миллионов, я не имею на них права, но умоляю вас, дайте мне сто или двести тысяч! Иначе я убую себя!

— Хорошо, — сказал глухо банкир. — Завтра вы получите то, что хотите.

И он поспешил к гостям. Его охватило вдохновение. Ему страстно хотелось тотчас же объявить всем громогласно, что он, банкир, глубоко презирает миллионы, биржу, свободу, женскую любовь, здоровье, человеческие слова и что сам он отказывается от жизни, завтра же отдаст все беднякам и уходит от мира... Но, войдя в залу, вспомнил он, что у него долгов больше, чем денег, что у него нет уже силы любить женщин и пить вино и что поэтому отречение его в глазах людей не будет иметь никакого смысла, — вспомнил, опустился изнеможенный в кресло и сказал:

— Вы выиграли! Я разорен».

Посылая «Пари» А. С. Суворину, Чехов писал: «Сказка интересная» (28 декабря 1888 г.). Конец ее несколько перекликался

со «знаменательным» концом рассказа «Без заглавия», в котором предпочтение также было отдано не отрешению от мира, а реальной жизни. Однако идейная направленность «Пари» показалась части читателей недостаточно ясной. В письме А. Н. Плещеева говорилось, что Д. В. Григорович и другие лица сетовали на то, что сказка «непонятна», что она создает впечатление «прославления денег» (3 января 1889 г.). Эта идейная неясность рассказа и заставила Чехова в собрании сочинений третью главу снять.

В письме к А. Н. Поповой от 17 июня 1903 г. Чехов писал по поводу изменения им конца рассказа: «Впоследствии, когда я читал корректуру, мне этот конец очень не понравился (теперь уже я не помню подробностей), показался не в меру холодным и суровым, я бросил рассказ: а потом выбросил конец, прибавил вместо этого конца строчки две-три, и получилось то, что Вы находите по идее диаметрально противоположным».

#### КНЯГИНЯ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1889, № 4696, 26 марта. После сокращения рассказ вошел в сборник Чехова «Хмурые люди», Спб. 1890, и перепечатан в последующих, 2—10, его изданиях (1890—1899). Включен автором в том V собрания сочинений.

Работа над «Княгиней» была начата в ноябре 1888 г. и длилась несколько месяцев. «Описываю одну поганую бабу», — сообщил Чехов А. С. Суворину (15 ноября 1888 г.). В следующем письме писатель пояснил, что работает над рассказом в новом для себя «протестующем тоне» (18 ноября). «Княгиня» была отослана Суворину 5 марта 1889 г. «Черт с ней, она мне надоела, — писал Чехов, — все время валялась на столе и напрашивалась на то, чтоб я ее кончил. Ну и кончил, но не совсем складно». Писатель просил выслать ему корректуру рассказа для «шлифовки». Эта просьба была выполнена.

А. Н. Плещеев, высоко ценивший талант Чехова, выразил сожаление, что «Княгиня» не была прислана в «Северный вестник». «Как мне жаль, что она не попала к нам!» — писал он 22 мая 1889 г. («Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 265.)

Стр. 267. *Что вам Гекуба и что вы Гекубе?* — неточная цитата из монолога принца Гамлета (трагедия В. Шекспира «Гамлет», действие второе, сцена вторая). Выражение «Что ему Гекуба, что он Гекубе» в переносном смысле применяется к лицам, че

имеющим непосредственного отношения к какому-либо делу.

Гекуба — по древнегреческим легендам, жена троянского царя Приама, потерявшая мужа и сыновей при осаде Трои.

### СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ

*Из записок старого*

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1889, № 11, ноябрь. Указаны место и время написания: «Село Лука, Сумск. уезда, 1889». После переработки повесть вошла в сборник Чехова «Хмурые люди», Спб. 1890, и перепечатана в последующих, 2—10, его изданиях (1890—1899). С новыми стилистическими исправлениями включена автором в том V собрания сочинений.

Подготавливая повесть для сборника, Чехов внес в текст стилистические исправления и сократил его. Например, в третьей главе были сняты слова Кати, характеризовавшие ее отношение к профессору. После слов «Ничтожества! — повторяет она» (стр. 304) ранее следовало: «. потом глаза ее наполняются слезами, она смотрит на меня с умилением и с восторгом и говорит: «Они должны боготворить вас, молиться на вас день и ночь. Вы человек, вы герой! О, если бы я была вашей дочерью! Я не позволила бы пылинке сесть на вас, я бы безжалостно рубила все те деревья, которые смеют бросать на вас тень. Я сторожила бы каждую минуту вашего покоя и заставила бы себя уверовать в бога, чтобы молиться за ваше счастье. А они?» Это обращение к профессору по своему тону не соответствовало внутреннему облику Кати, утратившей уже свою восторженность. Видимо, поэтому Чехов и снял его.

В этой же главе снята характеристика профессора, данная ему Михаилом Федоровичем, которая, возможно, показалась автору переключившейся с самохарактеристикой Николая Степановича. После слов «Взял и прочел все четыре страницы» (стр. 307) в журнальном тексте было: «Когда я делаю попытку вступить за кого-нибудь, то он начинает смеяться и надо мной.

— У вас, Николай Степанович, есть один непоправимый органический недостаток,— говорит он.— У вас в человеческой груди бьется голубиное сердце. По доброте сердечной вы готовы заступаться и за тарангула и доказывать, что он очень красивое животное».

Работу над «Скучной историей» Чехов закончил в конце сентября 1889 г. 3 сентября он писал А. Н. Плещееву, что «рассказ» готов, но ему хочется еще «кое-что пошлифовать и полакировать, а главное, подумать над ним. Ничего подобного отродясь я не писал, мотивы совершенно для меня новые, и я боюсь, как бы не подкузьмила меня моя неопытность. Вернее, боюсь написать глупость». 7 сентября Чехов написал А. М. Евреиновой, что «заявшись обработкой своей вещи, исковеркал ее вдоль и поперек, выбросил кусок середины и весь конец, решив заменить их новыми». О переработке повести Чехов писал также А. Н. Плещееву. Выражая свое недовольство ею, он в то же время отметил, что создал «два-три новых лица, интересных для всякого интеллигентного читателя... одно-два новых положения» (14 сентября). О новизне повести упоминалось и в письме к В. А. Тихонову (13 сентября). Опасаясь упреков в растянутости «Скучной истории», Чехов пояснил при отправке рукописи А. Н. Плещееву, что длинные рассуждения, «к сожалению, нельзя выбросить, так как без них не может обойтись мой герой, пишущий записки. Эти рассуждения фатальны и необходимы, как тяжелый лафет для пушки. Они характеризуют и героя, и его настроение, и его влиятье перед самим собой» (24 сентября).

А. Н. Плещеев прислал Чехову развернутый отзыв о повести. «У Вас еще не было ничего *столь сильного и глубокого*, как эта вещь,— писал он.— Удивительно хорошо выдержан тон старика ученого, и даже те рассуждения, где слышатся нотки субъективные, ваши собственные,— не вредят этому. И лицо это, как живое, стоит перед читателем. Прекрасно вышла и Катя... Все второстепенные лица — тоже очень живы...» Плещеев советовал Чехову изменить заглавие повести, так как оно может вызвать дешевое остроумие рецензентов. Он обращал внимание Чехова на некоторые неясные для себя места повести и немногие стилистические погрешности. Плещеев выражал уверенность, что «Скучная история» вызовет ожесточенную критику, особенно за «сильные рассуждения о русской литературе, об ученых статьях в особенности» (27 сентября — «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 270—273).

В ответном письме (30 сентября) Чехов отказался от перемены заглавия и возразил против некоторых замечаний Плещеева. Так, в связи с упоминанием в конце повести письма Михаила Федоровича Чехов писал: «Мне мое чутье говорит, что в финале повести или рассказа я должен искусственно сконцентрировать в читателе впечатление от всей повести и для этого хотя

мельком, чуть-чуть, упомянуть о тех, о ком раньше говорил». Чехов так пояснил характер своего героя: «Мой герой — и это одна из его главных черт — слишком беспечно относится к внутренней жизни окружающих, и в то время, когда около него плачут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, литературе; будь он иного склада, Лиза и Катя, пожалуй бы, не погибли». Судя по письму к Плещееву от 6 октября 1888 г., Чехов все же внес в корректуру новые исправления. «Ваши указания имели подобающую силу», — писал он.

«Скучная история» вызвала много откликов в печати.

Реакционная критика попыталась не только снизить разоблачительный пафос «Скучной истории», но и опровергнуть утвердившуюся в ту пору оценку Чехова как очень крупного таланта. Именно такую цель преследовала развернутая статья Ю. Николаева (псевдоним Ю. Говорухи-Отрока) в «Московских ведомостях» (1889, № 345, 14 декабря). Перекликаясь с Ю. Николаевым в желании снизить социальное звучание повести, критик «Нового времени» В. Буренин предлагал рассматривать «Скучную историю» только как «беллетристически-патологический этюд», как попытку писателя-медика проследить за умиранием старческой души («Новое время», 1889, № 4922, 10 ноября).

На страницах «Русского богатства» либеральный критик Созерцатель (псевдоним Л. Оболенского) откликнулся на повесть в статье «Новый поворот в идеях нашей беллетристики» (1890, № 1). Приветствуя Чехова за утверждение, что жить без того, «что называется общей идеей или богом живого человека», нельзя, критик, однако, истолковал ее как поиски этического осмысления жизни. Приговор социальному индифферентизму, вынесенный Чеховым в «Скучной истории», остался критиком не отмеченным.

С большой статьей, посвященной Чехову, в частности его сборнику «Хмурые люди», выступил в «Русских ведомостях» (1890, № 104, 18 апреля) Н. К. Михайловский, пристально следивший за развитием чеховского таланта. Посетовав на холодность Чехова-художника, выражавшуюся, по мнению критика, в равном внимании к различным сторонам человеческой жизни (для Чехова, якобы, «все едино — что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца»), Михайловский увидел в «Скучной истории» некоторое изменение писательской позиции. Он приветствовал повесть за «тоску» по общей идее, то есть за сознание необходимости цельного мирозерцания. «Скучная история» была оценена Михайловским как «лучшее и значительнейшее из

всего, что до сих пор написал г. Чехов». Сожалел, что идеалы сороковых и шестидесятых годов не приемлемы для молодого писателя, критик призывал его выработать «свою собственную общую идею» или в крайнем случае остаться «поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости».

Постановка в чеховских произведениях 1888—1889 гг. вопроса о смысле жизни неизменно связывалась критикой с постановкой этого же вопроса в творчестве Л. Н. Толстого. Находя сходные художественные приемы изображения в творчестве писателей, многие критики пытались убедить читателя в подражательном характере творчества Чехова. В «Скучной истории» часть критиков увидела лишь вариацию «Смерти Ивана Ильича» Л. Н. Толстого. «Странно, что такой, казалось, самостоятельный писатель впал в столь неудачную подражательность»,— писал Аристархов («Русские ведомости», 1889, № 335, 4 декабря). С опровержением подобных оценок выступил Д. Струнин. В статье «Выдающийся литературный тип» он показал, что сходство между героями Чехова и Толстого вызвано не литературным воздействием последнего, а правдивым изображением двумя художниками родственных социальных явлений. По словам критика, Толстой отлично раскрыл в своем рассказе одностороннее развитие личности, лишенной внутреннего горения: Иван Ильич — человек инерции, «возведенный в тип». Николай Степанович, несмотря на свой высокий интеллект, тот же Иван Ильич, но только в области науки. В создании этого типа критик видел большую заслугу Толстого и Чехова. Рассматривая «Скучную историю» как талантливое обличение современной жизни, Д. Струнин указывал, что Чехов не сказал в своей повести, при каких условиях будет достигнуто гармоническое единство человека и ученого, но вопрос о необходимости этого единства поставил правильно. В то время как многие критики все еще продолжали упрекать Чехова в отсутствии идейности, Струнин заявил, что автор «Скучной истории» убедительно доказал, что «искусство есть орудие, рассадник чувств, идей, иначе говоря, оно есть проводник определенных настроений» («Русское богатство», 1890, № 4).

О Чехове как создателе литературного типа говорил и критик газеты «Новости дня» Читатель (псевдоним В. Кузьмина) (1889, № 2301, 28 ноября).

А. Н. Плещеев сообщил Чехову об успехе повести у читателей. «Со всех сторон слышу восторженные похвалы Вашей

повести — от людей разных мнений, кружков и лагерей. Некоторые говорят даже, что это лучше всего Вами до сих пор написанного. Другие, что повесть оставляет глубокое впечатление; третьи, что это совсем ново; и, наконец, что это выдающаяся вещь в «Северном вестнике» за весь год» (5 ноября 1889 г.— «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 275).

Стр. 271. *Пирогов* Николай Иванович (1810—1881) — хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии и хирургической анатомии, с 1847 г. академик.

*Кавелин* Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк и юрист, представитель дворянско-буржуазного либерализма.

Стр. 273. «*О чем пела ласточка*» — роман немецкого писателя Фридриха Шпильгагена (1829—1911).

Стр. 274. *...полюбил... как Отелло Дездемону за «сострадание» к моей науке.* — Имеются в виду строки из трагедии В. Шекспира «Отелло» (действие первое, сцена третья):

«Она меня за муки полюбила,  
А я ее — за сострадание к ним».

Стр. 279. *Грубер* Венцеслав Леопольдович (1814—1890) — профессор анатомии Петербургской медико-хирургической академии.

*Бабухин* Александр Иванович (1835—1891) — профессор физиологии и гистологии Московского университета.

*Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал, пользовавшийся большой популярностью во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Стр. 280. *Перов* Василий Григорьевич (1833—1882) — художник, один из крупнейших представителей демократического реалистического искусства XIX в.

*Патти* Аделина (1843—1919) — известная итальянская певица, неоднократно гастролировала в России.

Стр. 308. «*Печально я гляжу на наше поколение*» — первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

Стр. 318. *Крылов* Никита Иванович (1807—1879) — юрист, профессор Московского университета.

«*Орлам случается и ниже кур спускаться...*» — строки из басни И. А. Крылова «Орел и куры» (1808).

Стр. 328. «*Нива*» — см. прим. к стр. 232.

«*Всемирная иллюстрация*» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге в 1869—1898 гг.

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1890, № 5061, 1 апреля, под заглавием «Черти». Без изменений рассказ перепечатан в газете «Орловский вестник», 1890, № 317—319. С новым заглавием и в переработанном виде включен автором в том IV собрания сочинений.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов внес в него значительные стилистические исправления и сократил его, стремясь, очевидно, освободиться от излишней романтизации героев.

Приводим ряд опущенных мест. После слов «А как гуляли! Так гуляли, так гуляли!» (стр. 342)— ранее следовал текст: «...что теперь вспоминая, только вот махнешь рукой и больше ничего.

Любка достала со шкафа балалайку и сунула ее в руки Мерику. Тот поплевал в колышки, настроил и стал играть. Фельдшер раньше думал, что на таком дешевом, самоделковом инструменте, как балалайка, можно только однообразно побренькивать и наигрывать что-нибудь простое, немудрое, вроде чижики, или самое большое — трепака, теперь же послышалась такая музыка, как будто у Мерика под пальцами было двадцать струн: что-то сложное, запутанное, разноголосое, и не разберешь, весело оно или грустно — должно быть, то и другое. От музыки у фельдшера стало тоскливо на душе, и в то же время хотелось ему притоптывать ногами и крикнуть во все горло поямщицки: «Эй вы, други милые!» Пока Мерик играл, Любка вышла...»

После слов «...стал мечтать о Кубани» (стр. 344) вычеркнул текст: «Калашников вышел на середину комнаты, погладил себе бока, оглядел всех и запел тонким тенорком. Пел он жалостно о том, как в донских степях хуторок стоит, заброшенный, одинокий; в хуторке давно уже нет хозяина, и только осенью в темные ночи ведет он разговор с вихрем-вьюгой, а летом одни только перекасти-поля мимо катятся и зацепятся, а что дальше — неизвестно, так как тенорок вдруг задрожал, Калашников всхлипнул и перестал петь.

Видимо, стыдясь своих слез, молча и ни на кого не глядя, он надел полушубок, взял в руки кнут и сказал угрюмо:

— Время мне ехать...»

Конец рассказа в первой редакции был такой: «И вспомнил фельдшер, что случилось с ним зимою и что говорил Мерик, и



стало ему казаться, что то на небе не зарево, а алая кровь Любки, и позавидовал он Мерику!»

Чехов просил А. С. Суворина выслать корректуру, так как «рассказ написан сапожной щеткой и нуждается в ретуши. Надо многое сократить и кое-что исправить» (15 марта 1890 г.).

Отвечая Суворину на его упрек в «объективизме», будто бы проявившемся в рассказе, Чехов пояснял, что определенная тенденция должна, по его мнению, раскрываться созданными писателем образами, а не его пояснением к ним. Чехов писал: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди, что это люди культа и что конокрадство есть не просто кража, а страсть. Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся, и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» (1 апреля 1890 г.).

Ал. П. Чехов писал брагу: «Твои «Черти» чертовски хороши» (4 апреля 1890 г.— «Письма А. П. Чехову его брата, Александра Чехова», М. 1939, стр. 235).

Стр. 338. *Сан-Стефанский договор* — мирный договор, заключенный в 1878 г. между Россией и Турцией в Сан-Стефано.

#### ГУСЕВ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1890, № 5326, 25 декабря. Указаны место и время написания: «Коломбо, 12 ноября». С новым делением на главы и стилистической правкой рассказ вошел в сборник «Палата № 6», Спб. 1893, и перепечатан в последующих, 2—7, его изданиях (1893—1899). С новыми немногочисленными исправлениями включен автором в том VI собрания сочинений.

В рассказе частично отразились впечатления писателя от похорон в море, свидетелем которых он был, возвращаясь с Сахалина (письмо к А. С. Суворину от 9 декабря 1890 г.).

«Какая прелесть! Или вернее, какая правда! — писал о рассказе И. Л. Леонтьев-Щеглов. — В нем нет ни тени силуэтности в обрисовке лиц, которой страдали иные из прежних очерков ваших, — и Гусев с Павлом Ивановичем — художественные типы 84-й пробы» (30 декабря 1890 г.). Одновременно Ал. П. Чехов сообщил брату: «От твоего «Гусева» весь Питер в восторге» (30 декабря 1890 г. — «Письма А. П. Чехову его брата, Александра Чехова», М. 1939, стр. 238). Это же подтверждал и А. Н. Плещеев: «Ваш рассказ в рождественском номере «Нового времени» здесь произвел на всех глубокое впечатление. Удивительная у Вас вышла фигура этого «протестанта» (12 января 1891 г.). Рассказ получил высокую оценку П. И. Чайковского. «Какая прелесть вещь Чехова в рождественском номере «Нового времени», — писал он брату, М. И. Чайковскому, 1 января 1891 г. (Дом-музей П. И. Чайковского, г. Клин).

Стр. 355. *Манзы* — местное название китайцев, проживавших на территории бывшего Уссурийского края.

## БАБЫ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1891, № 5502, 25 июня. После небольших сокращений и со стилистическими исправлениями рассказ вошел в сборник «Палата № 6», Спб. 1893, и затем в последующие, 2—7, его издания (1893—1899). Перепечатан по тексту «Нового времени» (с исключением сцены ночного разговора Софьи и Варвары) в отдельном издании, «Посредник», М. 1894 (2-е изд. — М. 1895; 3-е изд. — М. 1897). С немногочисленными стилистическими исправлениями включен автором в том VI собрания сочинений.

В 1891 г. И. И. Горбунов-Посадов обратился к Чехову с просьбой разрешить «Посреднику» выпустить отдельным изданием рассказ, «где так прекрасно изобличается тип народного Тартюфа, развратника, лицемера и набожника». Чехов ответил согласием (18 июля 1891 г.).

В 1897 г. член ученого комитета Министерства народного просвещения Д. Аверкиев представил отзыв о рассказе «Бабы», изданном «Посредником»: «Рассказ написан недурно, но нравственные его основы шатки, а потому вряд ли желательно допущение

его в народные читальни» (ЦГИАЛ). Книга была запрещена для школьных библиотек и народных читален.

Л. Н. Толстой относил рассказ «Бабы» к числу лучших произведений Чехова (см. том 2 наст. изд., примечания к рассказу «Маска», стр. 577).

### ДУЭЛЬ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1891, № 5621, 5622, 5624, 5628, 5629 (22, 23, 25, 29, 30 октября), 5635, 5642, 5643, 5649. 5656, 5657 (5, 12, 13, 19, 26, 27 ноября). В № 5657 указаны дата и место написания: «С. Богимово, 1891». Повесть вышла отдельным изданием с новым делением на главы и исправлениями текста, Спб. 1892, и перепечатана в последующих, 2—9, изданиях этой книги (1892—1899). После сокращений и с исправлениями включена автором в том VI собрания сочинений.

При переработке текста для собрания сочинений Чехов, не изменяя в целом конца повести, снял слова фон Корена о его уважении к Лаевским (см. переписку с А. Н. Плещеевым, стр. 525). В предыдущих изданиях «Дуэли» было: «Ты передай ему и его жене, что я их обоих глубоко уважаю. Скажи, что, когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего...»; «Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог лично засвидетельствовать ей свое уважение». В собрании сочинений стало: «Ты передай ему и его жене, что, когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего...» (стр. 484); «Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней» (стр. 485).

Чехов начал работать над «Дуэлью», по-видимому, в январе 1891 г. Писатель не был удовлетворен этой работой, он писал А. С. Суворину, что в повести «нет движения», что композиция ее «немножко сложна», и потому он «путался и часто рвал то, что писал» (письма от 23 февраля и 6 августа 1891 г.). В период работы над «Дуэлью» Чехов, по воспоминаниям его брата, М. П. Чехова, часто спорил с зоологом В. А. Вагнером «на темы о модном тогда вырождении, о праве сильного, о подборе и т. д., легшие потом в основу философии фон Корена... Антон Павлович во время таких разговоров всегда держался того мнения, что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность» (М. П. Чехов, Вокруг Чехова. «Academia», М—Л. 1933, стр. 209). 18 августа повесть была закончена и отослана А. С. Суворину.

В ответ на замечания Суворина об именах персонажей повести Чехов писал: «Если фамилия у Ладзиевского в самом деле скверная, то можно его иначе назвать. Пусть будет Лагиевским. Фон Корен пусть остается фон Кореном. Изобилие Вагнеров, Брандты, Фаусеки и проч. отрицают русское имя в зоологии, хотя все они русские. Впрочем, есть Ковалевский. Кстати сказать, русская жизнь теперь так перепуталась, что всякие фамилии годятся» (30 августа). Было отклонено Чеховым также предложение изменить заглавие. «Для моей повести,— писал он,— рекомендуемое Вами название «Ложь» не годится. Оно уместно только там, где идет речь о сознательной лжи. Бессознательная ложь есть не ложь, а ошибка» (8 сентября).

Повесть была тепло встречена читателями. После публикации ее Чехов сообщал А. С. Суворину: «Из Петербурга, из Вильны и из разных российских городов я получаю письма насчет «Дуэли». Пишут какие-то незнакомцы. Письма в высшей степени задушевные и доброжелательные» (3 декабря 1891 г.).

В печати отзывы на «Дуэль» были самые разноречивые.

Признав, что оба характера — «лишний человек», Лаевский, и новая разновидность «сильного» героя, фон Корен,— выхвачены из жизни, критика упрекала автора в недостатках, свойственных, по ее мнению, всему творчеству писателя. Пафос статьи А. Скабичевского (обрисовка отдельных лиц была признана в ней «верхом совершенства») заключался в утверждении, что Чехов совершенно беспомощен в осмыслении жизни. («Новости и биржевая газета», 1892, № 44, 13 февраля). О том же писал критик Ив. Иванов: «Частности и мелочи всегда удавались автору. Целое осталось неясненным, лишенным психологической и художественной цельности и правды» («Русские ведомости», 1892, № 348, 17 декабря).

Некоторые из критиков увидели в «Дуэли» полемический ответ на «Крейцерову сонату» Л. Толстого (например, отзыв М. Белинского — псевдоним И. Ясинского — «Труд», 1892, № 2).

Многих современников писателя не удовлетворил конец повести. Так, А. Н. Плещеев писал Чехову: «Я был бы Вам очень благодарен, если б Вы объяснили мне, чем мотивируется эта внезапная перемена в отношениях всех действующих лиц между собой. Почему вражда фон Корена к человеку, которого он так поносил и унижал,— вдруг заменяется уважением... почему ненависть — этого последнего к женщине, с которой он живет,— превращается в любовь, несмотря даже на все, что он про нее узнал...

По-моему, рассказ окончен слишком произвольно» (2—14 января 1892 г.— «Слово», сб. второй, М. 1914, стр. 283). О том же писали и некоторые газеты. Чехов учел это замечание критики (см. текстологические изменения на стр. 524).

По поводу отзывов, возникших в связи с выходом отдельного издания «Дуэли», Вл. И. Немирович-Данченко писал Чехову: «Пишу два слова под свежим впечатлением. Не верьте двоедушным и только наполовину одобрительным рецензиям: «Дуэль» — лучшее из всего, что Вы до сих пор написали» (февраль 1892 г.— «Ежегодник Московского Художественного театра», 1944, т. I, М. 1946, стр. 97).

М. Горький свидетельствовал о положительной оценке повести Л. Н. Толстым, который ставил «в пример молодым литераторам такие превосходные и глубокие вещи Чехова, каковы: «Тиф», «Душечка», «Припадок», «Злоумышленник», «Дуэль» и еще многие другие» («М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания», М 1951, стр. 161).

Стр. 413. *...Украинская ночь Пушкина...*— Имеется в виду вторая песнь из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828): «Тиха украинская ночь...»

Стр. 419. *«Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»* — строки из первой главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1823—1831).

Стр. 425. *Стенли* Генри Мортон (1841—1904) — английский путешественник, исследователь Африки.

Стр. 433—434. *...одетый, по случаю табельного дня, в полную парадную форму..*— Табельными днями в дореволюционной России назывались церковные праздники и праздники царствующего дома (тезоименитства, восшествие на престол и т. д.).

Стр. 457. *Вильгельм Телль* — герой швейцарской народной легенды, меткий стрелок из лука.

Стр. 463. *У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного...*— Речь идет о рассказе Н. С. Лескова «Легенда о совестном Даниле».

Стр. 466. *...в уме, подавленном тоской...*— строки из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828).

---

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- А. П. Чехов. 1888.  
«Спать хочется». Художники Кукрыниксы. 1941 Стр. 64—65.  
«Степь». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 128—129.  
«Припадок». Художник А. Могилевский. 1954. Стр. 224—225.  
«Скучная история». Художник А. Ванециан. 1954. Стр.  
288—289.  
«Воры». Художник А. Апсйт. 1903. Стр. 352—353.  
«Дуэль». Художники Кукрыниксы. 1961. стр. 416—417.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| Без заглавия . . . . .  | 5   |
| Спать хочется . . . . .                                       | 10  |
| Степь. <i>История одной поездки</i> . . . . .                 | 16  |
| Неприятность . . . . .  | 114 |
| Огни . . . . .  | 134 |
| Красавицы . . . . .   | 174 |
| Именины . . . . .   | 183 |
| Припадок . . . . .  | 218 |
| Сапожник и печистая сила . . . . .                            | 242 |
| Пари . . . . .  | 250 |
| Княгиня . . . . .   | 258 |
| Скучная история. <i>Из записок старого человека</i> . . . . . | 271 |
| Воры . . . . .  | 334 |
| Гусев . . . . .   | 351 |
| Бабы . . . . .  | 365 |
| Дуэль . . . . .   | 379 |
| Примечания . . . . .  | 491 |
| <i>Перечень иллюстраций</i> . . . . .                         | 527 |

Антон Павлович  
ЧЕХОВ

*Собрание сочинений, т. 6*

Редактор В. Пересыпкина. Художеств. редактор И. Жихарев.  
Технич. редактор Ф. Артемьева. Корректор М. Муromцзев

Сдано в набор 4/11 1960 г. Подписано к печати 9/V 1960 г. Бумага  
84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—16,5 печ. л. = 27,06 усл. печ. л. 25,59 уч.-изд. л + 7  
вкл. = 25,94 л. Тираж 625 000 экз (1—200 000). Заказ № 127.  
Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Московского городского совнархоза, Москва, Ж-54, Валуевая, 28.

